

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

ОДИННАДЦАТАЯ

Н О Я Б Р Ъ

М О С К В А

4 . 9 . 3 . 0

Главлит А 61542.

СТАТ—формат Б/5 176 × 150

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степнова „Известия ЦИК СССР и ВЦИК“. Москва.

СОДЕРЖАНИЕ:

	<i>Стр</i>
1. В. ВЕРЕСАЕВ. — Первая волна, <i>отрывок из романа «Сестры»</i>	5
2. А. МАЛЫШКИН. — Севастополь, <i>повесть</i>	38
3. П. СЛЕТОВ. — Заштатная республика, <i>роман</i> , продолжение.	62
4. Э. БАГРИЦКИЙ. — Три стихотворения	108
5. Ник. ОДОЕВ. — Возрожденный мастер, <i>рассказ</i>	114
6. К. ЗЕЛИНСКИЙ. — Гондвана, <i>очерк</i>	121
7. С. СПАССКИЙ. — Остров песцов, <i>рассказ</i>	130
8. Александр ГИТОВИЧ. — Письмо, <i>стихотворение</i>	143
 ЛЮДИ И ФАКТЫ:	
9. Лев АЛПАТОВ. — Старым следом, <i>байкальские очерки</i>	144
10. Ник. АССАНОВ. — Производственные портреты, <i>очерк</i>	154
11. Даниил ФИБИХ. — Окопы пятилетки, <i>очерк</i>	161
 ЗА РУБЕЖОМ:	
12. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету, <i>очерки международной политики</i>	169
 ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:	
13. Ю. ДАНИЛИН. — Литературная богема в эпоху французского романтизма.	179
14. И. СЕРГИЕВСКИЙ. — Под надежным прикрытием	195
15. К. ЛОКС. — Литературные опыты Толстого	199
 КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:	
Н. ВИЛЕНСКАЯ. — Данилыч-Кочин «Пласт»	205
Н. СЕДОВ. — М. Платошкин «Отец»	205
Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Петр Скосырев «Взрыв»	206
Виктор ГОЛЬЦЕВ. — Ян Страуян «Скитания»	207
Я. ФРИД. — Стивен Крэн «Алый знак доблести»	207
Р. РОШ. — «Армянские сказки»	207
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ	208

Первая волна

Из романа „Сестры“¹⁾

В. ВЕРЕСАЕВ

Лелька вся жила теперь в процессе новой для нее работы на заводе, в восторге обучения всем деталям работы, в подготовке к занятиям в кружке текущей политики, который она вела в заводском клубе. Далекими становились личные ее страдания от воспоминания о разрыве с Володькой. Только иногда вдруг остро взмахнет из глубины души воспоминание, обжигающими кругами зачертит по душе—и опять упадет в глубину.

Давно было пора заняться зубами,—многие ныли. Но в вихре работы и сама боль ощущалась только как-то на поверхности мозга, не входя вглубь сознания. Однако, в последнюю ночь зубы так разболелись, что Лелька совсем не спала и утром пошла в заводскую амбулаторию к зубному врачу.

Сидела в ожидальной, в длинной очереди. За разными дверями принимали врачи разных специальностей, — к каждой двери были очереди. Лелька сидела, сонно смотрела перед собою. Вдруг видит: из одной очереди вышла пожилая работница, стала в угол, спиной к сидевшим, что-то стараясь закрыть. Но Лелька увидела: вынула из кармана маленький пузырек, отбила головку и стала из пузырька поливать себе руки. Пузырек бросила в угол. Воровато огляделась. Лелька поспешно отвела глаза. Работница опять села в очередь.

Что такое? В чем дело? Лелька поглядывала на работницу. Руки ее покраснели, кое-где даже как-будто вздулись волдыри. Леля стала ходить по приемной, как-будто случайно подошла к углу, уронила на кафельный пол свою красную книжку-пропуск, нагнулась и вместе с книжкой подняла пузырек. Трехгранный, рубчатый, на цветной этикетке: «уксусная эссенция». Лелька побледнела. Сердце заколотилось.

Решительно подошла к работнице.

— Вот что, товарищ, уходите-ка с приема. Вы себе сейчас полили руки уксусной кислотой, чтобы получить бюллетень.

— Какой кислотой? С ума, что ль, ты спятила?—работница быстро стала сыпать негодующими словами.—И как не стыдно врать! Я еще не на Ваганьковом, не в крематории, чтобы на меня врать!.. Ставила намедни самовар и обварила руку себе.

¹⁾ Можно без труда узнать описываемый здесь завод, — и по слегка лишь измененному названию его, и по местонахождению, и по специальности. С тем большею решительностью должен я заявить, что роман мой ни в какой мере не содержит в себе истории именно данного завода, и действующие лица списаны не с живых лиц этого завода. Взята только обстановка завода и общие условия работы на нем. Совершенно бесплодным делом займутся те, которые будут стараться докопаться, насколько верно с действительностью изложены описываемые у меня события, и кто именно «выведен» у меня под тем или другим именем.

Соседки враждебно поглядывали на Лельку.

— Ты что тут, контролерша, что ли?

— Товарищи, стыдитесь! При чем тут контролерша? Мы все сейчас—хозяева производства, мы не на капиталистов работаем. Как же мы можем допускать, чтобы наше рабочее государство платило деньги по бюллетеню человеку, который нарочно руки себе испортил, чтобы не работать!

— А тебе что? Не из своего, чай, кармана будешь платить.

— Плыла бы лучше мимо. Ишь, подглядя! Кто тебя звал?

Работница с обожженными руками продолжала кричать на всю ожидальную, всем показывала руки, рассказывала подробно, как обварилась из самовара.

Бледная Лелька решительными шагами расхаживала из одного конца ожидальной в другой.

Из двери сестра крикнула:

— Номер восемнадцатый!

Работница вошла к доктору. Леля раза два прошлась по приемной, потом быстро открыла дверь и вошла тоже. Доктор осматривал красные, в волдырях, руки работницы.

— Доктор, может быть, вот этот пузырек поможет вам определить истинные причины ожога у больной. Десять минут назад она в углу приемной полила себе руки из этого пузырька.

Больная сначала остолбенела, потом опять быстро стала сыпать с самовара, о бесстыдном вранье. Но доктор уже привык к таким вещам. Он обнюхал руки больной и равнодушно сказал:

— Вот мазь. А бюллетеня вам не будет.

Работница, плача, вышла в ожидальную.

— Что ж я теперь делать буду? Работать не могу, бюллетеня не дали... У-у, сука подлая, подглядчица! Шпионка! Глаза бы таким вырывать с самым корнем!

Работницы ночной смены толпились на широком заводском дворе,—кончили работу и ждали, когда заревет гудок и распахнутся калитки. От электрических фонарей снег казался голубым. Лелька увидела Басю Броннер. Взволнованно и слегка пристыженно рассказала ей об утреннем происшествии в амбулатории. Бася сурово сверкнула глазами.

— Очень хорошо сделала! Молодец девчонка!.. Ах, чорт! Расстреляла бы всю эту сволочь. Вредители проклятые!—Вдруг рассмеялась.—Руки обожжены, значит, а бюллетеня не получила,—здорово! Нужно потребовать от врача, чтобы сообщил о ней в завком. Какой ее врач принимал?

Вынула блокнот и все записала. Лелька поморщилась.

— Что там, оставь уж, Баська! И без того она наказана.

Бася нетерпеливо повела плечами.

— Эх, это гуманнычанье интеллигентское! Бро-ось!

Заревел гудок, работницы и рабочие восьмью черными потоками полились в распахнувшиеся калитки.

Вышли и Лелька с Басей. Долго ходили⁴ по улицам. Бася горючила:

— Такой кустарной борьбе, в одиночку, грош, конечно, цена. Нужно ее поставить на широкую ногу, придать борьбе общественный характер. Ты не представляешь, как крепко сидит в рабочем, и особенно в работнице нашей, это старое, рабское отношение к производству: надувай, сколько сумеешь! А что еще хуже, и что в них еще крепче сидит, это—старое представление о товарищеской соли-

дарности. Добросовестная работница всей душой болеет за производство, а рядом с нею—злостная лодырница, только портит материал, форменная вредительница. И та смотрит на нее, сама же возмущается, а нет, ни за что не заявит мастеру. И так брезгливо: «что, я на товарища буду доносить?» Всю еще психологию надо перестроить.

И деловито перебила себя:

— Нужно будет вот что: переговорить в ячейке и встряхнуть хорошенько легкую нашу кавалерию. Как всегда у нас: в прошлом году взялась за дело горячо, а потом совсем закисло. Нужно ее двинуть на борьбу с пьянством, с лодырничеством и вредительством.

А когда прощались, Бася крепко, по-мужски, пожалала руку Лельки и властно сказала:

— Лелька! Я на тебя очень рассчитываю, не зря так старалась сманить тебя на наш завод. Работе своей ты теперь уж обучилась. Пора в настоящее дело. Всей головой.

— А я для чего же сюда пошла?

В субботу под вечер сидели на скамеечке у ворот три рабочих вальцовщика, покуривали папиросы «Басма» и беседовали.

Старичок с впалой грудью, с рыжевато-седой бородкой говорил:

— Без нее и аппетиту настоящего нету. А как выпьешь перед обедом лафитничек,—и ешь за обе щеки... А теперь,—что такое, скажите, пожалуйста: за пол-литровки два рубля отдай, сдачи получишь две копейки. Это что,—рабочие государство, чтоб с рабочего такие деньги драть? А раньше бутылка стоила всего полтинник.

Другой, очень большой и плотный, поддержал:

— И выпить-то негде. Только в сортире и можно. На улице станешь пить,—милиционер тебе один рубль штрафа; спорить начнешь,—в отделении три заплотнишь. Нужно, чтоб в нарпите и водочку продавали,—вот бы тогда было хорошо. Сиди в свое удовольствие.

— Хо-хо!—третий, с подстриженным треугольником волос под носом, расхохотался.—Еще в нарпите тебе водку продавай!.. Нет, как в четырнадцатом году продажу по случаю войны прекратили, с той поры я не пью. И до чего же хорошо!

Большой возразил неохотно:

— Нужно чем-нибудь развлечься. Скучно. Как не выпить.

— Клуб тебе на то есть.

— Ну, клуб! Всегда молодых бичком. Да и что там? Кино, театр. Надоело.

— А тебе чего надобно в клубе, что не надоело?

Большой замолчал в затруднении. Рыжебородый же старичок твердо ответил:

— Надобно, чтоб бутылка была пятьдесят копеек, чтобы было где с приятелем выпить и закусить. Дома что? Только во вкус придется, жена за рукав: «буде!» Какое удовольствие? Пивных,—и тех по близости нету,—запрещены в рабочих районах. За Сокольниковый круг поезжай, чтоб пивнушку найти. Это называется: диктаторство пролетариата! Буржуям: пожалуйста, вот вам пивная! А рабочему: нет, товарищ, твой нос до этого не дорос!..

— Буде тебе!—третий с опаскою оглянулся.

— Что «буде»? Я правильно говорю, я никого не боюсь, самому Калинину это самое скажу. Или вот такой параграф: в субботу и воскресенье спиртные напитки продавать запрещено. Это в 1905 году они наметились, понял ты? В рабочего же человека! Торговец там или интеллигент, — он и в будни может купить. А мы

с тобою в будни на какие капиталы купим? Вот за то нам сейчас с тобою выпить захотелось, иди к Богобоязненному, целкаш лишний на бутылочку накинй.

Большой вздохнул.

— А итти не миновать. Выпить охота.

Старичок решительно встал.

— И нече время терять. Идем!

Свернули в переулочек. Серые тесовые ворота, старый, но крепкий четырехоконный домик с палисадником. Недалеко от ворот стояли три парня и безразлично смотрели. Были уж сумерки. На дворе постучались в дверь. Открыл высокий старик, иссохший, с иконописным ликом, похожий на Иисуса Христа, по прозвищу Богобоязненный. Впустил в горенку, зажег свет—и тогда стал похож на Григория Распутина. Вышел в другую комнату, долго там что-то передвигал, скрипел и вынес бутылку водки.

Довольные, вышли оба из ворот. Вдруг подошли к ним парни.

— Вы что в доме этом делали?

Старик грозно крикнул:

— А вам что?

Молодой парень с кепкой на затылке быстро распахнул у старика полы пальто и выхватил из кармана пиджака бутылку.

— Хха-а! Это что у вас, гражданин?

— А тебе что?! Кто ты таков? Сопляк, пошел прочь, пока тебе соплей не утер!

Парень крикнул высокого роста товарищу, неподвижно смотревшему на то, что делалось:

— Юрка! Обыщи другого гражданина! Может, и у него что под одежей!

Юрка продолжал неподвижно стоять, засунув руки в карманы. Подскочил третий парень и ощупал старикова спутника. Тот пожал плечами и покорно поднял руки, как перед грабителями. У него ничего не нашли.

Оська Головастов, наслаждаясь своею ролью и властью, сказал большому:

— Вы, гражданин, можете итти, а вас (к старику) мы попросим в отделение милиции для составления протокола.

— Да кто вы такие? Уголовный розыск, что ли?

— Легкая кавалерия.

— Ка-ва-ле-ри-я... То-то я смотрю, рожи как-будто все свои, рабочие... Тьфу! До чего испоганились людишки!

Оська и Ромка повели старика в милицию. Сзади, понутив голову, брел Юрка.

В отделении милиции дежурный стал составлять протокол.

— У кого вы, гражданин, купили вино?

Старик сердито кричал:

— Ни у кого я не покупал! Вчера вечером купил в лавке Центроспирта! А сейчас с приятелем шли в лес выпивать.

Оська торжествующе спросил:

— А зачем к Богобоязненному заходил?

— Не обязан я отвечать, к кому зачем заходил! Я свободный гражданин советского государства! Почетный! Рабочий, пролетарий! Имейте в виду! Куда хочу, туда и отправляюсь!

Несмотря на все расспросы, Богобоязненного старик не выдал. И с омерзением глядел на парней. Послали наряд милиционеров сделать обыск у Богобоязненного. Стали подписывать протокол. Оська сказал:

— Юрка, подпишись!

— Ну тебе!

Юрка махнул рукою и вышел из отделения.

Пропала беззатратная веселость Юрки. Ходил он мрачный, рассеянный и, вспоминая, болезненно морщился. На работе не глядел на товарищей. Раз услышал за спиною, когда проходил к своей машине:

— Вон доносчик идет. Иван-Иваныча Зяблова арестовывал, в милицию водил.

В курилке, когда он входил, разговоры замолкали.

В обеденном перерыве, когда Юрка в мрачной задумчивости стоял в очереди за супом в столовой нарпита, к нему взволнованно подошел Спирька. Глаза в пушистых ресницах смотрели из-под низкого лба враждебно. Спросил отрывисто:

— Тебя Лелька Валежникова записала в легкую кавалерию?

— Ну да, записала.

— Почему ж меня не записала? Вот стерва. Хуже я тебя, что ли!

— А я знаю? Чего сам не запишешься? Зайди в ячейку.

— Тебя она записала, а я сам пойду записываться! — потер широкую переносицу.—Какая стерва, а?.. Будешь сегодня на молодежной вечеринке в клубе?

— Нет, не пойду. Невесело что-то мне.

— Лелька будет.

— А мне что!

— Я пойду.

Спирька сказал это с угрозой.

Пришел Спирька на вечеринку. В темносиней сатиновой рубашке с густо нашитым рядом перламутровых пуговиц от ворота почти до пояса. Разговаривал с Лизой Бровкиной и нервно смеялся. Она спросила:

— Что это ты какой веселый?

— Сейчас зуб себе вырвал.

— Шибко болел?

— Стану я больной зуб рвать! Здоровый, конечно. Чтоб золотой вставить.

Увидел в густой толпе Лельку. Сразу стал угрюмый. Угрюмо кивнул ей головой и отвернулся.

Лелька шла с Зиной Хуторецкой, каждая несла в руках по фотографическому аппарату. Вошли в боковую комнату. Над дверью была большая надпись:

БЕСПЛАТНО! ПОРТРЕТЫ!

Каждый получит в конце вечера свое собственное изображение поразительного сходства!

Уже стояла длинная очередь далеко в коридор. Леля и Зина, даваясь от смеха, защелкали аппаратами. Парни подбоченивались и принимали молодецкий вид, дивчата придавали глазам томное выражение. Но это был шутовской номер: затворами щелкали впустую, а в конце вечера каждый снявшийся должен был получить в конверте грошовое зеркальце.

Спирька стал в очередь. Устроился так, чтобы попасть к Лельке. Стал в позу, выпрямился и придал лицу глубоко-меланхолическое, укоряющее выражение. Лелька щелкнула затвором и равнодушно сказала:

— Следующий!

Спирька постоял. Поглядел. Медленно вышел из клуба.

Вечеринка была грандиозная,—первый опыт большой вечеринки для смычки комсомола с беспартийной рабочей молодежью. Повсюду двигались сплошные толпы дивчат и парней. В зрительном зале должен был идти спектакль, а пока оратор из МГСПС скучно говорил о борьбе с пьянством, с жилищной нуждой и религией. Его мало слушали, ходили по залу, разговаривали. Председатель юнсекции то-и-дело вставал, стучал карандашиком по графину и безнадежно говорил:

— Товарищи! Давайте, будем потише!

В отдельных комнатах были устроены разные аттракционы. Распорядительницы-комсомолки с веселыми лицами зазывали желающих набросить удочкою кольцо на горлышко бутылки или с завязанными глазами перерезать ножницами нитку с тяжестью. В комнате № 28 танцевали под гармонику вальс, краковяк, тустеп. Здесь усердно отплясывал Васенька Царапкин,—в крахмальном воротничке, а из бокового кармашка пиджака выглядывал ярко-зеленый шелковый платочек. Танцевали больше парни с парнями, дивчата с дивчатами.

Внизу, в полуподвальном этаже, по длинному коридору только-что начали новую эстафету в мешках. Лелька глядела с другими и смеялась.

Вдруг—треск и раскатывающийся звон разбитого стекла. У входа, в дверях, стоял Спирька. Рубашка была запачкана грязью, ворот с перламутровыми пуговками оборван, волосы взлохмачены, а в каждой руке он держал по кирпичине. Одна за другою обе полетели в окна. Звон и грохот. Ребята растерялись. А Спирька в пьяном исступлении хватал кирпич за кирпичом из кучи, наваленной для ремонта прямо за дверь, и метал в окна.

Потом сверкнувшим взглядом внимательно оглядел ребят. И вдруг, сильно размахнувшись, швырнул кирпич в их кучу, как раз в то место, где стояла Лелька. Дивчата завизжали, все бросились на другой конец коридора и там сбились в кучу.

На минуту настала тишина. В одном конце коридора стояла онемевшая толпа парней и дивчат, на другом—широкоплечая фигура Спирьки с растрепанной головой. Он держал на изготовке кирпич и глядел на одну Лельку.

Лиза Бровкина возмущенно сказала:

— Ребята, да укротите же его! Ведь он всех здесь искалечит! Но парни мялись и не двигались.

У Лельки взмыла из глубины души холодная, озорная дерзость. Весело захватило дух. Уверенным шагом, высоко держа голову, она пошла прямо на Спирьку.

Спирька удивился, опустил кирпич и медленно пошел ей навстречу. Несколько парней двинулось следом за Лелькой. Спирька сверкнул глазами, и кирпич полетел мимо Лельки в глубину коридора. Ребята шархнулись назад. Лелька сильно побледнела.

Подошла, положила руку на плечо Спирьки.

— Спирька! Как не стыдно! Что за хулиганство! А еще комсомолец!

Спирька задыхался. Глаза в пушистых ресницах со страданием глядели на Лельку.

— Лель!.. Лель!..

Он всхлипнул и крепко ударил себя кулаком в грудь.

— Лель! За что ты меня обидела?

— Чем я тебя обидела?

— Юрку позвала в легкую кавалерию, а меня нет? А мы вместе с ним тебя в кружке слушали... Я ведь тоже слушал, старался... Чем я хуже его оказался? Ле-ель!..

Он выронил кирпич, рыдал и продолжал бить себя кулаком в грудь.

Вдруг вокруг него выросли фигуры парней, бросились на Спирьку. Он зарычал. Ребята схватили его за руки и стали их закручивать назад. Он вывертывался, рвался, но подбегали еще парни. Так закрутили ему назад руки, что Спирька застонал. И вдруг Лелька увидела: Оська Головастов теперь, когда Спирька был беззащитен, яростно бил его кулаком по шее.

Лелька в негодовании крикнула:

— Брось же, Оська! Что за гадость!

Спирька неожиданно изогнулся, с силою боднул Оську головою в лицо, вырвался и, шатаясь, побежал к двери. Разгоряченные ребята—за ним. Оська стоял, зажав ладонями лицо, из носу бежала кровь. Вдруг—дзеньканье, звон, треск. У двери были сложены оконные рамы, Спирька споткнулся и упал прямо в рамы. Барахтался в осколках стекла и обломках перекладин, пытался встать и не мог.

Его выгнали. Оська с остервенением кинулся его бить, но другие не пустили. Спирька пришел в себя, беспомощно стоял и с удивлением глядел на свои залитые кровью руки и как ручейки крови бежали с лица на нижнюю рубашку, выглядывавшую из разрывов верхней. Кровь не капала, а бежала быстрыми ручейками. Лелька сказала:

— Это серьезная штука. Нужно его отправить на перевязку.

Спирька встряхнулся.

— Куда отправить? Никуда не пойду.

И заворочал опять обезумевшими глазами.

Явился заведующий клубом, распорядители. Спирька отказывался итти, буйствовал, кричал:

— Ни с кем не пойду, только с Лелькой!

И со звериною хитростью все время держался спиной к стене, чтоб его опять не схватили сзади.

Лелька пожалала плечами.

— Одна я с тобою не справлюсь. Не доведу. Пусть вот хоть Шурка Щуров с нами пойдет.

— Шурка?—Спирька внимательно оглядел Шурку.—Тех-ни-ческий секретарь? Доверяю! Ладно!

Втроем пошли в больницу. В середине—шатающийся, весь залитый кровью Спирька, а под руки его держали с одной стороны Лелька, с другой—Шурка Щуров.

Спирька в счастливом упоении все бил себя кулаком в грудь и твердил:

— Из всех ребят! Из всех дивчат! Больше всех я уважаю тебя! Только тебя уважаю, больше н-и-к-о-г-о!.. Ле-ель! Видишь, транвай идет? Скажи одно слово,—сейчас же лягу на рельсы!

Лелька шла и в душе хохотала. Ей представилось: вдруг бы кто-нибудь из бывших ее профессоров увидел эту сценку. «Увеселительная прогулка после вечера смычки». Хха-ха! Ничего бы не понял бедный профессор, как можно было променять тишину и прохладу лаборатории на возможность попадать в такую компанию, как сейчас. Стало ей жаль бедного профессора за его оторванность от жизни среди мошек, блошек и морских свинок.

Юрка тосковал и не знал, куда себя деть. Вышел новый номер заводской газеты «Проснувшийся Витязь». В нем Юрка прочел:

НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ!

В штаб легкой кавалерии поступило заявление, что некий Воробьев, по прозвищу Богобоязненный, бывший рабочий нашего завода (какой позор!), торгует вином. Этот Воробьев очень хитрый и ловко умел скрывать от милиции свои делишки. Вальцовщик Иван Зяблов в минувшую субботу зашел к нему с товарищем, купил бутылку водки, но при выходе был остановлен отрядом легкой кавалерии нашего завода. Попросили его в милицию. Когда стали составлять протокол, то Зяблов стал скрывать этого шинкаря и ругать кавалеристов. Что это за рабочий, который скрывает шинкаря. Мы не ожидали, что на нашем заводе могут быть такие несознательные рабочие. На черную доску вальцовщика Ивана Зяблова!

Но и эта заметка не изменила настроения Юрки. Напротив, еще стало противнее на душе. «В штаб легкой кавалерии поступило заявление...» Это он там нечаянно проговорился про Богобоязненного, у которого и сам не раз покупал прежде вино. Проговорился, ребята пристали, пришлось сказать адрес... Ой, как все мерзко!

Юрка не знал, что сделать, чтоб утишить тоску. Напился пьян. Легче не стало.

Могучий рев гудка на весь поселок, залиvistые звонки по цехам: половина двенадцатого, часовой перерыв на обед.

Юрка остановил свою машину, вяло побрел в столовку. По переходам и лестницам бежали вниз веселые толпы дивчат. Дивчата, пересмеиваясь, стояли в длинных очередях к кассе и к выдаче кушаний. Буро-красные столы густо были усажены народом, — пили чай, ели принесенный с собою обед или здесь купленные холодные закуски (горячие блюда в заводской столовке не готовились, — пожарная опасность от огня: бензин). Весело болтали, смеялись, спорили.

Юрка сидел в углу, угрюмо жевал колбасу с плохо испеченной булкой и с завистью смотрел на кипевшую вокруг бездумно-веселую беззаботность. Увидел у окна в куче девичьих голов хорошенькую головку Лельки с вьющимися стриженными волосами. Лелька, смеясь, горячо что-то говорила Лизе Бровкиной. Вот Леля: она все знает, все понимает, что хорошо, что плохо, у ней настоящие взгляды, марксистские... Эх, муч-чение!

Лелька встала из-за стола, пошла с Лизой из столовой. Юрка бросил начатый стакан чая и побежал следом. Нагнал в раздевалке, меж вагонеток, груженных рамками с готовыми галошами.

— Здравствуй, Леля!

— А-а, Юрка! — она радушно протянула руку. — Читал в газете про ваш налет?

Юрка потемнел.

— Читал.

Лелька внимательно поглядела на него, взяла за концы пальцев и потянула за собой.

— Пойдем, поговорим.

Они пошли длинными и молчаливыми залами за раздевалкой, где чернели огромные вулканизационные котлы. Ходили по рельсовым путям взад-вперед и горячо говорили.

— Юрка, Юрка, глупая ты голова! Неужели и теперь не понимаешь? Какая у нас может быть установка? Пойми, — только одна: все, что способствует приближению социализма, то хорошо. Что вредит, — то к чорту, с тем нужно бороться всеми силами, без пощады и без гнилых компромиссов. Ну, а что, скажи: правильно поступает наша власть, когда борется с пьянством рабочих, когда запрещает продажу спиртных напитков?

— Ясно: правильно.

— Н-ну-у?.. — Лелька вз'ерошила Юрке волосы. — О чем же ты мучаешься, чем терзаешься? Дурак, дурак!

Взяла Юрку под руку, прижалась к его руке, и так пошли к раздевалке.

— Мы с тобою еще много делов наворочаем. Это у тебя «детская болезнь», остатки старой, дореволюционной психики.

Юрка радостно ощущал, как к локтю его прижималась тугая грудь Лельки. Волна уверенной радости окатила душу. Лелька видела его влюбленные глаза, и ей хотелось почувствовать свою власть над ним.

— Ну, сейчас гудок. Бежать на работу. Вот что, Юрка. В штабе нашей легкой кавалерии я предложила такую штуку: нужно повести решительную борьбу с прогульщиками. Прогулы дошли до четырнадцати процентов. Ты понимаешь, как от этого падает производительность. И вот что мы надумали... С понедельника мы работаем в ночной смене, — ты тоже?

— Ага!

— Так вот. В понедельник к восьми утра мы собираемся в завкоме, получаем список всех не явившихся на работу, разбиваемся на отряды — и на квартиры к прогульщикам. Проверяем, уважительный прогул или неуважительный.

Опять вихрь омерзения закрутился в душе Юрки, он неохотно промышчал, что-то будто бы одобрительное. Лелька опять внимательно поглядела на него.

— Значит в понедельник, в восемь утра, в завкоме. Придешь?

— Приду.

— Ну, смотри! Если надуешь...

Она погрозила ему кулаком.

Заревел гудок. Опрометью оба бросились к своей работе.

В завкоме, в комнате Осоавиахима, в понедельник собрались ребята-налетчики. Походом руководила Бася. Распоряжалась властно и весело. Шурка Щуров, во всяком деле незаменимый технический секретарь, принес длинный список работниц и рабочих, не явившихся сегодня на работу.

— Го-го! — общий раскатился хохот. — Какой эпидемический день!

Бася спросила Шурку:

— А адреса их раздобыл?

— Ну да, раздобыл. А то как же?

— Молодец парень. Забыла тебе сказать. Боялась, сам не сообразишь.

Шурка, играя, схватил ее за запястья. Бася спокойно отстранила его руки.

— Брось заигрывать! Молодой парень, а к старухе лезешь... Ну, рассаживайся, ребята. Будем распределять адреса по районам.

С шутками и смехом сортировали адреса, потом стали распределять районы.

Лелька под столом ласкающе потянула Юрку за концы пальцев и сказала:

— Мы с тобой.

Юрка радостно отозвался:

— Ладно!

Распределили. Лельке с Юркой достался район Миллионной улицы. Юрка, сначала веселый, вдруг опять почему-то стал мрачен. Лелька исподтишка приглядывалась к нему. Делом женского самолюбия стало для нее — подчинить себе этого парня, заставить его радостно, с сознанием своей правоты исполнять то, что сейчас — она видела — он исполнял с насадом и отвращением.

Когда они выходили, Юрка вдруг сказал:

— Я тебя очень прошу: давай, с кем-нибудь поменяемся районами.

Лелька удивилась.

— Почему?

— Видишь ли... — он замялся, вынул список, подчеркнул ногтем. — Спиридон Кочерыгин. Это мой приятель закадычный. Спирька. Ты знаешь. Сколько гуляли вместе! Как я к нему приду?

Лелька строго смотрела на него.

— Юрка! Ты для своих приятельских отношений готов пожертвовать революционным долгом? Стыдись!

— Да нет, я что ж... Я понимаю. Нешто я против этого? Я только прошу, поменяемся районами, чтоб не мне к нему итти..

Холодно и упрямо Лелька ответила:

— Как хочешь. Меня не пугает, что мне к Спирьке придется итти, чего мне меняться. А ты меняйся, твое дело.

Проходили мимо Шурка Щуров с Лизой Бровкиной.

— Шурка! Хочешь, пойдём со мной? А Юрка с Лизой пойдет. Ему что-то со мной не по дороге.

Шурка с готовностью отозвался:

— Есть!

Но Юрка отстранил его.

— Нет уж, все одно. Пойдем.

На Миллионной вошли в ворота большого — не сказать двора, не сказать сада. Среди высоких сосен и берез были разбросаны домики в три-четыре окна. Юрка, бледный, шел уверенною дорогою к почерневшему домику с ржавой крышей.

Вошли в просторную кухню с русской печью. За столом сидела старуха, в комнате было еще трое ребят-подростков. У всех — широкие переносицы и пушистые ресницы, как у Спирьки.

Юрка, не стучась, открыл соседнюю дверь, — Лелька хотела его остановить, чтоб постучал, да не успела. Спирька, в очень грязной нижней рубашке, сидел на стуле, положив ногу на колено, и тренькал на мандолине. Волосы были взлохмаченные, лицо помятое. На лбу и на носу чернели подсохшие порезы, — как он тогда на вечеринке упал пьяный в оконные рамы. Воздух в комнате был такой, какой бывает там, где много курят и никогда не проветривают.

— А-а!

Спирька приветливо улыбнулся Юрке и вдруг в сконфуженном испуге заметался по комнате: увидел Лельку. Схватил крахмальный воротничок, стал пристегивать.

Лелька холодно спросила:

— Мне нельзя? Я подожду.

— Ничего, иди, иди!

А сам поспешно надевал пиджак и повязывал галстук. На ходу заглянул в зеркальце, поплевал на ладонь и пригладил волосы.

— Садитесь, сейчас будем чай пить.

Был он очень польщен, но все-таки никак не мог понять, чего она пришла. Лелька с тою же холодной сдержанностью спросила:

— Ты почему сегодня не на работе?

За спиной Спирьки она увидела его постель: засаленная до черноты подушка, грязный тюфяк и на нем скомканное одеяло. Он спал без постельного белья. А зарабатывал рублей двести. Ветхие синие обои над кроватью все были в крупных коричневых запятых от раздавленных клопов.

— Почему не на работе? Проспал. Немножко погуляли вчера.

— Что ж так? Это не годится. В распоряжения попадешь за неуважительную причину.

— Уважительная будет. У меня тут в домовом комитете все свои людишки, вместе гуляем. Самую уважительную причину пропишут... Да что мы так, погодите, я сейчас чайку...

— Товарищ Кочерыгин, мы к тебе не чай пришли распивать, а по приказу штаба легкой кавалерии, — проверить, по уважительной ли причине ты сегодня не вышел на работу. Ты комсомолец, значит, парень сознательный, понимаешь, что прогулы — это не пустяки для производства, что производство на этом ежегодно теряет сотни тысяч рублей. Подумал ты об этом?

Спирька окаменел от неожиданности и молча слушал. Потом остро блеснул глазами, медленно оглядел обоих.

— Вы за этим делом ко мне и пришли?

И пристально уставился на Юрку. Юрка отвел глаза.

— Та-ак... — Спирька глубоко засунул руки в карманы.

Лелька с негодованием воскликнула:

— Ты же еще пытаешься нас облить презрением! А еще комсомолец! Пример подаешь лодырям и прогульщикам, обманываешь государство и партию, играешь на руку классовым нашим врагам, — и стоишь в позе возмущенного честного человека!

Спирька тяжело глядел, не вынимая рук из карманов.

— Ну? Дело свое сделали? Запишите в свои книжечки, что надо, и смывайтесь.

Лелька спокойно ответила:

— Нам больше тут делать и нечего. Пойдем, Юрка.

Спирька, все так же руки в карманах, вышел следом на крыльцо. Лелька с Юркой пробирались по узкой тропинке в снегу к воротам. Спирька сказал вслед Юрке:

— Погоди, гад! Посчитаемся с тобой!

Лелька остановилась.

— Что он сказал?

Спирька ушел к себе. Юрка ответил неохотно:

— Так, грозитя. Только не больно его испугались.

Они пошли по следующим адресам.

Длинные столы. Перед ними — баки с коричневым лаком. Мускулистые лакировщики снимают с вагонетки тяжелые железные полосы, — они почему-то называются рамками. На полосах густо сидят готовые галоши. Ставят рамки на подставки за столом. Лакировщик снимает колодку с готовой галошей, быстро и осторожно опускает галошу в лак, рукою обмазывает галошу до самого бордюра,

стараясь не запачкать колодку, и так же быстро вставляет ее опять на шпенек рамки. Приятно пахнет скипидаром.

Спирька Кочерыгин работал в одной физкультурке без рукавов, бугристые его мускулы на плечах весело играли, когда он нес к вагонетке рамку с отлакированными галошами. Но сам он был мрачен, глядел свирепо и только хотел как-будто в веселую игру мускулов оттянуть засевшую в душе злобу.

Пришел из курилки взволнованный Васька Царапкин, сообщил товарищам:

— Администрация поднимает вопрос о снижении расценок лакировщикам. Говорят, — очень много зарабатываем, двести рублей.

— Как?! Ого! — рабочие возмутились. — А работа-то какая, это они подумали? В рамке два пуда весу, ежели колодки чугунные. Потаскай-ка, — ведь на весу их удержишь в руках.

— Да, — продолжал Царапкин, — вырабатываем мы пятьдесят три тысячи пар, хотят поднять норму до пятидесяти семи, а расценку снизить.

— Ну, это еще поглядим, как снизят. Не царские времена.

Царапкин осторожно возразил:

— Царские времена тут не при чем. А нужно в профцехбюро, — послать туда депутатов, объяснить. Не может всякая работа оплачиваться одинаково. У нас тяжелая работа, — раз. Вредная для здоровья, — два.

Спирька процедил:

— Ого! Как раз и хронометраж идет. Держись, ребята!

В лакировочную входила Бася Броннер с папкою в руке. Все не спеша взялись за работу.

Бася подошла к столам, где рядом работали Спирька и Царапкин. Спирька оглядел ее наглыми глазами. Бася от него отвернулась. Достала карандаш, положила секундомер на край стола и начала наблюдать работу Царапкина. Царапкин медленно снимал колодку, медленно макал ее в лак и старательнейше обмазывал рукою бордюры. Бася начала было записывать его движения, — безнадежно опустила папку и спросила:

— Вы, товарищ, всегда так медленно работаете?

Царапкин с готовностью стал объяснять:

— Скорая работа, товарищ, у нас никак не допустима. Галоши нужно обмазывать очень осторожно, чтоб ни одна капелька лака не попала на колодку. Н-и о-д-н-а, понимаете? А то при вулканизации лак подсохнет на колодке. Когда новую галошу на колодке станут собирать, подсохший этот лак сыплется на резину, и получается брак. Самая частая причина брака.

Бася раздраженно возразила:

— Напрасно вы мне это, товарищ, рассказываете, — я и сама все это не хуже вас знаю.

— А знаете, так чего же удивляетесь?

И продолжал с медленною старательностью обмазывать галоши. Бася прикусила губу, помолчала и стала записывать его движения.

Сзади кто-то с возмущением сказал:

— Как не надоест! Ходит, ничего сама не работает, только глязет и пишет.

Бася вспыхнула и не сдержалась.

— Зато вам после меня придется больше работать!

— Да уж это конечно! На то вас тут и поставили, — шнырять да вынюхивать, как бы норму нагнать.

Царапкин примиряюще возразил:

— Товарищи, нельзя так. Это ее работа, она ее обязана делать. Бася, поглядывая на секундомер, старательнейшим образом продолжала записывать все — видимо, замедленные — движения Царапкина. Наконец, кончила, сложила папку и пошла к выходу. Вдогонку ей засмеялись.

Царапкин морщился и махал на товарищей руками.

— Нельзя так, ребята! Ну, что это! Все дело только портите. Она сразу и поняла, что мы дурака валяем. Нужно было ничего не показывать, — только растягивай каждый работу, и больше ничего. Эх, подгадили все дело!

Трудная это была и неприятная работа Баси, — хронометраж. Рабочие настораживались, когда она подходила, знали, что выгоднее работать на ее глазах помедленнее, и отношение к ней было враждебное. Силой воли Бася обладала колоссальной, но и она с неприбычки часто падала духом, никак не могла найти нужного подхода.

Весь этот день она промучилась, и самолюбие сильно страдало, когда вспомнила общий смех себе вдогонку. Вечером случайно узнала в ячейке, что Царапкин — комсомолец, да еще активист. Вспомнила, что даже имела с ним кой-какие дела. Бася решила пойти к нему на дом и поговорить по душам.

Царапкин жил в конце трамвайной линии, около аптеки, в огромном шестиэтажном, только-что выстроенном доме рабоче-жилищной кооперации. Позвонилась Бася, вошла.

Царапкин очень удивился. Она сказала, сурово глядя на него черными глазами:

— Я не знала, что ты комсомолец, уже после узнала. Пришла с тобою поговорить по-товарищески, по-комсомольски. Что же это ты, Царапкин, делаешь?

Вася с невинным лицом смотрел.

— Это насчет того, когда ты была у нас в лакировке? Что же я делаю? Когда ты ушла, я, совершенно напротив того, объяснял товарищам, что так не годится делать.

— А сам зачем делал?

И вдруг замолчала. И с удивлением стала оглядываться. Большая комната. Все в ней блестело чистотою и уютом. Никелированная полутораспальная кровать с медными шишечками, голубое атласное одеяло; зеркальный шкаф с великолепным зеркалом в человеческий рост, так что хотелось в него смотреться; мягкий турецкий диван; яркие электрические лампочки в изящной арматуре.

Бася отрывисто спросила:

— Что это у тебя за мебельный магазин?

Васенька покорежился. Бася подняла брови и изумленно взглянула на стену.

— А это что?!

Над диваном в красивых, совершенно одинаковых ореховых рамках висели рядом два портрета: портрет Ленина и — фотографически увеличенный собственный портрет Васеньки Царапкина с умным лицом.

— Два вождя на стене: Владимир Ленин и товарищ Царапкин! Ха-ха-ха!

Царапкин с неудовольствием возразил:

— Почему «вождя»? Пришлось по случаю купить две рамки одинаковых, только всего и дела. А что тебе из мебели тут не нравится?

— Ничего не нравится. Кокотки комната, а не комсомольца. Ты, случаем, уж не душишься ли?

— Кокотки тут не при чем. И вообще я тебе удивляюсь, товарищ. При царском режиме рабочий жил, как свинья, — что же, и теперь мы должны жить так же? Я думаю, что рабочий должен повышать свой жизненный и культурный уровень, в этом и был смысл нашей великой революции.

— Да? — почтительно спросила Бася.

Рассмеялась и встала. И смотрела с ненавистью.

— Я пришла с тобою говорить, как с товарищем-революционером, о твоём ошибочном поведении сегодня в цеху. А теперь вижу, что говорить нам с тобою не о чем. С тобою нужно бороться, как с классовым врагом.

И вышла.

Из объявлений на задней странице газеты «Известия»:

Гр-н ЦАРАПКИН Василий Алексеевич, уроженец города Москвы, меняет имя и фамилию Василий Царапкин на ВАЛЕНТИН ЭЛЬСКИЙ. Лиц, имеющих препятствия к означенной перемене, просят сообщить в МособлЗАГС, Петровка, 38, ад. 5, с указанием имени, отчества, фамилии и местожительства.

Лелька в воскресенье зашла вечером к Басе. Расхаживая по уютной своей комнате широким мужским шагом и сильно волнуясь, Бася рассказывала, как держался с нею на работе Царапкин. Когда Бася волновалась, она говорила захлебываясь, обрывая одну фразу другою.

— Этого оставить так нельзя. Нужно, понимаешь, вокруг этого дела чтобы забурлило общественное мнение. Чтоб широкие массы заинтересовались. Какое наглое рвачество! И комсомолец еще! Я поговорю в партийной ячейке. Думаю, — нельзя ли устроить над ним общественный суд, товарищеский, чтобы закрутить это дело в самой гуще рабочих масс.

Пили чай. С хохотом делились такими противоположными впечатлениями от посещения обиталищ Спирьки и Царапкина.

Лелька сказала:

— А я недавно присутствовала на занятиях твоего брата, как он ведет кружок по диамату.

Черные глаза Баси блеснули острым любопытством. Стараясь показаться безразличной, она спросила, глядя в сторону:

— Как тебе понравились его занятия?

— Замечательно! Прямо, профессор какой-то! Откровенно сказать, раньше он мне не нравился. А тут, — замечательно! Видно, умница, и с собственными взглядами на все.

В глазах Баси мелькнула тайная радость. Она медленно сказала, сдвинув брови:

— Арон, это — единственное пятно на моей революционной совести.

— Пятно?

— Позорнейшее. Из-за которого я не должна бы смотреть прямо в глаза ни одному честному товарищу. Ведь мы с ними дети самого форменного эмпана, мучного торговца. Только я с пятнадцати лет порвала с родителями, ушла от них, поступила в комсомол. А он от родителей не отказался, жил с ними, на их иждивении. Совершенно-

аполитический. До социализма ему нет никакого дела. А я провела его рабочим на завод, помимо биржи, через свои связи. Представляешь себе, какой он закройщик передов! Поддержала его кандидатуру в комсомол... Но как же мне иначе быть? Ты понимаешь, ему необходимо поступить в вуз, он обязательно должен дальше учиться, я уверена, что из него получится великий мыслитель. Увы! Не в роде Маркса. Но, во всяком случае, в роде Спинозы или Эйнштейна... А так в вуз ему не попасть. Два раза блестяще сдавал вступительные, — и за социальное происхождение не принимали. Но скажи, неужели нам ненужны свои Эйнштейны?

Что Арон аполитичен, это сразу настроило Лельку против него. И, оказывается, ему совсем все равно, придет ли социализм или нет. Она вспомнила усмешку в его губах, когда он излагал в своем кружке возражения Энгельса Дюрингу. Чего доброго, он, может быть, даже—идеалист!

И Лелька ответила неохотно:

— Если так рассуждать, как ты, то придется принимать в вузы все классово-чуждые элементы. Каждый папаша считает своего сына гением.

Бася замолчала. Потом улыбнулась деланно:

— Как хорошая комсомолка, ты все это должна бы заявить, когда меня будут чистить. Поговаривают, что будет генеральная чистка всех партийцев.

Лелька обиделась.

— Что ты говоришь? За кого ты меня считаешь?

Бася нервно провела ладонями от висков по щекам.

— Я бы сочла своим долгом сказать. Ну, да спасибо.

Она молча заходила по комнате. Взглянула на часы в кожаном браслете. Потом сказала коротко и решительно:

— А теперь вот что. Пора тебе уходить. Я жду к себе своего парня.

Какого это парня? В личной жизни Бася была очень скрытна. Лелька знала только, что парни у нее меняются очень часто, что у нее было уже пять абортюв.

Лелька шла по пустынной Второй Гражданской улице. Тихая облачная ночь налегла на поселок, со стороны Москвы небо светилось неугасающим заревом. Лелька думала о том, что вот и Бася оказалась не безупречной. Это очень печально. Насчет Арона, конечно. Насчет парней—это ее дело. Может быть, слишком уж у нее все это просто, но, кажется, тут есть общий какой-то закон: кто глубоко и сильно живет в общественной работе, тому просто некогда работать над собою в области личной нравственности, и тут у него все очень путано... Но Арон! Эх, Баська, Баська!

От глубокой снежной тишины было жутко. В сугробе под забором чернело что-то большое. Чернело, шевелилось. Пьяный? Поднялся, было, на руках человек, опять упал. Пьяный-то словно и пьяный, а только слишком как-то все странно у него. Небо низко налегло на землю. Выли собаки.

Одoleвая жуть, Лелька подошла к сугробу. Человек уже лежал неподвижно, боком. Лицо было очень странное,—как-будто все залито чернилами. Пьяный, вылил себе на голову чернильницу? Или кто запустил в него ею? И вдруг Лелька вздрогнула: не чернила это, а кровь! Да, кровь!

Лелька наклонилась. Кепка валялась в снегу, густые волосы слиплись от крови, и кровью было залито лицо. Лелька тихо застонала: это был Юрка.

Оступаясь в колеях дороги, она побежала искать телефон, чтобы вызвать карету скорой помощи.

История с Юркой взволновала весь комсомол. В партийной ячейке шли возмущенные разговоры о том, что ребята в комсомоле совсем распустились, развиваются прогулы, хулиганство, рвачество, никакого отпора этому не дается, воспитательной работы не ведется. Секретаря комсомольской ячейки Дорофеева вызвали в райком и здорово намылили голову.

Решено было устроить тут же, на заводе, общественный показательный суд над Спирькой, избившим Юрку, и над Царапкиным. Придать суду самый широкий агитационный характер. Ребята энергично взялись за осуществление этого решения.

Суд был назначен в клубе, в комнате № 28. Пришел председатель суда, рабочий-каландровожатый Батиков, старый партиец, коротконогий человек с остриженной под машинку головой и маленьким треугольничком усов под носом. Пришли двое судей,—галошница и рабочий из мелового отделения. Народ все валил и валил. Валила комсомолия, шло много беспартийных. Пришлось перенести суд в зрительный зал, и для этого отменить назначенный там киносеанс.

Судьи уселись на эстраде за красным столом. Тут же сбоку сел и секретарь суда — служащий из расчетного стола. Председатель вызвал Спиридона Кочерыгина.

Спирька легким прыжком физкультурника мимо лесенки вскочил на эстраду.

— Ты—Спиридон Кочерыгин?

— Ага!

— Садись.

Спирька сел и, посмеиваясь, переглянулся с приятелями. Он внутренне волновался, но держался спокойно и самоуверенно. Кудреватая гривка над низким лбом, яркозеленый джемпер на русской рубашке.

Председатель стал читать Юркино заявление, написанное Лелькою. В грамоте разбирался он плохо, но непременно хотел читать сам, секретарю не давал, хотя тот и пытался взять у него бумагу.

— Когда мы пришли кы... кы... к этому гражданину, то... э... э...

В следующем слове долго разбирался, секретарь заглянул, подсказал:

— ...то оказалось...

И хотел читать дальше. Но председатель отобрал бумагу. Спотыкаясь и замолкая, дочитал сам.

Спирька слушал, левую руку уперши в бедро. Правый локоть он положил на стол, руку вверх, и все время машинально сжимал и разжимал кулак.

Председатель кончил читать, вопросительно поглядел на публику.

— Понятно вам заявление? Можете повторить?

Событие все и без того знали. Ответили:

— Понятно.

Председатель удовлетворенно сел и сказал обвиняемому:

— Обвинение мы тебе прочли, а ты выкручивайся. Только говори всю правду, потому что ты не должен терять своего авторитета перед публикой... Так вот и расскажи нам, красота моя, как это случилось, что ты товарища своего избил,—за какие дела, за какую

обиду?.. Только одну еще минуту подожди. Вот что скажи мне: раньше судился когда?

— Нет.

Из публики голос:

— Как нет? А три месяца принудилки?

Спирька неохотно протянул:

— Ну, да... Было три месяца.

— За что?

— Забыл.

— Забыл, за что дали три месяца!

— А я все буду говорить!

— Обязательно! Суд от вас этого требует.

— Просто сказать, драка была небольшая, взаимная. Несправедливо осудили, ни за что.

— Гм! Какой непролетарский судья! Надо про него написать в РКИ, какой у него неправильный подход к рабочим.

Спирька усмехнулся и опять переглянулся с приятелями. Председатель строго сказал:

— Слушай! Если я смеюсь, то я смеюсь серьезно. И серьезно я тебя спрашиваю: за что судили?

— Ну... За хулиганство.

И Спирька снова усмехнулся.

— Вы чего смеетесь? Я очень смешной или грязный? Мне бы легче было, если бы вы надо мною смеялись. А вы на три месяца принудиловки смеетесь, это плохо... Вы что, комсомолец?

— Да.

— Что же тебе в ячейке сказали за твое осуждение?

— Сказали, что плохо.

— Только и всего?

— Ну да! А то что же, скажут: «хорошо»?

Председатель вздохнул.

— Если мы все тут будем работать на принудиловке,—как ты думаешь, мы пятилетку тогда в четыре года сделаем? Нет, брат, тогда придут генералы, а ты перед ними будешь стоять под конвоем.

Выяснилось из сообщений присутствовавших, что у Спирьки еще была одна судимость,—месяц принудительных работ. Да еще три привода в милицию.

— А выговоры тебе по заводу были?

— Не помню.

— Как же не помнишь?

— Все помнить!

Председатель заглянул в дело.

— Видимо нам из справки, что у вас по распоряжениям проведено шесть выговоров. Знаете ли вы, как такое дезертирство труда отзывается на производстве?

— Не знаю.

— Почему вы такой глупый, что не знаете? Так я вам тогда скажу, что с дезертиром рабочий класс не считается и увольняет за это. Кто не хочет участвовать в нашем великом строительстве, того мы, рабочие, заставляем работать из-под палки там, где комаров много... Ну, вот, суммируя обо всем вышесказанном, скажи мне: две судимости, шесть выговоров, три привода в милицию,—вот все это, вместе собранное: все это была ложь. или сам ты был виноват? Зря тебе все это припаяли?

Спирька разжал кулак, заглянул в него, сжал опять и неохотно ответил:

— За дело...

— А три месяца принудиловки?

— Тоже не зря.—И вдруг сверкнул глазами в пушистых ресницах.—Ты меня присуждай, к чему надобно, а жил из меня не тяни!

В зале захохотали. Председатель хитро усмехнулся.

— Мы тебя, милый, может, ни к чему даже и не присудим, нам не это важно есть. А важно нам выяснить тебя перед всеми, какков ты нам есть товарищ и гражданин пролетарского государства. И мы тебя начали уж немножко больше понимать,—от одних вопросов о твоей прошлой жизни. Теперь можно приступить к делу. Потерпевший... э... э... Георгий Васин. Выходи сюда, садись вот тут.

Юрка с головою, забинтованною марлею, поднялся по лесенке на эстраду. Спирька с глубоким презрением оглядел его и отвернулся. Юрка побледнел под этим взглядом. С страдающим лицом он сел на другом конце стола.

Председатель обратился к Спирьке:

— Вот теперь ты нам расскажи все по порядку, за что ты товарища своего избил, за какие его дела.

— Просто, пьяная драка была, больше ничего. А здесь из моськи сделали слона.

— А этого слона,—из-за чего его сделали? Вот ведь меня ты сейчас не бьешь. Из-за чего-нибудь драка вышла же у вас.

— Не помню.

— А вот тут в заявлении сказано, что ты перед дракой, три дня тому обратно, грозился, что ему даром не пройдет чегой-то такое. За что ты ему грозился?

— Мало ли что говорится. Это я тогда просто с сердец сказал, без всякой последовательности.

— А за что ты ему тогда сказал? За что гадом назвал?

Спирька сверкнул глазами.

— Не по-товарищески поступил.

— А в чем был этот поступок нетоварищеский?

— Пришел на квартиру ко мне пронюхивать, почему на работу я не вышел. Что он, администрация, что ли? А были приятели, сколько вместе гуляли!

— Вот. Ты прогулы делаешь, вредишь этим производству. А чье теперь производство, знаешь? Капиталистов каких-нибудь, буржуазии, али рабочего государства? Отвечай мне.

— Ну, ясно: рабочего государства.

— Значит! Делая эти прогулы, ты у нас называешься дезертир труда. Ты знаешь про нынешнюю железную дисциплину труда? Мы раньше воевали с капиталистами, а теперь за лучшую нашу долю воюем с дисциплиной труда. Мы железно боремся на работе по труддисциплине! И всякого, кто за это борется, надо не гадом называть, а называть строителем социализма.

Спирька молчал, разжимал кулак, заглядывал в него и опять сжимал.

Председатель вздохнул.

— Плохо, красота моя, плохо!.. Ну, теперь потерпевший пусть нам расскажет, как что было.

Юрка смотрел угрюмо.

— Все в заявлении прописано. Что рассказывать!

— Сколько тебя человек било?

— Не один, конечно. Три-четыре. А то бы я дался?

— Узнал их в лицо?

— Спиридона вот узнал.

— А других?

Из других тут же в первом ряду сидели рамочник Ширкунов и с'емщик Сл'юшкин. Они с выжидающей усмешкой глядели на Юрку. Юрка с отвращением ответил:

— Других не узнал.

Председатель обратился к Спирьке:

— Кто это вместе с тобою работал, молодец?

Спирька с вызовом ответил:

— Не знаю.

Председатель повысил голос.

— Как я тебя спрашиваю по общественности, то ты мне отвечай по пролетарской совести, ты передо мною ничего не должен скрывать!

Повысил голос и Спирька.

— Что я, товарищей тебе стану выдавать? Не дожدهшься! Присуждай на три года изоляции, а доносчиком на товарищей не буду!

Он сказал это горячо и резко. В разных концах зала раздались рукоплескания, в ответ на них—властно-громкое шиканье, и рукоплескания робко упали.

Председатель встал.

— Ну, товарищи, давай оценивай. Какое общественное мнение, какой суд нужно применить к этому парню?

Лелька сказала:

— Позвольте мне.

— Сюда взойдите.

Лелька поднялась на эстраду, взошла на трибуну.

— Ребята! Я видела вот этого нашего товарища лежащим ночью в снегу, под забором, с разбитой головой, без чувств. Был мороз. Переулок глухой. Если бы я случайно не проходила мимо, парень замерз бы. За что же его избили и бросили подышать на морозе его товарищи, за что присудили к смерти? За то, что он честно исполнил долг пролетария и комсомольца, что он болел душою за производство, что повел большевистски-непримиримую борьбу с лодырями и прогульщиками, не глядя на то, приятели это его или нет... Юрка! Мне самое больное из того, что я здесь вижу, это то, что ты сидишь как-будто обвиняемый, что ты опускаешь голову и не смеешь взглянуть на мерзавцев, которые продают наше рабочее дело, которые пытались проломить тебе голову за то, что ты не хочешь их покрывать. Верь, Юрка, все мы, комсомольцы, все сколько-нибудь сознательные рабочие,—мы все за тебя. Выше голову, гордо подними ее, ты честно делаешь свое дело! И прими от меня горячий товарищеский привет!

Она охватила руками шею остолбеневшего Юрки и жарко поцеловала его. Спирька вздрогнул, выпрямился, кулаки его машинально сжались. Зал загремел рукоплесканиями. Дивчата хлопали, смеялись, приветственно махали Юрке кистями рук и платками, кричали:

— Юрка! Не робей! Дерись и вперед за производство! Молодец-парень! Не отступай!

Тепло и весело стало в зале, все почувствовали себя как-то дружнее. Спирька сидел растерянный и недоумевающий, исподлобья поглядывал на дивчат.

Взошел на трибуну Гриша Камышов, секретарь ячейки вальцовочного цеха, длиннолицый, с ясными глазами. Он сказал:

— Товарищи! Должен я вам сказать вот какую истину: плохо у нас в комсомольской ячейке обстоит дело с воспитанием товари-

шей. Нет у них правильной идеологии, мало у них осознана классовая борьба и нет настоящей поддержки правильным стремлениям. Подумайте, как это могло случиться? Вот сидит гражданин и воображает себя героем, пострадать готов, чтобы не выдать товарищей. И ему в зале хлопают, одобряют его геройство! И никто не втолковал ему, что делает он не геройство, а—подлость, что он такими поступками становится в ряды наших классовых врагов! И вот какая оказывается перед нами горькая истина: этот гражданин, который так внимательно все заглядывает зачем-это в свой кулак (смех), этот гражданин до самой сегодняшней поры был комсомольцем, и черное дело свое делал с комсомольским билетом в кармане. Конечно, навряд ли мы его потерпим в нашей среде...

Спирька презрительно бросил:

— Сам уйду!

Председатель строго сказал:

— погоди! Не прерывай! Твоя речь впереди. Продолжай, товарищ.

— Продолжать нечего, я все сказал. Только повторяю то, что сейчас говорила Лелька Валежникова. Ты, Юрка, как видно, хороший парень, а хороших дел стыдишься, не понимаешь до сих пор той истины, что прогульщик, все равно что и рвач,—не товарищ нам, а классовый враг, и с ним нужна—беспощадность!

Председатель оглядел публику:

— Желает еще кто высказаться? Защищайте его, кто с ним согласен, не стесняйтесь. Высказывайте свою генеральную линию. Правильно сейчас сказал товарищ,—ведь хлопали ему. Вот и выскажитесь. Поспорим, выясним, кто прав.

Но никто не выступил. Чувствовалось, что многие за Спирьку, но не было привычки защищать на собраниях неодобренные взгляды. Настоящие споры должны были начаться потом, в курилках, и столовках. Только один пожилой рабочий сдержанно заявил:

— Имейте в виду, товарищи судьи, его семейное положение, когда будете постановлять приговор. Отец у него пьяница и хулиган, бросил семейство, мать из сил выбивается, трое ребят невзрослых.

— А он матери помогает?

— Помогает.

Председатель немножко мягче обратился к Спирьке:

— Ну, говори теперь ты. Защищайся, оправдывайся, сколько можешь.

Спирька угрюмо ответил:

— Что ж оправдываться? Побил, не отрекаюсь.

— Нам этого мало. Мы, конечно, можем выгнать тебя с завода и закатать на принудительные работы. Но нам от этого никакой сладости не будет. Я бы тебя призвал исправиться, стать парнем на ять, подучиться, узнать, что такое пятилетка. Ты мог бы быть первым на заводе, ведь ты—парень молодой, красота смотреть, господь тебя, если бы он существовал, наградил мускулатурной силой... Что ты обо всем этим думаешь? Дашь нам слово исправиться?

Спирька мрачно сказал:

— Ну, ясно. Даю.

И опять, забывшись, поглядел в кулак.

Председатель помолчал, потом сказал:

— Будем кончать.

Трое судей и секретарь наклонили головы и стали шушукаться, потом секретарь побежал пером по бумаге. Председатель встал и, сплываясь на трудно разбираемых словах, огласил приговор,—что

обвиняемый подлежал бы за свою антипролетарскую деятельность увольнению с завода и хорошей изоляции.

— Но! Суммируя семейное положение гражданина Кочерыгина и его обещание исправиться, то посему объявить ему общественное порицание и строгий выговор с предупреждением.

Потом без перерыва начали второе дело.

Опять председатель сам прочел заявление, спотыкаясь и экая. В заявлении было сказано, что комсомольская ячейка привлекает к товарищескому рабочему суду Василия Царапкина за нарушение производственной дисциплины и рвачество.

Председатель вызвал:

— Василий Царапкин.

Медленно поднялся по лесенке Царапкин, в ярком галстучке и в лакированных туфлях на зеленых носочках. Громким голосом он жазал:

— Заявляю суду, что я законным порядком изменил свое имя и фамилию, что меня теперь зовут не Василий Царапкин, а Валентин Эльский.

Хохот покатился по залу. Улыбнулся и председатель. Царапкин вспыхнул и еще громче, покрывая смех, крикнул:

— Я протестую против такого насмешливого отношения к законному постановлению нашей советской власти и прошу председателя призвать публику к порядку.

Председатель сделал серьезное лицо и сказал:

— Она сама в порядок придет... Ну, слышал заявление, понял, в чем тебя обвиняют?

— Ничего не понял.

— Значит надобно, чтоб тебе это было объяснено. Товарищ Броннер, взойди к нам сюда и объясни, в чем этот парень проштрафился перед рабочим классом.

Бася быстро взошла на трибуну.

— Товарищи! Наш товарищеский и вообще наш пролетарский суд отличается от буржуазного суда прежде всего тем, что в привлечении к суду он руководствуется здравым смыслом, а не какими-то там параграфами законов. Нет в законе такого параграфа, по которому мы могли бы привлечь к суду товарища Царап... Извиняюсь: товарища В-а-л-е-н-т-и-н-а Э-л-ь-с-к-о-г-о (смех). И все-таки он глубоко виновен перед рабочим классом, виновен как рабочий и как революционер-комсомолец...

И Бася рассказала, как Царапкин намеренно-медленно работал, стараясь удлинить все операции и тем сделать неверным весь хронометраж.

Председатель взглянул на Царапкина.

— Ну, милой, понял ты теперь, в чем тебя обвиняют?

Царапкин презрительно отозвался:

— Теперь понял.— И заговорил уверенным, привычным к выступлениям голосом.—Чтобы заниматься хронометражированием какой-нибудь работы, нужно эту работу понимать. Товарищ Броннер нашей работы не знает, ничего в ней не понимает и, когда я работаю добросовестно, обвиняет меня в предательстве рабочего класса.

И опять он стал говорить о необходимости тщательной работы, о большом браке, который получается оттого, что присохший к колдке лак загрязняет резину галоши.

Со всех концов зала раздались голоса галошниц:

— Это верно. Всего больше от этого брак.

Согласилась и Бася.

— Да, верно. А скажи - ка ты мне, Царапкин, сколько ты в месяц зарабатываешь?

— Это тут не при чем, сколько я зарабатываю.

— Ну, а все-таки?

— Ну... Рублей двести.

— А сколько в день отлакируешь галош?

— Пар семьсот. Приблизительно по сотне в час.

— Та-ак... — Бася вынула свои записи. — Вот. Я твою работу подробно записала, как-будто не заметила, что ты дурака валяешь. И выходит, что при такой работе, какую ты делал передо мною тогда, ты в день отлакируешь никак не больше трехсот — четырехсот пар. Ты сам себя, Царапкин, обличил. Стыдись!

Царапкин покраснел и молчал.

— Может, ты неправильно записала.

— Го-го! — В зале засмеялись.

— Нет, не беспокойся. Запись самая правильная.

Председатель сказал:

— Ну, так как же... Валентин Эльский (каждый раз весь зал начинал смеяться). Дело-то твое, Валентин, выходит неважное. Нужно будет тебе подумать над своею жизнью. Видал, сейчас на этом же твоём месте сидел парень, — как, хорош? Оба вы не хотите думать о социалистическом строительстве и о пятилетке. Раньше был старый капитал, при котором один хозяин сидел в кабинете и над всем командовал...

Царапкин слегка усмехнулся.

— Чего смеешься?

— Ты о политике.

— Да! О политике!

— О политике я и сам скажу.

— Ты помолчи, я еще много буду говорить о политике... Так могло быть при старом капитале, который мы обворовывали, а того больше он нас обворовывал. А теперь какой у нас строй? Вот ты говоришь, что в политике смыслишь, — скажи.

— Скажу.

И бойко, без запинки, Царапкин стал говорить о том, что сейчас у нас хозяином всего является рабочий класс, что теперь нет, как прежде, эксплуатации рабочих, что теперь под'ем хозяйства выгоден для самих рабочих.

— Правильно. Ну, я тебе сказал про старый быт, ты нам — про новый. Какую же политику нам нужно вести?

Царапкин опять усмехнулся и бойко, как первый ученик на экзамене, заговорил о необходимости рационализации производства, увеличения производительности труда, снижения себестоимости.

Председатель слушал и растерянно глядел. Когда Царапкин кончил, он сказал в раздумье:

— Правильно ты все это говорил, а слушать тебя больно как-то... огорчительно. На тебя, я примечаю, какие-то особенные нужны слова, контрольные. Наши слова ты все и сам знаешь. — Он вздохнул. — Плохо, парень, то, что слова-то наши ты знаешь, а вот пролетарских чувств наших не знаешь, даром что сам пролетарий... Ну, товарищи, кто желает высказаться?

Бася, задыхаясь от негодования, ринулась на трибуну.

— Я думаю, товарищи, все вы испытываете то же чувство омерзения, какое испытала я, слушая этого горе-комсомольца...

Дивчата-комсомолки бешено захлопали и закричали:

— Правильно!

Бася бурно продолжала:

— Да! Слова наши он все знает, — верно сказал председатель. Но то, что в этих словах для нас горит огнем, полно горячей крови, трепещет жизнью, — все это для него погасло, обескровилось, умерло. Стыдно было слушать, когда он мертвым своим языком повторял те слова, которые нам так дороги, так жизненно-близки...

— Правильно! Правильно!

Ребята яростно хлопали, еще пуще хлопали дивчата, и среди них Лелька.

— Какое бесстыдство! Какой цинизм! Вы заметили, как он подленько усмехался, когда произносил всем нам такие дорогие слова? Уж одним этим он себя не меньше обличил, чем своим враньем, что будто бы работал при мне так медленно, чтобы лак не попал на колодку... Товарищи! Сейчас у нас начинается великая стройка, рабочий класс должен напрячь все силы, себя не жалея, чтоб у нас установился социализм. А этот вот врач дрожит только над одним, — как бы ему не повысили норму, как бы ему не потерять ни рублика из своих двухсот рублей в месяц... Двести рублей, а? Недурно, товарищи?

— Очень даже недурно!

Мужской голос:

— А тебе завидно?

Бася продолжала:

— И он недурно эти двести рублей умеет проживать. О, очень даже недурно! Я вам расскажу...

Под общий хохот она рассказала о своем посещении Васеньки на дому, о никелированной кровати и голубом атласном одеяле и о двух больших портретах на стене — Владимира Ленина и Валентина Эльского.

Хохот катался по всему залу. Царапкин сидел злой и красный. А Бася рассказывала, как он ей проповедывал, что сейчас задача сознательного рабочего — заводить себе получше обстановочку, лучше кушать и покрасивее одеваться.

— Вот как он понимает призвание сознательного рабочего в наше грозное, трудное и радостное время! Посмотрите на эти лакированные ботинки и зеленые носочки: вот тебе высокая боевая цель, рабочий класс!

Долго комсомолия аплодировала, волновалась и переговаривалась. Потом взошел на трибуну худощавый парень с бледным лицом, — его Лелька мельком видала в ячейке. Говорил он глуховатым голосом, иногда не находя нужных слов. Брови были сдвинутые, а тонкие губы — энергичные и недобрые.

— Царапкин! Помнишь, четыре года назад мы вместе с тобою поступили на завод. И в одно время с тобою мы, значит, вступили и в комсомол. Получали мы тогда шестьдесят рублей в месяц. И тогда ты не думал, так сказать, о зеркальных там разных шкафах и другом барахле. Ты был дельный парень, активный, хорош ты был тогда и Васькой Царапкиным, не надо было тебе, понимаешь, перекрашиваться в Валентина Эльского. Но я не об тебе хочу сейчас заострить вопрос. От тебя происходит определенное впечатление: ты стал предателем рабочего класса, с тобою нужно бороться и стараться тебя уничтожить. А вот, товарищи, в какую сторону я ударил свое внимание,

когда слушал всю процедуру над этим здесь гражданином. Молодой парень, одинокий, — правильно ли, что он получает двести рублей в месяц?

Публика в недоумении задвигалась. Раздались голоса:

— Заливает!

— Заболтался! Видно, сам мало получает, вот и завидно стало.

— ...я говорю и, значит, повторяю. Старый рабочий; у него, понимаешь, семья в пять — шесть человек, не на что даже ребятам ботинки купить. Получает же столько, сколько молодой, одинокий. А этот вон на что денежки тратит, — на атласные одеяла да вон на энти туфельки лаковые.

Старый рабочий в грязной блузе, в какой был на работе, вскочил с места и заговорил взволнованно:

— Правильно, товарищ Ведерников! Больно много молодые получают, нельзя терпеть такого безобразия. Сокращать их надо в норму. Жарь, Афонька! Правильно!

Но другие возмутились и зароптали. Неслись выкрики:

— Об других легко говорить!

— Сам себе свое жалованье сократи!

— Сколько сам получаешь, ну-ка, скажи!

Ведерников, строго сдвинув брови, спокойно переждал шум.

— Сокращать вовсе незачем, я совсем не к тому, — сказал он. — А вот я к чему, вот какая мне, так сказать, мысль пришла в голову. Мы, понимаешь, все — рабочие, товарищи друг другу, работаем на одном заводе, на одном деле. А выходит, — одни, как нищие, а другие (он указал на Царапкина) — в туфельках. Правильная ли это сортировка? Нет, неправильная. Ведь мы — коммунисты. «Коммун» полатынски значит «общий». Вот бы и нужно, чтобы весь заработок, всех рабочих, на всех шел, не делить на каждого. А кому, понимаешь, сколько надобно на дело, тому столько и выдавать. Чтобы всем ребятам ботинки были, а чтоб у Царапкина зеркального, значит, шкафа не было.

Лелька в восхищении крикнула:

— Ой, ч-чорт! Здорово!

Ей очень понравилось это предложение. И вся комсомолия всколыхнулась. В то время идея подобных производственных коммун была еще вновь, в газетах об ней не писали, и она в тот вечер самостоятельно зачалась в голове Афанасия Ведерникова.

Заговорили за и против, заволновались. Председатель спохватился и сказал:

— Товарищи! Этот вопрос очень важный, надобно заострить его по всей норме. Но только сейчас мы больно далеко заедем с этим в сторону. Давайте, поворотимся к делу... Никто больше не может сказать о деле?

Судья, сидевший направо от председателя, сказал:

— У меня вопрос. Кто ваши родители?

Царапкин ответил:

— Отец умер, до самой смерти работал в трубном отделении. Мать галошница.

Из публики сомнительно спросили:

— А не из чиновников ли?

Председатель обратился к обвиняемому:

— Ну, Царапкин, твое теперь слово. Фигурируй, как можешь!

Царапкин встал, откашлялся и торжественно сказал:

— Сознаю свою вину и говорю это открыто, по-большевицки. Признаюсь, что нарочно замедлял работу при наблюдении хроно-

метражистки. Я понял свою ошибку и даю слово честного комсомольца раз навсегда исправиться! И если мне будет осуждение, признаю, что я его заслужил.

Председатель удовлетворенно сказал:

— Вот этак-то сейчас у тебя лучше выходит... Ну, что ж, можно теперь и это дело кончать.

Опять судьи наклонились друг к другу и зашептались. Встал председатель и прочел приговор: за несознательное отношение к производству и за попытку ввести в заблуждение хронометраж об'является ему общественное порицание с опубликованием в местной заводской газете.

Суд кончился. Судьи ушли, также и взрослая публика. Но дивчата и парни долго еще волновались и спорили. Царапкин в кучке дивчат яро доказывал свою правоту: всякий рабочий имеет право на культурную жизнь; это позор и насилие — не позволять рабочему-пролетарию жить в советской стране так, как уже давно живут пролетарии даже в капиталистических странах—в Западной Европе и Америке. Если рабочий весь свой заработок пропивает, валяется под забором в грязи, — то он наш, свой! А если он вместо этого покупает шкаф с хорошим зеркалом или мягкую кровать, то он — буржуй, изменник рабочему делу!

Дивчата возражали, но скоро все от него отошли, сказав:

— Нет, Васька, все-таки тебя нужно исключить из комсомола. Буржуйчик ты. Пижончик называешься, жоржик!

Большая толпа была вокруг Ведерникова и Гриши Камышова. Спорили о брошенной Ведерниковым мысли насчет общего заработка. Камышов ему возражал: несвоевременно. Лелька с одушевлением защищала идею Ведерникова.

Гурьбою вышли из клуба и продолжали спорить. Была тихая зимняя ночь, крепко морозная и звездная. Очень удачный вышел суд. Всех он встряхнул, разворошил мысли, потянул к дружной товарищеской спайке. Не хотелось расходиться. Прошли мимо завода. Корпуса сияли бесчисленными окнами, весело гремели работой. Зашли в помещение бюро ячеек.

И там продолжали спорить. Лельке очень понравился Ведерников. Гордые глаза, презрительно сжатые, энергические губы, — настоящий пролетарий. И это милое «понимаешь». И согласна она была как раз с ним и спорила в его защиту. Но он пренебрежительно пробежал по Лельке взглядом и не обращал на нее никакого внимания. Это больно задевало ее. Юрка, с забинтованной головой и счастливым лицом, все время старался держаться поближе к Лельке.

Сидя на столе и покуривая трубку, Камышов говорил Ведерникову:

— Вот я тебе скажу какую истину: много народу ты сейчас на этом деле не собьешь, — слишком новое дело. И притом — утопизм, неправильная постановка: обобществлять зарплату, не считаться ни с квалификацией, ни с производительностью труда,—эти уравнилельные тенденции надо оставить. Не все такие хорошие, как мы с тобою. Пойдут склоки, неудовольствия...

Он говорил, глядя ясными глазами, и по губам пробежала веселонасмешливая улыбка. Лелька с обидой заметила, что он, кажется, умнее Ведерникова, тверже разбирается в вопросах и начитаннее. Камышов продолжал:

— А в этом, ребята, нужно нам сознаться. Закисаем мы, все больше всасываемся в болото, живем изо дня в день, без всякой яркой

цели впереди, без настоящей коллективной работы. А кругом все идет чорт-те-как: процент брака вполне неприличный, производительность труда плохая, прогулы растут. Вот на что нам нужно заострить внимание. Твое дело, Афоня, не уйдет, — в свое время надобно будет и его взять за жабры, конечно, с поправками. А сейчас вот что по моему нужнее всего. Отчего бы нам не организовать ударный молодежный конвейер и взяться за это вплотную всему нашему активу. С энтузиазмом! Чтобы яркий огонек загорелся в рабочей массе.

Все замолчали. Совсем что-то новое встало и неожиданное. Соображали. Камышов продолжал:

— Ударный конвейер в галошном цеху. Я в вальцовке свой каландар сагитирую, на вальцах Юрка будет ударяться. Как ты, Юрка? Юрка с восторгом воскликнул:

— Ну, ясно!

Раздумчиво зазвучали медленные голоса:

— Пра-виль-но.

— Это хорошо.

Лельке жалко было отказаться от идеи Ведерникова, но предложение Камышова и ей понравилось больше: живая работа вместе, спаянность общей целью, стальная линия вперед.

И всем это понравилось гораздо больше, даже самому Ведерникову. Воодушевились. Стали обсуждать, как все это устроить, в подробностях намечали план. И надолго у всех осталась в памяти накуренная комната ячейки, яркий свет полуватной лампы с потолка, отчеканенные морозом узоры на окнах и душевный подъем от вставшей перед всеми большой цели, и ясная, легким хмелем кружащая голову радость, когда все кругом становятся так милы, так товарищески дороги.

Так совсем как-будто нечаянно, кривым путем, — из удавшегося суда, из душевного подъема, вызванного общими переживаниями на суде, — родилась первая молодежная ударная бригада на заводе «Красный Витязь».

Лелька пришла к себе поздно, пьяная от восторга, от споров, от умственного оживления, от ярких просторов развернувшейся перед нею большой, захватывающей работы. Поставила в кухне на примусе кипятиться чайник, а сама села на подоконник итальянского окна, охватив колени руками, — она любила так сидеть, хотя зимою от морозных окон было холодно боку.

Сидела он и думала о том, как хорошо жить на свете и как хорошо она сделала, что ушла из вуза сюда, в кипящую жизнь. И думала еще о бледном парне с суровым и энергичным лицом. Именно таким всегда представлялся ей в идеале настоящий рабочий-пролетарий. Раньше она радостно была влюблена во всех почти парней, с которыми сталкивалась тут на заводе, — и в Камышова, и в Юрку, и даже в Шурку Щурова. Теперь они все отступили в тень перед Афанасием Ведерниковым.

Только почему он все время с таким пренебрежением глядел на нее?

Выбрали инициативную тройку для организации ударного конвейера. Вошли в него Бася, Лиза Бровкина и Ведерников. Партийная ячейка отнеслась к начинанию молодежи благодушно, но без особенной активности, администрация — с полнейшим равнодушием и

даже с легкой насмешливостью. Инженер галошной мастерской сказал:

— Не завалите работы? Ну, делайте. А если что, — вы мне ответите.

Если над водой, сидя в лодке, держать зажженный факел, то с разных мест, — из заводей, из-под коряг, из темных омутов, — отовсюду потянутся к свету всякие рыбы. Так из гущи рабочей молодежи завода «Красный Витязь» потянулись на призыв ударной тройки те, кому надоело вяло жить изо дня в день, ничем не горя, кому хотелось дружной работы, озаренной яркою целью, также и те, кому хотелось выдвинуться, обратить на себя внимание.

Желающих явилось больше, чем нужно. Ударная тройка отбирала тех, кто был получше в работе. Необходимо было прикрепить к конвейеру и Басю: она и работница была прекрасная, и великолепный организатор в качестве члена тройки, — ее наметили бригадиром. Но Бася уже не работала на галошах. С большими усилиями, с вмешательством партийной ячейки удалось добиться, чтобы администрация временно освободила ее от хронометража.

И еще встал вопрос кого в групповые мастерицы? Важно, чтоб она была подходящая и опытная. Долго не могли наметить. Тогда Лелька предложила Матюхину: мастерицу, у которой она обучалась работе при поступлении на завод. Как?! Старуху? Нужно, чтоб и мастерица была комсомолка! Что же это будет за молодежный конвейер? Но у всех, кто знал Матюхину, лица зацвели улыбками.

— Матюхину! Лучше не найти! Дело вот как знает. И за производство болеет, как за родного ребенка.

Выцарапали у администрации и Матюхину. Этого добился Ведерников, который умел разговаривать с администрацией напористо.

Две-три недели ушли на организацию. Наконец, все было готово. Сказали друг другу:

— Ну, ребятки, держись! Чтоб не осрамиться!

И начали работу.

Мгучий и мягкий, как львиная лапа, ревет гудок над просыпающимся поселком и всем возвещает:

— Вставай! Собирайся! Через полчаса — начало работы.

К заводским калиткам уж начинают сходить работники, хотя пустят на завод только еще через двадцать минут. У одной из калиток дивчата с ударного конвейера. С каждой минутой их подбирается все больше. Взволнованно глядят, кого еще нету. Очень беспокоятся. Первый пункт их обязательства — спустить опоздания и прогулы до нуля. А многие живут в городе, трамвай № 20 ходит редко, народу едет масса. Если не слишком нахален, ни за что не вскочишь.

Ежась на утреннем холоде, топают ногами.

А в залах галошного цеха уже расхаживают групповые мастерицы и материальщицы, все подготавливая для работы. Мастерица ударного конвейера, товарищ Матюхина, быстро раскладывает по длинному столу конвейера кожаные нагрудники и нужные для каждой операции инструменты: ножи, ролики, штитцеры с зубчатыми колесиками. Матюхина, невысокая, курносая, с старобразным лицом, одета, как все мастерицы, в фиолетовый халат с малиновыми отворотами. Тихо. Ленты конвейеров неподвижны, бесшумно ползет вдоль стены гигантский транспортер. Тихо. Только гудят электрические вентиляторы и звякают иногда металлические колодки, бросаемые колдочниками в большие ящики в начале конвейеров.

Заревел второй гудок. Густыми потоками полились дивчата из проходных в залы цеха. Все вокруг ожило. Болтая и пересмеиваясь, дивчата рассаживались по местам на высоких, вертящихся круглых табуретках. Повязывали вокруг пояса кожаные коричнево-желтые нагрудники. Это было красиво: как-будто корсажи; и бюсты всех девушек как-будто делались полными. Надевали на пальцы обеих рук резиновые колпачки, зубами завязывали тесемки. Не спеша усаживались, поудобнее раскладывали вокруг себя инструменты и материал. Лениво разговаривали, пересмеивались.

Заревел снаружи третий гудок, долго и непрерывно зазвонили звонки в цехах. Лента конвейера задвигалась, и первая колодка с надетой на нее подкладкой поплыла на ленте. За нею вторая, третья. Ближайшие работницы срывали их с ленты, накладывали стельку, обминали по краям, быстро закатывали роликом, ставили колодку опять на ленту, и колодка плыла дальше. Постепенно одна лениво двигавшаяся фигура за другою хватала с ленты подплывавшую колодку и размеренными, бешено-быстрыми движениями начинала работать. Все чаще и чаще становился грохот колодок и роликов о железные настилы столов, — как-будто стальные мячики редким, начинающимся летним дождем били по железной крыше.

И все новые фигуры втягивались в кружащий голову вихрь работы. Через полчаса уже весь конвейер кипел работой. И все другие конвейеры тоже. Грохотали удары роликов и колодок, со звенящим стуком падали колодки в ящики, гудели вентиляторы; иногда, как развернувшиеся бичи, воздух резали разбойничьи свисты парней резерва, гнавших вагонетки: свистели, засунув два пальца в рот, чтоб сторонились. Над бесконечными столами конвейеров наклонялись и поднимались девичьи головы, быстро двигались руки и локти, а в середине, на ленте, бежали и бежали вперед все обраставшие частями колодки.

Лелька работала на бордюре. Рядом с нею, на резине, работала Зина Хуторецкая; прозвание ей было: Зина-на-резине. Некрасивая, худая, с нездорово-коричневым лицом и стриженными, невьющимися волосами. Часто покашливала коротким кашлем. Любила бузить, дурила, смеялась, особенно с парнями; когда они возились с нею и крутили ей руки, она блаженно смеялась и смотрела влюбленно-угодливыми глазами. Но славная была девчонка, и одна из первых записалась в ударную бригаду.

Звонки. Ленты конвейеров остановились. Десятиминутный перерыв. Дивчата спешно заканчивали начатую колодку и бросали работу: одним из пунктов ударного устава строго воспрещалось работать в перерывах. Бежали в уборные, в столовку выпить чаю, на медпункт взять порошок от головной боли или принять валерианки.

Зана-на резине несколько минут сидела неподвижно, сгорбившись и свесив плечи. Потом встряхнула волосами и медленно пошла к выходу.

К Лельке подседа мастерица Матюхина.

— Леля! Не годится эта девчонка в ударницы. Я все за ней смотрю: совсем кволая. Старается во-всю, это грех не сказать, а только работает через силу. Ведь работа гоночная, — где ей такую выдержать.

— Я и сама это замечаю. Верно. Пойдем, скажем Ведерникову.

Ведерников работал на их же конвейере, на прижимной машине. Он подумал и сказал:

— Да, девчонка кволая, не выдержит. Вот что, товарищ Валежников, столкнитесь с Лизой Бровкиной, поговорите вместе с Зиной,

скажите, что мы ее решили снять с работы, жалеючи ее здоровье, а не из какой-либо причины.

— Ладно! Так будет лучше всего.

Зазвенел звонок. Все спешили к местам. У окна парень-колодочник, охватив Зину за плечи, что-то старался у нее отнять, а она вырывалась, смеялась мелким, блаженным хохотком и повторяла:

— Пусти! Да пусти же! Говорю тебе не брала!.. Слышишь, звонок? Ей-богу же, пусти!

В следующий перерыв Лелька и Лиза Бровкина подошли к Зине. Лелька положила ей руку на плечо.

— Зина! Тебе ударная работа не по силам. Совсем испортишь здоровье. Нам поручили товарищи сказать: уходи из ударниц, мы тебя не осудим.

Зина побледнела.

— Ай я плохо работаю? Никогда у меня завалов нету.

— Работаешь очень хорошо, речь не о том. А все мы видим, что тебе такая напряженная работа не по здоровью.

— Почему не по здоровью? Что кой-когда устану, так это со всяким может быть. Не гожусь, — прямо так и скажите. Тогда уйду.

Она всхлинула, быстро встала и ушла.

После этого Зина надулась на Лельку и стала от нее отворачиваться.

Обедали ударницы в нарпитовской столовой все вместе. Потом высыпали на заводский двор, ярко освещенный мартовским солнышком. В одних платьях. Глубоко дышали теплым ветром, перепрыгивали с одной обсохшей проталины на другую. Смеялись, толкались. На общей работе все тесно сблизилось и подружилось, всем хотелось быть вместе. И горячо полюбили свой конвейер. Когда проревел гудок и дивчата побежали к входным дверям, Лелька, идя под руку с Лизой Бровкиной, сказала:

— А я понимаю Зину-на-резине. И сама ни за что бы не ушла, пускай бы даже умерла бы.

Одна только большая боль была у Лельки. Ей все больше нравился Афанасий Ведерников, с его суровым, энергическим лицом. И все больше она начинала его уважать. Он безумно всего себя расстрачивал на работе. Учился на вечернем рабфаке; полдня проводил на заводской работе, полдня на рабфаке; был членом ударной тройки, много работал и в ней. Имел еще какую-то нагрузку на рабфаке. И Лельке больно было смотреть на его истощенное, бледное лицо с выступающими скулами, хотелось подойти к нему с горячей товарищеской лаской. Между тем она чувствовала к себе с его стороны какую-то тайную, совершенно ей непонятную враждебность. Ведерников никогда не обращался к ней ни с каким вопросом, всегда смотрел мимо нее. А с другими дивчатами болтал, распускал суровые свои губы в улыбку, даже возился и обнимал за плечи. Несколько раз Лелька пробовала заговорить с ним, — и сама потом с отвращением вспоминала свой заискивающе-влюбленный тон, в роде того, каким говорила с парнями Зина Хуторецкая.

Заводская газета «Проснувшийся Витязь» с шумом и торжеством оповестила о возникновении молодежной ударной бригады в галошном цехе. И из номера в номер в ней появлялись статьи о ходе работы на ударном конвейере, о том, как добросовестно, с каким энтузиазмом работает молодежь.

Нет праздных разговоров, все внимание сосредоточено на работе, на столах чистота, не мешают работе лишние колодки, их уже нет, учитываются и терпеливо исправляются все недочеты, обрезки аккуратно попадают в ящик, а на второй день листок из сортировки не пестрит цифрами брака, его лишь незначительное количество.

Старые работницы посмеивались на эти хвалебные статейки и на самохвальные плакаты, которые молодежь вывешивала о своей работе. Но смеяться было нечего. Дневная норма выработки для одного конвейера — 1.600 пар. Молодежный конвейер день за днем стал давать на семьдесят пар больше. Радовались и торжествовали. Старые работницы уже не посмеивались, а смотрели враждебно.

— Девчонки! Накрутите нам норму, снизят нам расценки из-за вас.

И брак спустился до четырех процентов. Это было не бог весть что, но — все-таки спустился. Раньше было больше пяти.

А однажды утром на стенке около профцехбюро появился яркий плакат, разрисованный Шуркой Щуровым. В нем молодежный конвейер № 17 вызывал на состязание конвейер № 21 — лучший конвейер завода, состоявший из старых, опытных работниц. Работницы 21 конвейера толпились перед плакатом, негодовали и смеялись.

— Ах, соски вам в рот! Еще носов утирать себе не научились, а туда же: «вызываем!» Нужно бы, нужно бы им носы утереть!

Все уже было намечено заранее. По окончании работ толстая мастерица 21 конвейера, партийка Заливухина, взгромоздилась на стол и сказала работницам 21 конвейера речь о том, что сейчас пролетариат вступил на путь гигантского строительства, что все должны быть участниками этого строительства. Молодежь сделала вызов им, лучшему конвейеру завода. Это очень хорошо, что молодежь старается поднять производство. Но неужто мы хуже их? И неужто мы потерпим, чтобы другие были энтузиастами, а мы нет?

Работницы-партийки поддакивали, делали поощрительные замечания. Одна взяла слово, сказала, что вызов обязательно нужно принять, что позор будет старым работницам, если молодежь станет их учить, как нужно относиться к производству.

Раззадоренные работницы единогласно решили принять вызов и, расходясь, говорили со смехом:

— Нужно, нужно утереть носы девчонкам!

У обеих сторон разгорелось чисто спортивное чувство: кто кого? Напечатали о состязании в «Проснувшемся Витязе». Но газета выходила редко, три раза в месяц. Перенесли хронику борьбы в стенную газету-ильичевку. И весь завод с интересом следил за этой бешеной работой в карьер, превращенной обеими сторонами в завлекательную игру. С нетерпением ждали сводки за две недели.

Горя жаркой лихорадкой, работал молодежный семнадцатый конвейер. С холодным и размеренным спокойствием работал конвейер двадцать первый.

Юрка Васин в это время вел ударную работу в вальцовке. С ним еще два парня-комсомольца. Их цель была доказать, что один рабочий может работать одновременно на двух вальцевых машинах, — до сих пор все работали на одной. Гриша Камышов, секретарь их

пеховой комсомольской ячейки, «ударялся» со своими подручными тут же на огромном трехвальном каландре.

Был здесь у всех тот же радостный под'ем, как и на галошном конвейере, и тот же задор. Манило доказать угрюмо смотревшим старикам, что прекрасно один рабочий может справиться и с двумя машинами, если не сидеть часами в курилке. Ударники всех цехов часто сходились в ячейке, обменивались впечатлениями, смеялись, подзадоривали друг друга. Какой-то был молодой праздник. Так было радостно, так хорошо, что Юрка с удивлением приглядывался к рабочим, работавшим вокруг него с такими будничными лицами. Эх! Взял бы себе только другой подход, — и до чего же бы всем стало весело!

А раз случилось так.

Стоял Юрка у своей машины. Два нагретых металлических вала медленно ворочались друг другу навстречу и втягивали отвешенные порции разного сорта каучука: темнокоричневый смокед-шитс, вкусно пахнувший ветчиною, красиво-палевую пара, скучно-серый регенерат. Материал втягивался в горячие валы, расплющивался, перемешивался, пестрея, лез опять вверх, и постепенно из разноцветной, некрасивой лохматой смеси образовывался один равномерно-тягучий, черный, теплый пласт резины.

Юрка переходил от одной своей машины к другой, а сам все поглядывал вправо. Там пять слесарей из механического цеха заменяли на соседней вальцевой машине рифленый вал гладким. Юрка поглядывал и весь кипел. Подняли вал на блоке. Ушли курить. Час целый курили. Наконец, пришли двое. Поглядели на подвешенный вал, стали чесаться.

— А Макаркин где же?

Пошел Иванов искать Макаркина, сам пропал. Тем временем пришел Макаркин. Сели ждать Иванова. Всю работу можно бы было сделать в два-три часа, но видимо было, — они проработают весь день.

Собрались, наконец, все. Взялись за работу. Работали с тою вялою неохотою, которая совершенно расслабляет силы, трудным делает всякое движение, противным — всякое усилие.

Юрка отнес на плечё сверток свальцованной резины, остановился около слесарей. Все мускулы в нем бодро играли и пружинились. Хотелось растолкать эти вяло двигавшиеся фигуры, схватиться самому за работу, чтобы все закипело под руками, с презрением крикнуть: «вот как надо!»

Спросил их:

— Вы сколько в день получаете?

— Пять рублей.

Юрка прикинул: пять человек, — перестановка вала обойдется заводу в двадцать пять рублей! Здорово!

— И не совестно вам так работать?

— Они изумидись. С усмешкою оглядели его. Макаркин помолчал и сурово спросил:

— А сам ты сколько получаешь?

— Я? Тоже пять рублей. Только я за это время 1.200 килограммов резины свальцую, а вы что? Впятером один вал установите!

— Э! — Макаркин небрежно сплюнул сквозь зубы. Все начали зевать.

В первый раз всюю душою Юрка почувствовал в этих рабочих не товарищей, а врагов, с которыми он будет бороться, не покладая рук. И сладко было вдруг сознать свое право не негодовать втихо-

молку, а в открытую итти на них, напористо наседать, бить по ним без пощады, пока не научатся уважать труд.

Он сказал с отвращением:

— Мерзавцы вы!

И отошел.

Яро ворочал ползшую из-под валов резину, взбрасывал ее опять вверх и не слушал ядовитых шуточек и смеха на свой счет. Думал:

— Ладно уж! Не переругиваться с вами буду. Найдем против вас кое-что другое!

Вечером с помощью Лельки он написал в заводскую газету заметку: «Как у нас в вальцовке переставляли валы», и с наслаждением перечислил поименно всех пятерых.

Пришла, наконец, сводка.

Только по прогулам молодежь стояла выше старых работниц: у молодежи прогулов совсем не было, не было и опозданий. Во всем же остальном старые работницы совершенно забили молодежь. Продукция галош была у них в среднем на пятьдесят пар больше, а процент брака — один и три десятых против трех с лишним у молодежи.

Было общее уныние и конфуз. Более малодушные говорили:

— Что ж дивиться, ясно! Лучшие работницы, — где же нам против них.

Бася сказала Щурову:

— Шурка, рисуй плакат, что они нас одолели.

— Вот еще! Чего нам срамиться!

И другие подхватили:

— Зачем? Ненужно плакат. Так просто, на маленькой бумажке об'явим.

Ведерников строго возразил:

— Это, товарищи, не подход. У нас не футбольный какой-нибудь матч. Мы, понимаешь, должны только радоваться, что и старых работниц взбудрили. У нас установка такая и была, чтоб других поджечь.

Со стыдом вывесили яркий плакат о победе старых работниц. Однако, внизу было приписано очень крупно:

**НО МЫ, МОЛОДЕЖЬ-КОМСОМОЛЬЦЫ, НЕ СДАЕМСЯ.
СОСТЯЗАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.**

Старые работницы бахвалились и смеялись над дивчатами.

— Что? Мало мы вам в загорбок наложили? Ну, ну, ждите еще! Наложим покрепче.

Состязание продолжалось.

В перерыве Лелька остановилась с Лизой Бровкиной у конторки профцехбюро перед доской об'явлений. Сбоку был пришпилен кнопками лист серой бумаги с полуслепыми лиловыми буквами, — распоряжение по заводу. Равнодушно пробегали сообщения о взысканиях, перемещениях и увольнениях. Вдруг Лелька вцепилась в руку Лизы.

— Лизка! Что это?! Смотри!

Они прочли:

«ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СПИСКОВ за смертью: галошница Зинаида Хуторецкая, № 2763».

— Зина-на-резине! Смотри,— умерла!

Они вспомнили, что уже три недели Зины не было видно. Кто-то, помнилось, говорил, что она захворала. Но никто даже не удосу-

жился узнать, — чем. Захворала — и захворала. Ее заменили другою работницею.

Лелька и Лиза кинулись к Басе.

— Как Хуторецкая умерла? Когда? В чем дело?

Никто не знал.

Назавтра Лиза Бровкина все разузнала и принесла вести, — справилась в больнице. Умерла Зина от резко обострившегося туберкулезного процесса. Я спросила доктора, — могло это быть от переутомления? — Ну, конечно. Самая вероятная причина.

Все тяжело молчали. Лелька сказала:

— Да. Погибла, как боец в бою. Среди нас, товарищей. А мы... Погибал среди нас человек. А мы...

Она припала головой к столу и разрыдалась. И многие дивчата плакали.

Бася сурово хмурила брови.

— Короткую ей надгробную речь можно сказать: подлецы мы все с вами, дивчата, больше ничего!

И, закусив губу, быстро пошла прочь. Зазвенел звонок, побегала лента. Все схватились за работу.

Новая сводка через две недели.

Опять по всем почти пунктам победили старые работницы. Опыт и сноровка одолели энтузиазм и задор. Особенно всех повергал в уныние брак: как ни стараются, не могут его изжить. Допрашивались у мастерицы Матюхиной, — в чем дело? Она, убитая и сконфуженная больше всех, только разводила руками. Причины брака в галлошном производстве часто были совершенно неуловимы, сами инженеры не могли их выяснить. Но вот, — все-таки у старых работниц процент брака был много меньше. Была у них сноровка, чутьем каким-то они выработали себе особые приемы. И у самой Матюхиной, если бы она работала, браку было бы меньше, но объяснить другим, как это сделать, она не могла, как не смогла бы и ни одна из старых работниц.

Уныние полное охватило комсомолию. Напрасно Ведерников, Бася и Леля убеждали дивчат, что дело было вовсе не в их победе, что если заразились соревнованием и старые работницы, то это великолепно. Дивчата вяло соглашались, но энтузиазм остыл, руки опустились. Работа пошла по-всегдашнему.

Через две-три недели наступил отпуск, завод на месяц закрылся для общего ремонта. А когда в середине июля работы возобновились, то про ударный конвейер никто уже не поминал. Он распался, работниц распределили по-новому. Ударный молодежный конвейер перестал существовать.

Он был первою набежавшею волною. Волна задорно зашумела, поднялась, заиграла пеной, разбилась и неслышно растеклась по песку. Но вдали уже поднимались и бежали к берегу новые волны.

Севастополь

Повесть

А. МАЛЫШКИН

Последние главы ¹⁾

I

Ударники привезли из-под Псела и Белгорода своих мертвых. Хоронили их на Северной, в солнечный декабрьский день, когда с ветреного моря по-осеннему тянуло холодом и рыбой. Шестьдесят гробов, приподнятых над необозримой толпяной чернотой, проплыли успокоенными ладьями от вокзала вдоль по Морской, где многотысячно столпился матросский и портовый Севастополь. Оставшиеся в живых ударники, молодецки бодрясь под множеством устремленных на них глаз, отбивали напыщенный и недобрый шаг. Музыка источала неподходящую, слишком успокоительную грусть.

Однако, не допустив шествия еще до Графской, один из дредноутов грянул неурочно из орудия. И сразу притемнело; словно воочию оскалилась еще раз та дальняя лютя, где ударники собирали свои подарки Севастополю. Раскрытые, по южному обычаю, двенадцатидневные трупы еще торжественнее зазияли земляной своей синевой, рездутыми губами, черными подлобными впалостями. Женщины, полоумно бегущие по тротуару, со всхлипыванием и ужасом отворачивались и тянулись снова к гробам жадным взором. Встречные офицеры пропусkali шествие, бочком, не глядя, постаивая на перекрестке, или обходили соседним безлюдным переулком. Ни риз, ни хоругвей не было на этот раз перед гробами; только черное знамя мело землю червонными кистями. А впереди знамени боцман Бесхлебный, бросив руку на кобуру, другой — правя толстые усы, зверем раздирает пустоту.

На «Качу» в этот день неожиданно явился разжалованный матросами Мангалов. Кают-компанейские немного оторопели, даже посторонились опасливо, узнав широченный квадратный плащ капитана и лопуховидную фуражку с белыми кантами.

Блябликов, ревизор, по старой дружбе отвел его в уголок.

— Вам бы, Илья Андреич, сегодня не надо вылезать-то. Сидели себе, ну и сидели бы смирно, пока про вас не забыли... Ну, чего вы на рожон...

— А я кого трогаю? — жалобно шипел Мангалов. Лицо его от расстройства раза два передернулось оскалом. — Я никого не трогаю, я свое получил... кусок хлеба последний в жизни отняли... Куда мне теперь? Знаю, все энтот, Маркушка-молокосос... лазил по кубрикам и вылазил свое, негодяй...

Маркушу вместо него своевольные матросы выбрали командиром «Качи».

Блябликов, сам плаксиво кривясь, шлепал Мангалова ладонью по рукаву.

— Бросьте вы, бросьте, про это ли теперь...

¹⁾ Первые главы «Севастополя» были напечатаны в №№ 1, 2 и 3 «Нового Мира» за 1929 год.

— А что?

— А то... Варфоломеевскую ночь не сегодня-завтра собираются устраивать, а вы на глаза им нарочно плятите, на корабль пришли, эх! Да вам сейчас сидеть надо так, чтоб ни-ни...

Капитан, как подрубленный, плюхнулся на стул, беспомощными кровавыми глазами обвел офицеров. Те скучали поодаль безучастно.

— Варфоломеевскую ночь?

— Большевики-то забастовали, ушли из совета! Потому что в совете есть все-таки люди с совестью, понимают, что нельзя брат на брата. Раз Каледин, говорят, сам нас не трогает, то не к чему лезть и не надо никакой бойни. А большевики без крови не могут, из совета ушли. Ясно, теперь будут ударников на власть настрачивать, а раньше кровцой их подразнят. Чьей, спрашивается?

Мангалов отдувался, ерзала в воротнике налитая кровью шея.

— Я вот через эти... через похороны сейчас прошел. Эх, бабы которые... и то ропщут.

— Ропщут, — кивнул скорбно Блябликов.

— Зачем, дескать, без попов. Что, говорят, их, людей-то, как собак, в землю зарывают.

Иван Иваныч, гордо закинув носатую, нечесаную голову, сам пигалица-пигалицей, шагал по каюте, руки в карманы, дерзил на зло:

— А на кой их, попов? Карманы им набивать. Когда умру, рад буду, чтоб меня без этих типов хоронили.

— А вот Вильгельм на этом и сыграет, — язвительно сластил Блябликов, — придет и скажет: а у меня чтобы хоронить с попами. И что за народ! Свобода разве в том, чтобы попов не было?

Мангалов сходил на шопот:

— Знаете, я человек на слезу слабый, у меня завсегда в при-скорбный момент глаза ест. А вот теперь... нет. Ну—нет!

И сокрушенно разводил руками.

От внезапного залпа «Качу» всю потрясло так, что взвыла по-суда в камбузе. Офицеры, присмирив, на цыпочках выскакивали на палубу — глазеть... Грохот, в перемешку с горловой грустью музыки, гулял по рейду. Орудия надрывались в оглушительном прощальном благовесте. С бортов утюгастых броненосцев то и дело выдувались курчавые дымки. На корме «Качи» и соседних судов суетились вахтенные, приспуская флаги. Вдалеке, от Графской, отходили переполненные народом катера.

— Вы бы подобра, поздорову, Илья Андреич... пока там не разошлись, — нервно тростил Блябликов.

В предвечерье по всем судам просемафорили повестку: прислать делегатов на всефлотский митинг на «Свободную Россию». Блябликов объяснял отчасти правильно: большинство совета категорически высказалось против создания ревкома, предложенного большевиками для того, чтобы возглавить новую борьбу против Каледина и мести за убитых. Совет не хотел надстраивать над собой какой-то новой власти: кроме того, он видел спасение народа и революции «отнюдь не в братоубийственной бойне». Большевики покинули исполком.

Митинг, поздно и небывало многолюдно собравшийся на дредноуте, пошел в ночь.

II

За бонами «Витязь» подходил из Одессы, весь сияющий, известно-белый на солнце.

На «Витязе» еще не знали новости, с утра обежавшей город, подобно чуме; еще не чувствовали тягостного замогильного за-

тишья, которое одело солнечную бухту и которого не могли прогнать ни утренние сигналы горнистов, ни гудение осанистых офицерских самоваров по камбузам...

Ошвартоваться пришлось поодаль от родной бригады, по содействию со щеголеватыми миноносцами и распластавшимся среди воды чугунным шатром «Свободной России». На противоположной круче знакомо кружился Севастополь: верхушки белокаменных этажей, шпили павильонов, повороты бульварной ограды. Кружилось обманно-яркое, ледяное солнце.

Ошвартовались неладно: у «Витязя» скорежило руль, с разгона врывшийся в мель. Капитан Пачульский был потрясен чуть ли не до удара, — тем более, что капитан самолично посадил пароход и винить и разносить было некого; однако, и это событие забылось в один миг, как только упала сходня на берег и береговое известие облетело корабль.

...Шелехов, притихнув, привалился к стене безлюдного салона. «Вот и случилось...» — без смысла повторял он про себя. Зеркало отражало растерянно-вопрошающие глаза. Даже изломанная одесская ночь, даже Жека тлели где-то далеко, безразлично... «Вот и случилось...» — Да, трудно было сразу осмыслить, что случилось в эту ночь с адмиралом Кетрицем, генералом Твердым, полковником Грубером, многими еще. И самое неестественное: думалось теперь не о чинах и должностях этих незнакомых Шелехову людей, а об их ужасном, теплом и пожилом теле...

В матросской штабной каюте, непрерывно сообщавшейся с кубриком, рассказывали все подробности. Ударники, распаленные после ночного митинга на «Свободной России», забрали с квартир и из тюрьмы нескольких наиболее ненавистных офицеров, в том числе и качинского механика Свинчугова, вывели всех на Малахов курган и расстреляли. Бирилевский вестовой Хрущ уверял, что под Малаховым, на воде, и сейчас еще плавают офицерские фуражки.

Баталер Каяндин, барствуя с мрачной усмешкой на бархатном красном диване, сомневался.

— Босявки языком треплют, никакие к чорту не фуражки, не может фуражка до утра плавать. Васька, а? — подзадоривал он для потехи посыльного Чернышева, дикого и стыдливого, как девка. — Смокнет — и туда же, за молодчиками... верно?

Шелехова неприятно передергивало от такого зубоскальства. Да, и Каяндин, и моторист Кузубов, и Чернышев, сжившиеся с ним тесно на «Витязе», — все они были хорошие и, в сущности, сердечные парни, но все-таки никогда не забудется, что растут они из другой, убогой и тесноватой жизни, пропахшей сапогами и хлебом (так всегда пахло у них в каюте), что они — матросы... А когда Хрущ по обыкновению с заносчивой осанкой человека, знающего себе цену, стал рассказывать о том, что первые показали всем пример гаджибейцы, выведя на Малахов всех своих офицеров дочиста и оставив только одного молодого прапорщика, из бывших штурманов, для разводу («чтоб было кому за правлением смотреть»), — то в голосе его сквозило явное горделивое восхищение, если не молодечеством гаджибейцев, то обилием и громовостью тех событий, которые за одну ночь сумел натворить матрос.

И трудно было понять, удручены ребята всем случившимся или наоборот — даже как-то довольны.

«Пойти, Бирилева спросить...» — О чем спросить — не подумал, чувствовал только, что какое-то облегчение может найтись за порогом бирилевской рубки. Там, наверно, и грустный, доступно-привет-

ливый Скрябин... Может быть, в слепую кидалась душа, искала, с кем бы вблизи, тепло в тепло, пережить сообща или защититься от чего-то. От чего?

Собственно, что значили для него Кетриц, Твердый, Грубер, эта бородастая, украшенная мундирами и орденами военщина, преданная до мозга костей военной своей карьере, ради которой она готова была подслуживаться и угождать царизму всякими способами, вплоть до вешания революционных матросов? Какое отношение имеет к этим не по-доброму заслуженным адмиралам и полковникам он, вчерашний студент Шелехов? Конечно, было нелепо хоть на одну минуту ставить себя в какую бы то ни было связь с Кетрицем, с Малаховым курганом!

Но Бирилев, но Скрябин: они были другие, не из породы Кетрицев, правда? Бирилева не однажды звали к себе обратно матросы с «Дерзкого», которым он командовал еще при царском режиме. Володю Скрябина в феврале вся бригада выбрала своим начальником. К ним можно было войти без всякого удручения.

Он застал обоих лейтенантов — бывших лейтенантов — уже одетыми, готовыми для отбытия в город.

— Да, вот и прорвался нарыв, — обратился к ним Шелехов каким-то особенно бодрым, заранее приготовленным голосом. — Да... надо было ждать!

Оба офицера тщательно увязывали в газетную бумагу одесские гостинцы: какие-то кондитерские сверточки, коробочки, флакончики, разную мелкую прикрасу домашней жизни. Счастливые, — обоих их ожидал кто-то в сладком предвкушении свидания и подарков! Ни тот, ни другой почти не подняли на Шелехова глаз... Скрябин скорее из вежливости промычал:

— М-мм...

Шелехов остановился в замешательстве.

Пальцы обоих лейтенантов безучастно двигались перед ним. Бирилевские — жилистые, сухие, изящные, очень ладно прошивающие бечеву сквозь узлы; и тучок у Бирилева получался очень аккуратный, ладный, с точными прямоугольными ребрами, не то что у беспомощного Володи, состряпавшего какой-то одутловатый шар, с неряшливо торчащими бумажными мохрами, которые Скрябин старательно и до жести неумело опутывал вдоль и поперек бечевой. Ясно, что по дороге прорвутся обязательно сквозь газету и попадают, срамя Володю, все эти кулечки, флакончики, яблоки... Да, Бирилев — это характер, хватка!

Шелехов ощутил на себе упор его светлосерых, жестких глаз.

— Вы, Сергей Федорыч, про Пелетьмина... своего однокашника, если не ошибаюсь, слышали?

Шелехову захотелось зажмуриться. Как он не вспомнил, что Пелетьмин на «Гаджибее», Пелетьмин на «Гаджибее», с которого вывели всех...

— Позвольте, но не может же быть...

Длительный, казалось, осуждающий, стыдящий взгляд Бирилева пресек ему дыхание. За что осуждающий? За то, что и его звали когда-то на качинской палубе большевиком? За то, что из-за этих же большевиков он бесстыдно уничтожил когда-то (на митинге, перед всеми!) вот этого учтивого, уступчивого Володю?.. Скрябин только страдальчески пожал плечами.

— Вот относительно этого юноши... и Свинчугова тоже... не понимаю, господа. Свинчугов — старый, больной человек, ну, какой же он...

Шелехов почти выкрался из каюты, почти на цыпочках, с'ежившись от своей неуместности, лишности. Нашел, куда кинуться со своим непрошенным теплом! И кто он, в сущности, этим людям? Они, вероятно, и не думали искать никакой лазейки и оправдания, чтобы отделить себя от Кетрица; именно Кетриц был для них свой, а не Шелехов; и они с полагающимся достоинством готовы были принять такой же удар и на себя... А ему — зря, пожалуй, было уходить от Кузубова и Хруща.

За палубой город выпячивался солнечной кручей. Что-то не пу-скало оглянуться туда: как-будто блеск мог выжечь глаза. Смута, смута, смута... И Жека еле мгилась где-то далеко, отжито. А только накануне в Одессе, после ее бегства, такой обескровленной и навсегда изуродованной казалась жизнь. Уж была ли это настоящая любовь?..

Вольнонаемные, кучкой сбившиеся у входа в салон, молча расступились, пропуская. Старший капитанский помощник Агапов, только-что потрясавший их какими-то необычайными сообщениями, залез Шелехову в глаза пытливо и нагло. Как-будто мимо шел обреченный... Только капитан Пачульский, маявшийся взад и вперед по кают-компани, словно с большим зубом, — все из-за того же руля, — проявил внимательность к Шелехову, взял его по-отечески за талию.

— Ну вот... говорил я! — с сердитым огорчением выдохнул он. Капитан в самом деле никогда ничего не говорил. Но на ласку Шелехов поддался молчаливо, благодарно.

Команду, и военную и вольнонаемную, сметало на берег: не терпелось дознаться подробнее насчет ударников и всего... Штабные матросы торопились на балочку — загонять одесское шевро. С'ехали и оба лейтенанта. Долго Шелехову и капитану виднелись за кормой шлюпки, недвижные плечи сидящих, словно без сопротивления подставленные под то неведомое, чем замахнулась впереди городская круча...

Шелехов, оставшись наедине с капитаном на опустелой палубе и вглядываясь в путаную чужбину мачт и труб, обступивших «Витязь», вдруг рывнул Пачульского за локоть.

— Смотрите-ка, капитан, «Гаджибей»...

— Где?

С дымно-голубого борта соседнего миноносца надпись сама кидалась в глаза. Туда, на безлюдную, чисто выметенную палубу, можно было перескочить одним прыжком. Круглились на спардеке глазки офицерских кают. Бывших — офицерских...

«Кровавый миноносец... так его когда-нибудь назовут...» — мысли проползали придавленные, ошарашенные, вытарашенные.

Капитан крякнул, шумно понюхал воздух вывороченными ноздрями.

— А в камбузе будто кто-то есть, а? Посмотрите-ка... Кто-то возится, а?

— Будто кто-то есть, — согласился и Шелехов, чувствуя, что его судорожное состояние передалось и капитану. Казалось, на той палубе могли появиться только существа с содрогающимися, нечеловеческими чертами... Разинутые рты вентиляторов, пестро-красный гюйс на носу — все эти подробности ломались в глаза обнаженно и зловеще. Пачульский облапил ласково мичмана.

— Вы, Сергей Федорыч, на палубу-то... пореже старайтесь. Вы пореже. А если воздухом захочется подышать, возьмите тужурку у Агапова, надевайте. В роде торгового моряка, так лучше. Вы слушайте, голубчик, у меня в Одессе у самого сына...

«Но, ведь я...» — едва не вырвалось у Шелехова. Он хотел с горечью сказать своему незваному благодетелю, что не привык прятаться от матросов и что совсем еще недавно гремели майские дни, когда он, самый революционный и обожаемый в бригаде офицер... Хотелось скинуть со своих плеч эту, хоть и отеческую, но оскорбительную чем-то опеку.

Духу нехватило сделать резкий поворот.

* * *

«Витязь» начисто вымер, как в праздник. Даже вольнонаемный кок — и тот ухитрился сбежать на берег. Двери пустого и нетопленного камбуза стояли настежь. Испарились даже безгласные витязевские официанты, гордость капитана Пачульского, еще недавно кичившегося на весь дивизион своими порядками и по струнке танцующей прислугой. Капитан опозоренно бегал взад и вперед по коврам, срыгивая порой что-то неразборчиво-матерное. Но кушать-то капитану и прочим было надо?.. На счастье в камбузе нашлись мясные консервы, и помощники, под руководством самого Пачульского, скрепя сердце обвесившего себя коковским фартуком, принялись самолично за стряпню.

Корабль пронизала неестественная тишина.

В полдень по морю дослышан был шум недалеких и будоражных голосов. Шум натекал обманно и смутно, как ветер. Вахтенный, забегавший несколько раз в камбуз подивиться, как витязевские помощники и с ними господин мичман сами чистят картошку, сообщил, что напротив, на «Свободной России», насыпалось народу, как мух, тыщи две, если не больше — наверно, опять митинг.

— Митинг?

Неизвестность и без того неслась кругом бешеной и темной рекой. Зачем понадобилось опять собирать митинг и притом в такой необычный, ранний час? Что-нибудь по поводу ночи?.. Впрочем, возможно, еще не случилось ничего угрожающего. Наоборот, могло быть так, что большинство флота, благоразумное большинство, возмущенное кровавым самоуправством, собралось немедля, чтобы сурово обуздать виновных... «И правильно, и правильно!» — с радостной горячностью ухвятился за это Шелехов и горячил себя и в то же время сам не верил тому, что думал, потому что шум, кидавшийся с моря, был очень странный, шум был очень неровный, — как будто кто-то кликушествовал там, разжигал.

Пожалуй, лучше было не слушать, не знать ничего...

И он старался не слушать, с удвоенным прилежанием принявшись за свою картошку. В котле музыкально бурлила вода; если пристально сосредоточиться на этом сердитом и усыпительном бурлении, оно отлично могло заглушить все в мире. И как деловито и ободряюще похрупывал картофель под капитанским ножом, если прислушаться, ударники становились невероятными, почти потусторонними, как и Кетриц, они или приснились, или еще давно, в детстве, были вычитаны из книги... А вот капитанский помощник Агапов, он, несомненно, существовал; этот короткошей и косолапый деляга-парень, любящий больше всего бесхитростно порадоваться на чужое несчастье, старательно пыхтел рядом с Шелеховым, за камбузным, обитым жостью столом, подкладывая капитану картофелину за картофелиной. И еще выпуклее и всего убедительнее существовал капитан, с его глыбистой, необъемной пузатостью, с восточными, вывороченными из кровавых век, вспученными глазами. Капитан никак не мог успокоиться, — и это была настоящая жизнь, что капитан не мог до сих пор

успокоиться и что миски порой истерично вызвякивали под его руками. Помилуйте, господа! Я понимаю — военные бунтуют, это их дело; а мы — вольнонаемные, нас на судно за шиворот не тащили, мы не из-под палки, а за денежки служим, за денежки-с! Капитан у нас получает 700 рублей, больше начальника бригады; какой-нибудь жлоб, в роде младшего кока, — по сто—полтораста рублей! Так ты, сукин сын, служи, если получаешь, а не хочешь служить... А суп усыпительно кипел, а минуты летели мимо, а день шел под уклон. И сум, выхоженный сообща, получился такой удачный, что даже капитан, отведав его, смягчился, притих, за столом в кают-компании ласково, по-отцовски пучил на Шелехова осоловелые от удовольствия, от вкисности глаза.

— У меня сын, представьте. Представьте, рыбы никогда не может и в рот положить—ни-ни!

— Не ест? — дивился радостно Шелехов. Это было очень важно, что капитанский сын не ел рыбы. Это было бесконечно важнее и неотложнее, чем дымно-голубой кусок «Гаджибея», насильно лезущий в глаза через иллюминатор.

— Гимназистом уже когда был... я ему объясняю: дуралей, рыба же... ну, что может быть вкуснее рыбки! Возьми ты свежую нашу, черноморскую... ну, кефаль. Как у нас в Одессе банабаки, сукины дети, умеют приготовить кефаль!

— О-о, — восторженно захлебнулся и Агапов, суп свистнул у него из усов струйками.

— Ему, представьте, мать однажды так: сделала бульон, мясной, а фрикадельки пустила рыбные. Из рыбки сделала. Кушай, говорит, это — мясо. Мальчуган скушал за мясо — представьте, все скушал! И что же: не прошло и часу... — Капитан сокрушенно вздыбил брови:

— Сблевал.

— Да? — поразился Шелехов. Укрыто было, уютно с этим капитаном, как под теплой шапкой.

— Сблевал мальчуган!

Капитан совсем подтаял от супной теплоты, от приятных домашних воспоминаний. Капитан жмурился, изнемогал от доброты.

— Я вам, господа, скажу: что вчера было, больше этого кошмара повториться не должно... по пси-хо-логичности не должно! (Говоря о психологичности, он обращался именно к Шелехову, как к достойнейшему, единственно способному понять). Надо сознаться, господа: всего этого следовало ожидать. Понятно, тут разная сволочь орудовала, уголовщина (капитан через плечо осторожно покосился на дверь), но ведь и офицеры, господа, не без греха, не без греха, верно? Теперь... примем во внимание психологичность. То-есть. Матрос всю злобу из себя теперь спустил, удовлетворился, так сказать. У него теперь — трясение. Вот бывает, — капитан опять повел глазом назад, на палубу, — бывает: не подаст какой-нибудь стервец конца во-время, зевнет... не стерпишь, окрестишь его в сердцах раза два...

Капитан резко обернулся к клюющему носом Агапову.

— Вы морду когда-нибудь били?

Агапов дернулся, уронил коленки со стола.

— Бил.

— Ну вот. Ходишь потом, и трясение в тебе, и его же, сукина сына, больше всех жалеешь. Так вот и...

«Это он для меня, успокаивает... — понял Шелехов, — потому что внимательный, по-пожилому сочувственный человек. Но ведь то, что он говорит — верно! Был взрыв — и прошел...» И оттого, что ду-

мали они оба с капитаном одинаково,—а к суждениям маститого, по-видавшему виды капитана, несомненно, следовало прислушиваться, ибо они покоились на могучих устоях пережитого,—оттого впервые забрезжило впереди светлой, успокоительной просекой...

И правда — после обеда, словно переломился, стряхивал с себя мороку день.

Из города дошли первые вести. Судовой механик, раньше всех вернувшийся с берега, сообщил, что в Севастополе тихо, безобразий и самочинств никаких нет; правда, офицеров пока не видно, но матросы прогуливаются обыкновенные, веселые.

Насчет митинга механик слышал только стороной, — митинг идет уже шестой час, собрались представители всех судов и команд и выносят протест против ударников, безобразивших прошлой ночью. Матросы ругают их, что бросили тень на весь флот.

Шелехов кивал рассказчику, лаская его глазами. — Да-да, он так и думал... все они здесь так и думали... — По палубе уже скопом валили с берега витязевские, и суматошный туман голосов их и топотов играл в ушах мирно и радостно. Вон двое или трое, наверно, сильно оголодав, забралась в камбуз, орудовали там с посудой, крикасто разговаривали.

Разговор шел про яличников, которые раньше брали за перевоз по две копейки, а теперь, воспользовавшись сильным движением с берега на берег, накинули до пятака.

— Ты сочти: сколько он за день пятаков настрыгет. Зараз сажает у шлюпку восемь человек — вот тебе сорок копеек. Сколько он разов по сороки заработ на день?

— Считай, концов сорок сгоняет, хватк.

— Сорок концов по сороки копеек, а! Вот где буржуи-то сидят, из нас самих, а не энти, которых мы на Малахов... Его бы, сукина сына, первого надо на Малахов за эти пятаки.

— Мне дай ялик, я и на деревню не поеду.

— А какой дурень поедет, когда тут вдарись однава веслом — пятак, вдарись другой — пятак.

Совсем такой же, как полгода назад, доспевал бестревожный корабельный вечер! Насколько же, значит, спокойно и ладно все на воле, если матросам интересно только про яличников!.. Прав оказался капитан: гроза прошла, гроза не только оросила флот кровью, но и расчистила скопившееся над флотом тяжелое удушье. Ничто уже не будет больше мерещиться, нависать... Все — случилось.

И какими зряшными, жалкими, из себя надуманными показались все дневные страхи. Пожалуй, даже немного жаль было, что раздувался с утра такой большой и мрачный огонь, а на поверку получилось пустое место!.. Конечно, разве могли расстрелять его, Шелехова, который сам, садясь еще в севастопольский поезд, сам услаждался злорадной надеждой — пошить там, во флоте, побольше спеси с Кетрицев. Расстрелять его... как дико!

«Что Пелетьмин... Разве в других условиях этот надменный по-дворянски мичман не сделал бы того же самого по отношению к матросам? Даже и ко мне, плебею, с его точки зрения? Пелетьмин слепо, но верно нащупан!»

И все-таки, хотя Пелетьмин ускользал, не оправдывался (он проходил через далекий юнкерский вечер в шелковых отсветах приемной, особенно теперь высокомерный, несравнимый ни с кем, особенно красивый, сдержавший все гибельные и гордые свои обещания...) и хотя поручик Свинчугов тоже просился в жизнь, хотел облокотиться опять о солнечный борт «Качи», под которой закипает май-

ский митинг, скрипуче поклянчить: «угостите-ка, революционер, папиросочкой», пряча за шутейностью сердечную слабость к молодому человеку...

— все-таки такая неудержимая, такая бесстыдная напирала радость, что — а, черт! — разбежаться бы сейчас что есть силы по палубе, вцепиться руками и ногами в мачту, всцарапаться одурело наверх, до самого клотика! И, похихикивая, озирать оттуда и Пачульского, и Агапова, и весь перекошенный от изумления мир.

* * *

Штабные вломились в каюту со свистом, с сапогастым грохотом, ликующие: шевро сбыли на балочке прибыльнее, чем ожидали. Похлопывали по брючным карманам, в которых завелись керенки, впергонки разрывали об'емистые кульки с роскошным, по случаю барыша, едовом. Да, в городе все в порядке, на Нахимовском — гулянье, почему бы и Сергею Федоровичу с ними не сходить вечерком?

— Вон мы сичас видали — в кино «Модерн» офицер прошел в золотых нашивках, шмара под ручкой. Ого, видать, боевой! — восхищался подслеповатый моторист Кузубов, и Шелехову вдруг таким удушливо-горьким показался витязевский подвал...

Матросы тоже собирались в кино «Модерн». Над доверчивым посыльным, Васькой Чернышевым, сообща подстраивали каверзу. В «Модерне» шла картина «Власть плоти», и ошеломленного Ваську серьезно, а баталер Каяндин даже с учительской хмуростью, уверяли, что на этой картине все показано научно, в голой натуре: как один господин забирает к себе в номер дамочку и там действует с ней подробно. — все показывается даже в увеличенном виде. — Такие картины, — убеждали Ваську, — пропускаются теперь вполне, в виду народной свободы.

Васька, молодой матрос, плотовщик из соснового Кунгура, еще не обломанный военной службой, краснел при Шелехове, терзался застенчивыми улыбочками, но итти очень соглашался, отчего Кузубов и Хрущ за его спиной сигали на пол от смеха. Шелехова тоже усердно приглашали к общей трапезе, разложив чуть ли не во весь стол лямку толстого, смачно-розового сала. Звали и в кино, на чудную картину «Власть плоти».

— Ежели что, на улице... мы вас в обиду не дадим, мы вас в середке поведем.

— Ну? Разве опять... что-нибудь может быть?

Кузубов успокаивал:

— Ничего не может быть. Когда весь флот против этих безобразив резолуцию выносит...

Минер Опанасенко, излучавший в сторонке добрые смешки, загадочно вставил:

— Тут не за офицеров дело...

— А за кого тут дело? — задиристо переспросил Каяндин, кромсая ножом прижатую к груди буханку.

— За кого. Хы... — Минер помялся, посердилел. — Вот за кого: нас, украинцев, хочут запужать... на бас берут. Украинцы им поперек хлеба встали. «У вас рада такая-сякая, у вас...» — Вот и запуживают, чтоб им потом всю власть... Разве так демократы делают?

— А как, щирый, демократы делают? — подмигивая прочим, распаял его Каяндин.

— Да их и не осталось, демократов-то. Все в старину еще — в тюрьме да на каторге... ихние и косточки все погнили. А теперь какие демократы... майские!

У матросов, лихо уминающих сало, затеялся спор: одни ли майские остались в Севастополе демократы, или есть и не майские. Вспомнили Баткина, который, оказывается, после черноморской делегации делал дела у Каледина и чуть не зашил матросам в руки под Ростовом. Вон они, майские-то, где! С Ростова разговор перешел на качинских. Балакали про боцмана Бесхлебного, который вернулся из похода сильно осерчавшим и сам водил на Малахов. Про геройство покойного сигнальщика Любакина...

Шелехов изумился, узнав о гибели любимого ученика.

— Любакин убит? И уже похоронен?

Он вышел, теснимый странными угрызениями, на палубу. Ему показалось, что внутри его кто-то проликовал тайком при этом неожиданном известии. И не было сил заглушить в себе приятное и омерзительное ликование... Значит, Любакина нет? И он никогда не узнает о том, что случилось в ночной степи у мичмана с Таней. И никогда при встрече с ним не придется больше трепетать по-заячьи. При встрече с Любакиным-ударником...

«Витязь» всеми своими мачтами падал стремглав, как в пропасть, в сумеречное, но еще светлое небо. Это — от воздуха кружилась голова. От воздуха и от бездонно раскинутого над мачтами неба... Вон — «Гаджибей». Ни голоса, ни человека... Шелехов вспомнил матросика в блинчатой фуражонке, со злостным, вышаривающим взглядом. Может-быть, где-нибудь приник там, под спардеком, присматривается, узнает... Перешел на другой борт, над которым нависла длинная, сарайная громада неведомого гидрокрейсера.

На городской круче вкривь, один за другим, зажигались огоньки. Моторка бежала с того берега; вон выскользнула из черной тени, упавшей до половины залива, и стрекочет, и вьется в светлом. Куда, к «Витязю» или к «Гаджибейу»? Не мчит ли что-нибудь недоброе? И первая звезда сронила в зыбь. Как-будто только сейчас веселый, румяный горнист сыграл зорю, застенчиво и баловливо подходит к офицеру: «Дозвольте, господин прапорщик, на разведку, скушно!..» — «А вы имейте в виду, Любакин, мы еще годик так позанимаемся, и вам можно будет на аттестат зрелости!» А майское теплое море поднимается в сумрак; сказочным туманом пеленает мачты и невидимое за горой гулянье, и замирающую в груди незнамо чего хотящую юность. И нет больше Любакина, и моря того нет. Будущее вдруг открылось во всей своей резкой и сиротливой безотрадности, подобное бесконечной, холодной, отускневшей реке... Не сразу понял, что это Жека подползла опять тайком, путала отравной тоской.

Жека!.. Огромное море отделяло его теперь от этой женщины, такое недосыгаемо-огромное, что лучше было бы задохнуться, чем поверить...

Нет, надо было пересилить себя, рассеять, напрячь сейчас мысли над чем угодно, только не поддаваться. Шелехов решительно спустился в свою каюту, зажег лампу, для чего-то поворошил стопку книг в черных библиотечных переплетах, давно без призора пылившихся у него на столе. Следовало подумать о многом, со многим освоиться чувством и мыслью — вот с тем, что случилось ночью на Малаховом с Пелетьминым, Любакиным... У него еще днем мелькнуло такое: «Мы (то-есть Шелехов и кто-то еще другие)—как те татары, что пировали когда-то на досках, под которыми, связанные, корчились пленные. И Петербург, и столовая Ореста Миллера, и полученные пособия, и Жека — все это тоже был пир на досках... И когда те, которые целыми столетиями корчились внизу...» Из развернутой мимоходом книги кинулось ему в глаза, словно отворилось нечаянно за страницей пыльное ночное небо:

Идите все на зов звезды!
 Смотрите: я горю пред вами.
 Я обещаю вам сады
 С неомраченными цветами.

Неладная суета послышалась из коридора. Вихрем промчалось куда-то множество ног. Рядом, у штабных, наотмашь хлестнулась дверь... Шелехов поднял голову; кругом стало тихо, как в глубокой яме.

Что-то, самое главное, делалось за коридором, на палубе.

Через раскрытый, зияющий люк смотрело небо, рассеченное черной мачтой, вечерне-потемнелое. «Идите все на зов звезды!» — мельком вспомнилось на ходу... В раме дверей, выводящих на палубу, громоздилась сутулая фигура Пачульского. Где-то гулко настрачивал мотор. Капитан всхлипывал на ухо:

— Вон туда, на крейсер, направо, направо глядите!

После света сарайная громада крейсера прояснялась трудно и медленно. Едва можно было разглядеть стучавшую у его подножия давешнюю моторку. По трапу на моторку сходил смутный человек, очевидно, офицер, с белеющим вензелем на рукаве. Следом спускались еще такие же, сгорбленные, принужденные. За ними, отделившись от темной толпы у борта, юркнуло вниз несколько короткопых, с винтовками. Во всех этих действиях проступал неясный еще, но цепящийся смысл.

— Капитан, — лихорадочно бросился Шелехов к Пачульскому, — куда же их, куда?

Пачульский хмыкнул, — вероятно, пожимал плечами.

— Капитан, но ведь на «Свободной России» был митинг, там постановили, сегодня же постановили...

С береговой кручи, на той стороне, сорвался залп, за ним — словно судорогой взбежав повыше — второй. За ветром — ликующе и многоголосо улюлюкнуло.

— Пошли, пошли, — капитан тянул за руку назад, вниз — в сияющую яму.

Дробью грохнули каблучки — почти над головой. Кузубов с веселым воплем выпался сверху.

— Полундра!

Шелехов никак не мог уцепиться пальцами за его фланельку.

— Как там, что?

Кузубов уже выведаль кое-что из-за борта, немного.

Все улицы оцеплены ударниками. Опять ходят по квартирам, вылавливают офицеров и буржуев. На «Свободной России», оказывается, целый день выбирали ревком, верх взяли большевики. Сейчас команды арестовывают своих офицеров и сводят в экипаж, где заседает самодельный суд. Когда приводят офицера, знающие его, из «стариков», выступают за и против, рассказывая собранию все, что им известно про этого офицера с пятого года; попались уже крупные лещи, которых без пересадки отправляют на Малахов.

— С вами Каяндин останется, он никуда не пойдет... А мы с Хрущевым в город... Вадима Андреевича надо выручать... начальника. Сюда ночевать приведем.

В кают-компании поперек дороги стоял на косолапых, клешистых ногах Агапов, радостно к чему-то прислушиваясь.

— А ведь варфоломеевская ночь, господа!

III

«В связи с контрреволюционным настроением командного состава, а также выступлением Каледина, справедливый революционный гнев матро-

сов выразился в актах расстрела нескольких офицеров».

(Из воззвания севастопольского военно-революционного комитета).

* * *

...Ревком наводил порядки. Ревком приостановил самочинные обыски и аресты. Присоседившиеся к ударникам темные, безвестные ватаги, потрясавшие город дикими грабежами, присмирели и попрятались. По ночам дозорили в улицах надежные матросские патрули. Двадцать тысяч бутылок вина, по распоряжению ревкома, было выброшено в каменистую пучину моря, под бульваром.

Из бушующих ледяным ветром аллея далеко шибал виноградный дрожжевой дух.

В городе и на рейде устаивалась новоявленная, суровой рукой оберегаемая тишина.

Приободрился скорченный от страха домашний, чиновный, обывательский Севастополь, откупоривал ставни и парадные, с оглядкой семенил на базары. Шопотные рассказы наполняли город. Одни говорили, что расстреляно тридцать два, другие — семьдесят; среди офицеров попался и один помятый — за то, что в 1906 году выдал полиции тайну исповедывавшихся у него очаковцев. Над памятью расстрелянных вился трупный туманец выдумок, зловещих недомолвок. Поп сопротивлялся, не шел на Малахов, говоря, что он не принял еще причастия. «Иды, иды, прямо в рай попадешь!» — посмеивался, прикладом его подгоняя сзади, ударник. Адмирал Новицкий принял казнь равнодушно, сказав только матросам: «Наконец-то додумались до дела, давно бы пора!...» А полковник Грубер обронил со злобной загадочностью: «Расстреливайте, но знайте, что вы все в мешке!»

И даже в матросских кубриках лазил ползучий шопот: «В мешке... в мешке... в мешке...».

На базаре обыватель перестал покупать рыбу. Про это тоже бежал трепетный слухок: «Рыба небывалая, лоснистая, тяжелая, жирная... Ловится — сама валится в сети, как червь...»

Про адмирала Керрица ходила легенда, будто бы жена его пожелала во что бы то ни стало вернуть себе перстень, дареный ею и оставшийся у него на пальце. И будто бы адмиральша наняла за большие деньги двоих матросов-водолазов, которые согласились слезть за перстнем в море. Однако, не пробыв под водой и двух минут, матросы дали тревожный сигнал к подьему: «Больше не полезем туда ни за какие деньги». — «Почему?» — «Они все стоят там... митингуют, грозятся...» Водолазы после исчезли из Севастополя.

— Сам видал, как связанных их провезли под видом пьяных, — врал в кают-компании Иван Иванович Слюсаренко.

— Куда повезли?

— Куда! Ясно куда — в желтый дом.

Иван Иванович, бывший в курсе всех новостей, так объяснял, почему внезапно испугались водолазы: потому что офицеры с привязанными к ногам балластными стояли там стоймя и от подонной зыби пошевеливали руками и ногами; матросам же, и без того истерзанным совестью, показалось...

В московской газете «Утро России» были напечатаны телеграфные, от собственного корреспондента, подробности о событиях в Севастополе. Там описывалось, как матросы, убив до пятидесяти офицеров, поотрубали им головы и, воздев на шести, носили с торжеством по Севастополю. Правда, даже в кают-компании «Качи», про-

чтя это, стали в тупик. Однако, хилый и богобоязненный командир «Трувора» Анцыферов и здесь жестко срезал сомневающихся: «Как не было, как не могло быть?! Вы не видали, другие, можбыть, видали. Что?».

Из качинских в варфоломеевскую заворошку попало только двое — и то краем: этот самый капитан Анцыферов и ревизор Блябликов. Обоих арестовали на улице и водили в экипаж, откуда выпустили на следующий же день. Про пугливого ревизора моторист Кузубов, видевший его после ареста, рассказывал, что «Блябликова как с креста сняли». Анцыферов же, не растерявшись, ухитрился даже проделать такую штуку: когда повели по темной улице, попросился у матросов за нуждой; присев, тут же потихоньку выворотил под собой камушек и припрятал под него свои золотые часы.

После откопал их в полной сохранности.

Мрачнее всех жилось в эти дни минному офицеру. Качинская команда после осеннего случая (когда он обозвал митинг «толпой») прониклась к нему неугасимой и молчаливой враждебностью. И даже когда поприутихло и офицеры попржежнему безбоязненно с'езжали по вечерам на берег, Винцент отсиживался в каюте, из гордости запираясь и задергивая штору с сумерек, будто нет там человека...

Да и не всем верилось в прочность тишины. Чувствовалось — не хотела еще под'яремого покоя разбушевавшаяся матросская стихия. На все стороны, под все ветра болтыхалась шаткая посудина флота.

Когда кочегар Зинченко, с'ездивший в Петроград на всероссийский с'езд моряков и вернувшийся оттуда поздним путем — с белгородским ударным эшелоном, сделал доклад в качинском кубрике, призывая матросов к дальнейшей борьбе, против него визгливо вырвался подталкиваемый стариками Фастовец: «По мне бы... узять того Крыленку да Каледина, да усих на одну веревку... шоб нам потом дружно було жить...» Над полуэкипажем вызывающе развевалось черное анархистское знамя. На миноносце «Завидном» украинцы подняли желто-блакитный флаг. По ночам раздувалась штоломная стрельба. Ударник охрип, возгордился, гулял по улицам, как царь, с видом некротимым и не признающим никого.

И новый поход смутнел недалеко. Ростов крепчал, шире и шире расплзалось черное пятно калединской власти. Калединские агенты шныряли даже по Крыму, подбивая на восстание татар. Имелись сведения, что под самым носом у черноморцев, в Евпатории, сколочена сильная офицерская дружина, а из Одессы перебрасывается туда татарский эскадрон...

По кораблям опять шла запись добровольцев, на вокзале заранее ладили самодельные пулеметные площадки из платформ. Шли разговоры об удали, о кочевой отрядной жизни. Изредка срывались на север горячие эшелоны. Над Иван Иванычем, — рассказывал он, — взвился один такой, когда он шел себе спокойно по Килен-бухте. Эшелон винтом крутился в гору, теплушки были все настезь, а из дверей гоготали еще издали адские морды и еще издали прикидывали на мушку офицерскую Иван Иванычеву шинель. Хорошо, что Иван Иваныч поостерегся: не подпустив к себе поезда, ухнул, закрыв глаза, кубарем под двухсаженную насыпь. Только услышал, как громом пронесся над ним паровоз и гикнула тысяча дьявольских глоток:

— Бей в лет!

IV

Шла на ущерб загнанная в тихий тупичок порта, обширная и дружная некогда бригада траления. Улетучился семейственный захо-

лустный дух из качинской жизни; самые корабли в городских берегах стали иными, словно продали их кому-то, словно обошел их новый незнакомый владелец, сосчитал сурово и чужой меткой запачкал обсиженный и обжитой инвентарь.

Большие, первого дивизиона, пароходы совсем отбились от бригады: то ли пропадали за далекой волной где-нибудь под Трапезундом или Батумом, то ли здесь же, в Южной бухте, жили себе на отлете, среди чужих кораблей. Да и мелкосидящие, ходил слух, не сегодня-завтра, по приказу ревкома, могли уйти в рассыл — к устью злобствующего калединского Дона, который, по тем же слухам, спешно минировали на случай нового визита черноморцев черноморские же беглые офицеры.

Дела никакого не было, и кают-компанейские жили, как паразиты: обедали, ужинали, ходили в галлюн, а в остальное время трепали языками. И взглянуть не на что было, не то что в Стрелецкой. Поплескивала под выстрелами гнилая заводь, по соседству теснились дряхлеющие, доживающие свой век паряходышки, баржи и катера; а наверху, над краем городского нагорья, раздиралось и мчалось отемняющее душу окаянство зимних туч...

Вернувшиеся ударники еще больше подбавили мраку. Правда, главного из них, Зинченку, мало видели на «Каче»; Зинченко, ставший у большевиков заметным человеком, целыми днями пропадал в городе — по разным таинственным делам. Но боцман Бесхлебный, как напоказ, вечно выхаживал по палубам с крутой осанкой, всегда с наганом за поясом, всегда готовый яростно ринуться, куда потребует, вгрызться... Кают-компанейские посылали ему полные приязни улыбочки, а зачастую и первые козыряли: «чего, мол, считается между своими!» А Иван Иванович Слюсаренко надел вместо кителя синюю кочегарскую блузу и нарочно попался в ней боцману на глаза, — добрых полчаса все выпрашивал, каков-то теперь Ростов, в котором Иван Иванович лет пять назад грузил от купца зерно на свою шаланду. «Ох, по десяти потов тогда выгоняли из нас толстопузые сволочи, вот как эксплуатировали-то раньше, а!» — громко и восторженно кричал он на всю палубу.

Сверху иногда бывший мичман Винцент обозревал эти сцены с кривой, безумноватой усмешечкой. Опять кронштадтским трясением трясась его медальная голова.

Мутно жилось наверху, на «Каче».

А тут еще грянули разные новшества.

К начальнику, Скрябину, приставили комиссара, писаря из качинской команды, вежливого и долговязого франта, который — невиданное дело — должен был делить власть с Володей.

Вновь переизбранный бригадный комитет начал неожиданно свирепствовать: сместил с должности командира «Трувора», набожного Анцыферова, за то, что у него золотые зубы; уволил за ненадобностью начальника первого дивизиона Бирилева в виду того, что дивизиона якобы на самом деле не существовало, ибо большие корабли разбрелись все по другим делам, да и тралить им было нечего... На «Трувор» назначили Лобовича, который после ростовского похода нелюдимо отсиживался на «Джузеппе»; и что удивительнее всего — тот охотно согласился. Конечно, кают-компанейские не знали, как и что задумано насчет «Трувора», не знали, что вовсе не при чем тут золотые зубы... Но Лобович стал им с тех пор, как проклятой!

Передавали еще, что на заседании комитета раздался голос, требующий повесить Ивана Ивановича за то, что он при старом режиме ругался на матросов матерно и один раз ударил вахтенного по

лицу, грозя отправить его на виселицу... Да, другая, безликая власть жесточала на кораблях — да и над всей Россией! И — кощунство, неслыханное доселе никогда! — вольные приходили теперь невозбранно на судно, ночевали в кубриках...

— Футляр один остался от флота, — со смиренной злобой вздыхали в кают-компани, когда отлучались вестовые.

* * *

И один за другим терялись, уходили в бессрочный старые матросы, коими держался еще былой корабельный лад.

С «Качи» ушел Фастовец, ушел вахтенный Качиенко... Перед отъездом Фастовец заходил прощаться к капитану Мангалову, который после ночных облав скрывался у двоюродной сестры, где-то на окраине. Капитан, пораженный этим неожиданным посещением, сначала отчаянно задергал лицом, вообразив, что отыскиали, пришли по его душу. Нескладная, виноватая улыбка матроса успокоила его.

Присели оба — старый, отцаревавший на синих морских просторах флот.

— Я думал... шо три года мы с вами, Илья Андреич... на одном, как сказать, корабле, — прочувствованно молвил Фастовец, — шо, можбыть, умереть придется и не повидаемся.

Матросу кинулась в глаза нездоровая прожелть вислых, выжатых капитанских щек. Несладко, видно, жилось Мангалову за последнее время. — «Похудал-то, аж зенки открылись» — отметил жалостно про себя Фастовец. Капитан расстроился, прослезился.

— Ты меня, Фастовец... это, когда что было... ты прости. С нас тоже требовали, братец... служба.

Утирал слезастые, вислые щеки.

— Не думал, того... что ты такой. Спасибо, спасибо.

— Вы мне тоже, Илья Андреич, простите, — небывалым у него девым тенором нежничал и Фастовец, — простите, шо тогда по митингам напротив вас, значит, собачил... Тогда, Илья Андреич, уси собачили.

Мангалов, ослабев, махнул рукой.

— Эх, все бросить, все бросить, уезжать надо мне, Фастовец... Отслужил! Пчелкой, пчелкой надо заняться.

— А шо ж и пчелкой! — обрадованно подхватил Фастовец. — Вы вот... да и бог с ней, со службой, с дурной! Вы приезжайте к нам, на Украину, мы там и пчельник вам, этого... Найдем у какого буржуя, пошибаем самого ко псам, а пчельник вам. Теперь уся наша права, Илья Андреич.

Мангалов утерся, приосанился.

— Спасибо тебе, Фастовец. Но ты — верный человек, скажу тебе... Вот ты ко мне пришел уж... придут и они, поклонятся... с-сукины дети. Выручайте, скажут, господин капитан. Ага, выручайте... нет, уж пускай он выручает, банабак ваш, лизун... Маркушка-то. Он сколько время по кубрикам гнусел, под меня рылся... знаю! Я вас выручу! Ты документы получил? — спросил он вдруг матроса.

— А то ж.

— Ну, и поезжай с богом, не задерживайся. Я тебе... за доброе слово... — капитан с ужаснувшимся лицом пал Фастовцу на ухо. — Тагарва... весь полуостров скоро подыметя... Ни проезду, ни выезду... Слыхал? К Дарданеллам, к Дарданеллам Колчак подошел, стоит во главе... Во главе стоит всех держав! Думаешь, когда сюда дойдет, простит все это хулиганство? Слыхал, что Грубер перед кончиной... про мешок-то?

— Неужто про это, Илья Андреич?

— Про что же? Ты поезжай, Фастовец, я тебя за твое добро, прямо, этого... прошу!

Матрос растерянно вздохнул, поднимаясь. В тот вечер в качинском кубрике столько было темного говору про татар, про Колчака, про мешок... Фастовцем же овладел прощальный разгул. Он ходил, длинношей, виновато-торжественный, обряженный в чистую робу переого срока по всем кают-компанейским, у каждого просил прощенья, — если что насобачил когда на митинге, — с каждым по-пассальному, крест на крест, лобызался.

Володе Скрябину отдельно дал на прощанье секретный совет:

— Усе у нас на «Каче» буде смирно, господин начальник, только одно: шоб мичмана Вицына здесь не було... Я ж за его антерес говорю. Пуцай уйдет, писать поступит куда, иль того... а только шоб его на корабле не було. Вот.

Скрябин болезненно встрепенулся.

— А что же?

— Та так... — уклонился Фастовец. И ушел, и сгинул, будто никогда и не было его на «Каче»... Но Скрябина и других верхних очень встревожило это предостережение из кубрика. И так чувствовалось, что вокруг Винцента завязывается какой-то зловещий узел. Несомненно, минного офицера следовало во-время спровадить с корабля, чтобы не разыгралось однажды что-нибудь похуже «Гаджибея». Начнут с одного, а потом распалются...

И Володя мучительно решился.

— Как теперь ваше настроение? — спросил он как-то Винцента, задержав его после обычного доклада. Спросил как можно сочувственнее и ласковой.

(Но не вышло: глаза под мичманским пристальным, понимающим взглядом сами окосели, воровато прыгнули в угол.)

— Благодарю вас, господин старлейт. На берег не хожу, немного леплю, задумал одну работу по специальности. Несомненно, Дарданеллы будут на-днях прорваны союзниками. Тогда боевые действия на Черном море сами собой... ликвидируются, правда, господин старлейт? Значит, нашей бригаде предстоит колоссальное вытравливание собственных заграждений. Как минный офицер, пытаюсь набросать предварительные расчеты.

— Это нелишне... да, нелишне. Дал бы только нам с вами бог дожить... — Приободрившийся Володя набрался решимости и опять в упор глянул на Винцента. — Между прочим... в Центрофлоте, это уже наверняка известно, лежит подписанный приказ: разрешают и нам демобилизоваться. Это хорошо!

Винцент слегка покачивался, стоя на вытяжку. Палящий взгляд его корчил Володю.

— Приказ для фендриков, господин старлейт, для попрыгунчиков... В минуту, когда флот... когда русский флот захлебывается и гибнет среди кровавого хамства... — Мичман, задыхаясь, перешел на торжественный кочетиный альт. — Есть священное правило, господин старлейт: офицер покидает корабль последним. И я, и я, господин старлейт, поступлю в таком случае эффективнее, чем вы думаете...

Он сучил пальцами у горла, словно воротник кителя душил его.

— А потом... с'ехать с корабля в город, Владимир Николаевич... мне? Вы понимаете, что вы предлагаете?

Скрябин не хотел прислушиваться к этому смятению.

— У вас же дядя в Ейске, — подсказал он.

Винцент вспыхнул, отступил, его голова занялась страшной кронштадтской дрожью.

— Так вы, — кричал он нарочно пронзительным голосом, нарочно, чтоб слышали все за каютой, — так вы, господин старлейт, рекомендуете мне перебежать к Каледину?

...Каждый раз в таких случаях Володя, оставшись один, угнетенно подходил к пианино, машинально поднимал крышку... Да, и жить, и править бригадой становилось все труднее и труднее. Даже матросская привязанность, особенно проявившаяся во время малаховских ночей, когда Володю тщательно оберегали и на корабле, и на берегу, даже она не утешала теперь, а камнем ложилась на душу: каждый бушлат чудился закапанным кровью... И все было зыбко и непрочно. Кругом многотысячно и беспокойно пучились татары — в какой-то смутной связи с радой и Калединым; через Дарданеллы, при участии неколебимого до сих пор Колчака, пробивались к Севастополю с неслыханной кровью английские дредноуты... Неизвестно, как еще через месяц взглянут на матросскую былую любовь и покровительство, на сегодняшний разговор с мичманом Винцентом... Все чаще и чаще и Володе, и многим другим, похожим на него, приходило хотенье: оступиться вдруг в какую-то пропасть и кануть в ней без следа и сознанья... И, пожалуй, подобны были такой пропасти податливые, легко проваливающиеся под пальцами клавиши корабельного пианино и кукольно-причудливая, легкая, как засыпание, прелюдия Александра Скрябина... — вот она забвенной, словно дождевой завесой, застилает городские кручи, матросов, карающие дарданелльские дредноуты, весь страшный угол жизни, который назначено видеть и переживать.

* * *

...Все-таки заглянул однажды на «Качу» и Лобович. Пожал вялые руки кают-компанейским, присел без приглашения.

— Ну, как у вас тут?

— Да ведь чего же... живем.

Лобовичу, изнуренному долгим одиночеством, хотелось задушевно объяснить кают-компанейским насчет «Трувора», — что пошел ради них же, убережь от неприятности — и не одного, может быть, Анцыферова... Но вместо задушевности из-за насупленного офицерского молчания явственно грянул задирающе-скрипучий гогот Свинчугова:

— Эх ты, едрена... революционный адмирал!

Конечно, никакого Свинчугова и в помине не было — ни в кают-компании, ни на свете... Мглистое, водяное утро в конце декабря, длинный стол, качинский, столетний, обжитой, как родина; за ним, будто на другом краю прорвы, сидят молчаливые, лобасто-насупленные, мешают ложечками остывший чай, курят, стараясь, если и взглянуть, то мимо друг друга... Конечно, это сам Лобович занес его сюда, в последнее бездельное время что-то все чаще, все ядовитее навещал его покойный поручик, — должно быть, от раздумий, от одинокого лежанья в труворовской, мрачной, ободранной каюте. Смуться, забывчиво повторил вопрос:

— Ну, как вы тут, на «Каче?»

— Да ведь чего же... живем. Ждем, когда очередь на Малахов дойдет, ох-о-о...

— Да будет вам, господа, какой теперь Малахов! Все кончилось, чего зря говорить. Вон ревком-то как за порядок взялся...

— Ну да, вам-то, конечно, говорить не приходится. Вас-то на Малахов не поведут!

А может быть, и не о «Труворе» надо было говорить, а о Свинчугове? Или вот еще: из Евпатории только-что дошла новость: офицерская шайка схватила там и замучила насмерть председателя совета, большевика Караева. Тело его, выброшенное на улицу, было неузнаваемо, все в пулевых и штыковых ранах, спиной хребет переломлен так, что затылок касался ног... Лобович видел и ростовские трубы, тысячами положенные в Дон. Он шел по пустому коридору жизни, между двух человеческих стен, где с обеих сторон дышала на него горячая, скрипящая зубами ярость, — если бы об этом рассказать, спросить... вот хотя бы того же Анцыферова?

— Если кто, господа, имеет что-нибудь против моего поступка, относительно «Трувора», то скажите прямо и откровенно. Я обиды никому не хочу, я раз'ясню.

— Ну да, конечно, какая теперь обида, — уклончиво отвечали офицеры.

Анцыферов ядовито смиренничал:

— Да что уж тут... У меня зубы золотые!

Иван Иванович, которого будоражило самое отдаленное напоминание о бригадном комитете, ворвался в разговор со своим:

— А про меня вон чего вынесли: повесить! Это за что же вешать? Ну, я при старом режиме ругался — выругай теперь ты меня. Ну, я тебя тогда ударил — теперь ты мне в морду дай раз или два! А вешать за что?

Как-будто еще более осиротевший, спускался Лобович с «Качи» в пасмурную сырь порта... На свалочном, занавоженном берегу, где того гляди ржавый ошметок вонзится в башмак, из-за разбитых ящиков, из-за плесневеющих вверх киями шлюпок, из самой земли вырастали робкие, костлявые, одичалые псы — один, два, три... не отрывая печальных глаз от спины Лобовича, помахивая хвостами, тихо следовали поодаль, пока опустивший голову скучливый человек не исчез за трапом «Трувора». И долго еще сидели, подняв жадные морды к пузатой, обмываемой грязным прибоем корме.

V

Устранение Бирилева с должности начальника дивизиона, в другое время вызвавшее бы громоподобное впечатление, прошло теперь почти незамеченным. Некому и некогда было злорадничать по поводу падения этого надменно-сухого в обращении, всегда особняком державшегося лейтенанта, а об негодовании смешно было и думать. Каждому своя рубашка ближе к телу... Самолюбивый Бирилев с виду был тоже спокоен и переживал этот тяжелый и неожиданный удар в одиночку.

Рук он, однако, не опускал. Действительно, по натуре Бирилев оказался напористым и цепким. Через Кузубова подбил команду устроить на «Витязе» общее собрание дивизиона — для выяснения обстоятельств. Витязевские были явно возмущены вмешательством бригадного комитета в дивизионные дела: «Нашлись там двое-трое суматошных, свос «я» показывают, а за ними и все, как бараны. Чего им Вадим Андреевич сделал?» — роптал преданный Бирилеву Хрущ.

Бирилев дня два не показывался на корабль совсем, а накануне решительного собрания вызвал флаг-офицера на свою городскую квартиру.

С какой отрадой вдохнул Шелехов свежий, безбрежно-открытый во все стороны воздух, впервые безбоязненно вдохнул после двухнедельного почти заточения на корабле! Он озирает город глазами только-что тяжело переболевшего человека. Почему такой низенький и захиревший Нахимовский проспект? Провинциально-облезлые, тусклые фасадики домов, пустые, немывые давно магазинные окна, колдобины на мостовой, запорошенные лошадиным навозом, окурками. Прохожие, одетые трепано и бедно, ненастно спешащие по скучным своим делам. И вообще все — посеревшее, приbedнившееся, подстать самому Шелехову, с которого тоже срезан был весь прежний блеск — и золотые фестончики с рукавов, и расшитая кокарда с фуражки, и орленые пуговицы шинели были скромно обтянуты черным. В окне, отразившем его прохожую фигуру, показался сам себе похожим на отставного телеграфиста. Нет, ничего не было жалко — сердце даже радовалось втайне этому оскудению и серости: было бы больнее застать здесь какое-нибудь праздничное марево, испытать снова укусы жмяющих воспоминаний... А может быть, он их уже испытывал, глядя на знакомые, опустелые места, только не сознавался, не давал себе воли?.. И когда в сквозине голого бульвара метнулся перед ним охмуренное море без единого судна, без единого паруса, все заросшее грязно-седым ковылем зыби, кидящееся под разрывные, клочкасто-кипящие тучи, — он охотно запомнил для себя его выморочную зимнюю пустоту, его отталкивающую человека дикость... Теперь он знал, не по чему будет тосковать, сидя в одиночку на корабле и поглядывая тайком на крыши запретного города.

Бирилев начал разговор в некотором замешательстве, с описания тяжелых своих чувств, ибо тема была чрезвычайно деликатная: надо было внушить Шелехову, чтобы он подтолкнул матросов, Каяндина или Кузубова, обязательно выступить за начальника на общем собрании и даже подсказал им те доводы, с которыми желательно было бы выступить... Растроганным голосом, но отводя взор в сторону, Бирилев сказал:

— Дело не в дивизионе, ясно: я неугоден им. Эх, Сергей Федорыч! Конечно, уберут меня, сделают вас, любимого офицера, начальником дивизиона.

— Что вы, — оскорбленно запротестовал Шелехов, — что вы, Вадим Андреевич! — а у самого сердце преступно-радостно заскакало: а вдруг? Впрочем, только на секунду... К чему было опять обольщать себя по-мальчишески, если не выбрали даже попржнему в бригадный комитет, если забыли... Другие, не вешние текут времена.

— Конечно, я мог бы пойти к командующему, устроиться сейчас же, меня везде примут с удовольствием, но досадно: самолюбие, Сергей Федорыч!

Шелехов согласливо кивал. Он-то знал, что бывшему лейтенанту уже не устроиться, что паскудная будет жизнь с волчьим билетом... Но нарочно кивал — из стыдливой жалости, что ли? На прощанье благодарный и совсем одомашненный Бирилев, сняв со стены какое-то резное деревянное сооружение, похвастался перед Шелеховым:

— А я вот чем поправляю свое настроение в тяжелые минуты: видите, делаю полную модель «Витязя!» Киль уже готов вполне, вот тут подразумеваются шпангоуты... Как-то хорошо забываешься за этим!

Он объяснял любовно, какие и где появятся подробности: лебедочки, трапики, выстрела, шлюпочки... На память о годах войны и о совместной службе с Сергей Федорычем он потом повесит «Витязя» в своем кабинете. А Сергей Федорыч будет где-нибудь греметь по уче-

ной специальности, о, он ведь умница — я в глаза не люблю хвалить, но — умница! И, должно быть, модель «Витязя», висящая над столом, сопрягалась в мыслях Бирилева с каким-то светлеющим издали, спокойным и ладным, как встарь, временем: под окном тихая травяная улица, на Приморском гуляют барышни в белом, по асфальту печатают шаг ревностные, радостные стараться матросы. То видно было по размягченно-мечтательному его взору... А на Шелехова — странно — потянуло вдруг той же опротивелой, сонливой запертостью, которой тюремно дышал две недели на «Витязе»... встать бы, расправиться, до стона хрустнуть всем засидевшимся телом!

...Вопреки невеселым ожиданиям Бирилева дело его разрешилось без особых потрясений. Кузубов сам, без всякой просьбы, выступил первый, когда матросня, в шапках и бушлатах, навалилась с ветра на бархатные диваны (Шелехов с Бирилевым, слушавшие через раскрытую дверь каюты, узнали его голос — уверенный, с весельцой). — За ним мы везде пойдем! — нахваливал он опытность Бирилева. — Наше минное дело такое, чтоб по ниточке; а их, мин-то, насыпано, чисто арбузов на баштане!

И, наверно, счудил что-нибудь подслеповатым, хитро-простаковским ликом, потому что сборище обломилось шумным смехом.

Еще один неизвестный, хмуристый голос высказывался так:

— Нет, офицеров не надо нам выбрасывать. Мы этим только приготовим палку для себя, потому что такие пойдут потом к Каледину. Их надо или на Малахов, или оставить служить; а если нет места, — дать им место.

Кто-то спросил недовольно, в роде Хрущ.

— При чем вы, братишка, про Малахов?

— Да надо про это напоминать почаще. Не напоминать — забываться опять, пожалуй, будут.

Против не выступил никто; резолюцию—чтоб оставить начальника на прежней должности—приняли единогласно (Хрущ тотчас же, торжествуя, помчался с этой резолюцией на «Качу»). Бирилев вышел к матросам, благодарил их сухим, соскакивающим на команду голосом. И пальцы его терзали поля фуражки, зажатой в руке... Шелехов дивился на его ссохшееся, сжавшееся в узкую дыньку лицо...

А еще через час, через какой-нибудь час в том же салоне перед Бирилевым стоял на вытяжку побледневший Лобович, срочно вызванный с «Трувора» семафором. «Трувор», оказывается, принимал вооруженный десант, чтобы отправиться спешно в Евпаторию,— Бирилева случайно осведомил об этом капитан Пачульский.

— Странно, очень странно, господин командир. Я—ваш непосредственный начальник и узнаю подобную новость из частного разговора. Кажется, директиву о походе первый должен знать я, а не вы. Слава богу, меня еще не выбросили за борт!

Лобович почтительно и мягко возражал, что все зависело от ревкома, а не от него: приказали быть «Трувору» на первом положении, он исполняет... Лобович должен был отступить, увидев перед собой багровое, рыдающее лицо бывшего лейтенанта.

— Прошу,—визгнул на него в упор Бирилев и задохнулся.— Понимаю, когда... матросы! Но когда офицеры... плюют на дисциплину, роняют сами достоинство... к матери... к матери! Это не служба, господин Лобович, не служ-ба-с. Это... мать... мать...

Шелехов, удрученный, удалился на палубу. Над рейдом тяготел десятый или одиннадцатый день тишины с мокрым, быстро стаявшим с черных, туманных нагорий снегом, с раздражительной сыростью и странным, тепловатым ветром. Погода, рождавшая тоскливые и пья-

ные позывы... Может быть, воспользоваться тишиной, демобилизоваться и уехать на север? Что могло еще приковывать его, пасынка, к флоту? И откуда и зачем эта нелепая, глухая ревность, когда он смотрит, например, на дымящий неподалеку «Трувор», на крутящуюся подле него золотоголовую толпу черноморцев, волокущих по сходне пулеметы, зарядные ящики, живых быков?.. Это—Лобович взойдет на мостик и двинет грозное дело этих людей в море...

Бирилев сидел один в своей каюте, писал что-то—для виду, вероятно, положив ладонь себе на лоб.

— Давайте, что есть на подпись,—попросил он хрипловатым, свернувшимся голосом,—ни завтра, ни послезавтра, наверно, не приду. Нервы, знаете...—добавил он виновато.

...Но пришел той же ночью, необычно переряженный—в штатском пальто и какой-то кургузой шляпчонке, похожей на женскую. Криво улыбаясь, явился в дверях матросской каюты.

— В дровянике у себя только-что целый час промерз... Стучат в парадное; я сразу сметил, что неладно... Задним ходом в сарай, встал за дрова, стоял там, пока в доме вверх дном ворошили. Потом сюда... На дороге двое уже лежат... как-будто артиллерийские. Да, господа, времена.

* * *

И те же железные судороги за бортами, те же поздние огни, что и десять ночей назад...

Как-будто одна длилась ночь...

На столе в салоне опять кипел самовар, налаженный Игнат Васильичем,—так Бирилев звал теперь Хруща, и сидели за стаканами чинные, как в гостях, матросы, и Бирилев угощал их шоколадом из кружевной коробки. И опять—как в ту первую тюремную ночь—щелкал крышкой золотых часов.

— Время раннее, господа,—десять. Спать не хотите?

— Ну-у,—вежливо запели матросы.

— Посидим, посудачим...

Только вот — другое:

Каяндин раздумчиво тянул папиросу из бирилевского портсигара.

— Мы, Вадим Андреевич, однако, хотели с вами поговорить. Вот на этот случай, как нынче. Нам-то ведь тоже демобилизация скоро выходит... надо по домам, пожалуй, скоро собираться.

Бирилев переменялся, суше стал с лица.

— Кому же выходит демобилизация?

— Мне вот... Кузубову, Хрущу... Васька-то послужит, он еще серый.

Бирилев постукивал пальцем по столу. Наверно, и у него эта новость заставила сжаться сердце. Или у вымуштрованного, крепко держащего себя в руках лейтенанта и чувства совсем другие.

Но ведь изменяла, уходила последняя защита...

— Кузубов с Хрущом вон даже в отряд ладят, скучно им. Наш Кузубов—не слышали, Вадим Андреевич?—на вокзал все ходит, площадку бронзовую помогает настраивать. Вот работает наш Кузубов, любота!

Каяндин рассказывал с явным насмехательством. Только над кем? Может, офицеров подтравливал нарочно?

Бирилев сказал:

— Я считаю все же, господа, демобилизоваться вам до весны нет смысла. На севере зима, неустроенность... да и на поезде измо-

таетесь, вряд ли доедете целыми... Вы бы до весны погодили. Тем более, по новому приказу, кто из демобилизованных остается добровольно, оклад до двухсот рублей.

— А что, ребята, вправду,—поддержал его Хрущ,—останёмся до весны, засолим каждый по тыщонке. Для дома... У нас такой разговор был, Вадим Андреевич.

— Вот, вот. Между прочим, я думаю предложить насчет Каяндина, чтобы его произвели в ревизоры. У нас по дивизиону вакансия полагается по штату. Теперь офицерских чинов нет, все равны... почему не повысить достойного матроса!

Из Опанасенки полилось солнце.

— Ого, Каяндин... достиг!

Каяндин застенчиво—даже и его прошибло!—опустив ресницы, чертил карандашом по столу.

— И насчет других — мы там посмотрим. Вообще, господа, могу похвалиться, что я подобрал к себе в штаб самых способных, самых развитых. А почему бы вам всем когда-нибудь не зайти ко мне на квартиру вечером? Почаевничали бы, у меня спиртишко где-то был. Игнат Василич! Наладьте-ка общий сбор, так денька через три, а?

Бирилев выпрямился и прислушался. Конечно, он не трусил, он держал голову на очень изящном повороте. Но кто это там проботал по палубе с трапа—трое или четверо?

— Из наших кто-нибудь,—подсказал Кузубов.

— Да, несомненно, из наших,—согласился убежденно Бирилев. — Чужие сюда, конечно, вломиться не посмеют.

Хрущ принял воинственный вид.

— А если бы и посмели... мы бы их... Позвали бы сейчас ребят с трюма...

— Так. По-моему, спать еще рано, господа. Я бы предложил какую-нибудь игру с движениями: посмеемся, повеселимся. Знаете, например: «море волнуется»?

«Море волнуется»... В нищенском чемодане воспоминаний хранились у Шелехова кое-какие интересные разноцветные лоскутки. Была сирота, гимназистка панна Зося. Ее взяла в приемыши жена миллионера-фабриканта, владелица баснословного особняка за вьюжной заставой, за Невой. Однажды, когда фабрикант с женой уехали за границу, панна Зося позвала к себе в гости знакомых бедноватых студентов, в роде Шелехова, они пили в особняке водку, и в огромной полутемной гостиной танцевали под граммофон с Зосиными подружками. Впервые в жизни Шелехов увидел тогда зимний сад (дело было в январе), в этом зимнем стеклянном саду цвели камелии,—и эти цветы студент тоже видел в первый раз в жизни, раньше знал о них только по заглавию романа—«Дама с камелиями», а в тропической листве, на дне сада, сиял круглый каменный бассейн с водой. Кажется, больше всех в тот вечер нравилась ему панна Елена, тоненькая, миловидная попрыгунья, похожая на козу, с карими хитрыми глазами. И он завел ее за камелии и там целовал эту дочку подозрительного страхового агента и гешефтмахера, эту податливую девочку, которая через год-два будет улавливать для себя женихов, поцеловал только для того, чтобы запомнить, оставить на себе след этого зимнего сада, чтобы сказать себе когда-нибудь: «а ведь я целовался когда-то в зимнем саду, в кустах камелий...» Зачем так было нужно, он не знал, но тогда пытался даже писать об этом стихи.

Матросы носили табуреты и стулья из кают. Бирилев громко шепнул Шелехову на ухо, так громко, что слышал невзначай проходивший мимо Каяндин:

— Удивительно симпатичные ребята у нас, Сергей Федорыч, прямо на редкость, и как с ними отдыхаешь!

Матросы усаживались на стулья с препирательствами и зубо-скальством. Кто-то прибавил свету, отчего стала возбужденнее и глубже ночь и словно нависла со всех сторон одуряющая призрачность камелий... Бирилев хлопотал, усаживал. Кто за даму? Ну... вот Василий Николаевич хотя бы (то-есть Васька Чернышев!), Кузубов, Игнат Василич... Шелехов глядел внимательно на лейтенанта, чья движения его околдовывали. Это был не сегодняшней Бирилев, два часа простоявший в дровянике, и это были не матросы.

Игра начиналась.

— Господа, приготовьтесь: я кричу!

Откуда появился у него такой голос, похожий на бархатное воркованье? Лейтенант забылся, может быть... зеркала, недвижимым вихрем хороводящие вокруг, перенесли его в другие комнаты, пронизанные пчелиным гудением музыки, звенением стекла, блеском голых плеч, сановитостью пушистых, на-двое, по-скобелевски расчесанных бород, прикрывающих красный крестик под горлом, как у адмирала Кетрица... Конечно, лейтенанта, внучатного племянника морского министра, этого льва с блестящей фамилией и будущностью, принимали в лучших гостиных. Какие, должно быть, прекрасные там были панны Елены! И он умел во-время наклониться, сказать воркующим, сухим шопотом ей, панне Елене, опахивающей его цветковыми, послушными глазами...

О, играли очень весело, несмотря на то, что двое лежали уже на дороге,—кажется, артиллеристы?—и даже Васька порозовел, похорошел, как панна Елена, разошелся во-всю. С него полагался фант за промах, и парень, порывшись в карманах, не нашел ничего, кроме частого гребешка для вычесывания вшей. Впрочем, это нисколько не запретило Бирилеву: он уложил гребешок рядом со своим золотым портсигаром в фуражку, поощрительно показав Ваське улыбочивые зубы. Бирилев был душой всего этого веселого беснованья. Конечно, никаких матросов не было. Душистые платья, кружась, летали за спиной; спустилась бальная, прогрущенная музыкой мгла.

Кузубов, с завязанными глазами, выкрикивал фанты.

— Этому... ну, скричать кочетом, ха-ха-ха!

— Этому... слетать на бак!

— Этому...

Кузубов, обычно весьма почтительный, от веселья ударился даже в озорство.

— ...поцеловаться с начальником!

Грохнул хохот, Каяндин танцевал гопака, оркестр на хорах безумствовал.

— Ваське! Ваське! Ваське!

Чернышев обвис, словно облитый водой, несчастно щерился. Когда потащили к Бирилеву, утер губы об локоть.

От дверей глазел, скособочась, Агапов, хмылился; наверно, ждал, когда можно улучшить минутку, брякнуть, сколько еще прибавилось на улицах к тем, двоим,—повеселиться.

Шелехов отправился выполнять свой фант—это ему досталось слетать до бака. Темноликие, покуривающие рассказывали на палубе про город: «Собрание накрыли... буржуи все севастопольские собрались, члены управы, гласные там... План составляли за Каледина, за Миколашку. Так в шубах на мостовой и валяются, шубы на енотовом меху...» Фантастические огоньки и звезды качала, несла под бортами таинственная вода. Из тьмы вытряхивались далекие, приглушенные

грохоты. Но они уже не содрогали тревогой,—они вызывали желание злобно выпрямиться и так, выпрямленно и злобно, не сгибаясь и не прячась, пройти через эту опаляющую ночь. Терять уж как-будто было нечего... Он знал все это в жизни—голодные улицы, с серым хлебом, талый снег, ледящей сыростью пробирающийся к голой ноге, в башмак... И Жека—тут нашлись великопнее и сильнее его. Те самые, что жили всегда по ту сторону недоступных, камелиевых, бально-сияющих окон, в одном мире с трупной, расчесанной на-двое бородой Кетрица... Ага, он уже был на краю — какого злобного и порывистого освобождения!

В темной каюте споткнулся о чье-то мягкое, большое тело.

— Это я, Сергей Федорыч... Бирилев... не пугайтесь...

Сильные, судорожные пальцы, как бы роднясь с ним, сжали ему локоть.

— Сергей Федорыч... если бы не семья, честное слово... застрелился бы сейчас, тут же на корабле...

Отпихнуть бы его, шагнуть за него, за тот край.

(Окончание следует)

Заштатная республика

Роман

П. СЛЕТОВ

(Продолжение ¹⁾)

XXV

Поздний вечер скрыл от Аркаши постройки и порядок их в Покровском монастыре. Ночь он провел в горнице одной из келий. Утром, проснувшись на высокой, мягкой, обильной подушками всяких размеров кровати, он встретил все те же знакомые уже литографии, но было и новшество—портреты архиерея и викарного епископа. Вся горница была невелика размерами, много беднее, чем номера вчерашней гостиницы, сплошь украшенная рукоделиями монашек. Опрятные половички по некрашеному изумительной чистоты полу прокладывали дорожки от кровати к рукомоинику, от красного угла к комодам. Едва Аркаша пошевелился, как из-за двери женский голос спросил, можно ли давать чай, и вскоре на столе уже стоял самовар, мед, молочник со сливками, румяные свежие пышки и своей выделки сыр. Аркаша позавтракал и, как господь бог в первый день творения, увидел, «что это — хорошо».

Монашенка лет тридцати пяти обслуживала Аркашу совершенно бесшумно. Безличным был ее голос, безличными были все движения. Нельзя бы и выдумать более незаметной поступи. На пожелтевшем от постных дум лице ее робко вспыхивал испуганный вопрос только тогда, когда, не дослышав, она глазами переспрашивала говорившего. За чаем Аркаша не мог воздержаться от того, чтобы придумать для себя историю ее послуха, и спросил он ее, верно ли придумал, то оказалось бы, что почти верно, что почти так и было.

Была тогда мать Евпраксия еще Евдокией, то-есть Авдотьей, а попросту Дуняшей. Было ей шестнадцать, славилась она робким нравом. Но раз по осени, когда в большом саду скопидомного, злобного и бессонного старика дяди Клима яблоки налились, как детские прохладные щеки, и пригибали ветки к самой земле, что невозможно было пройти мимо не сорвав, прогоняла Дуня с подругой рано утром коров на выгон. Озорна была подруга, глаза были вороватые, темные. «Пойдем, — говорит, — Дуняшка, по яблоки, забор-то ни-изкай... Дядя Клим-то еще, должно, сопаткой играет...» Дуня робела, но подруга уже была за забором, — как оставить ее в баловстве? Дядя Клим за такие дела ребятам драл уши до крови. «Обожди, Манька, не ходи-и... — говорила Дуняша, — он тебя стренит, дядя Клим-то... он тебя тады...» А сама между тем шла следом за Манькой, стараясь удержать ее за подол. Но на траве лежали опавшие за ночь яблоки, Манька рвалась вперед к ним и, нагнувшись, велела: «Дунька, держи подол, а то неспособно». Робкая Дуняша не могла пережить, так и пошли они потихоньку вперед по росистой траве, ища глазами желтые и розовые, и лиловатые снежки яблок.

¹⁾ См. «Новый Мир», кн. 7, 8—9 и 10 с. г.

Вдруг затрещали ветви...

— Дунька, бежим, — крикнула Манька, роняя яблоки. — Дядя Клим идет.

И бросилась прочь. Но пугливая Дуня замерла неподвижно, прижимая подол к животу...

Дядя Клим стоял перед ней, тряся клюкой, и что-то говорил скрипучим голосом. Дуняша плохо понимала его. Но стал Клим кричать, и — заметалась девонька: то ли страм тутю же принять, то ли не оберешься его после от сплетен, от пересудов. А дойдут те сплетни до отца непременно, отца же боялась Дуня хуже бога, — шкуру вожжами спустит.

А старик стоит и этак ласково:

— Ну, как же, красавица? — и только нос у него покраснел. — Ну, как же, Дуняшенька? Их, яблонек-то, тридцать две, садочек махонькой... Да я не неволю, как хошь. Но гряха от мене быть не может, я ж старик, ты ж понимаешь... А поклонись ты яблоньке кажной всего лезок. Да тутю жа и исподницу с задницы приподы-мешь, а я-то легонько и стегану: не воруй, красавица Дунюшка, яблоки чужи... А не хошь — так отпушу. Иди... Только уж не взыщи, молчать не обяжуся. К отцу твоему не пойду, а так, при случае осведомлю...

Молчала Дуняша, пунцовая, потупившись.

— Ты сколько их набрала-то? То-то жа, с десятков, все скрижапель, анис да антоновка. Да ты не бось: поклонись — не возьму, кушай на здоровье. И — молчок по гроб жизни. Не хошь? Ну, тогда выспай, девонька, яблочки... Иди...

И решилась Дуняша. Зажмурих изо всех сил глаза, подняла она подол и, перекрестившись, поклонилась в пояс первой яблоне. Тут же не больно стеганул дядя Клим яблоневой веткой, сказавши только:

— Пониже, Дуняша, у бога прощения просишь!..

От строгих слов тех стало Дуняше вдвое бодрее. Ко второй, а там и к следующим яблоням подходила она легко, завернув юбки в пояс, крестилась и низко кланялась, стройные ноги ее, пыльные в ступнях, поднимались вверх серебряными, позолоченными побегами. Так насчитала она с дюжину яблонь, но тут что-то стал отставать дядя Клим, что-то стал дышать тяжело. Оглянулась Дуня и охнула: лицо старика было синим, неживым, нижняя челюсть отвалилась, губа повисла, через грязную седину бородки свесилась вниз густая слюна, а глаза готовы были лопнуть от мутного старческого хмеля... Завизжала Дуня что было мочи и кинулась куда глаза глядят.

С тех пор не знала она покоя. В каждом лице чудилась ей старикова тошная улыбка, каждый рот, казалось, раскроется, и потечет слюна. Замаливала Дуня грех, ходила в монастырь Покрова — понравилось ей, понадеялась тут, за высокими стенами, скрыть свой испуг. С годами пожелтела лицом, а все была в послухе, в служках, даже постриг от робости не смела принять...

«Да, — думал Аркаша, — а должно быть, была недурна лицом...»

— Нельзя ли мне мать игуменью повидать? — спросил он.

Монахиня что-то прошептала и исчезла. Вернулась она с известием, что маць игуменья, отстояв раннюю, осталась у поздней по случаю престольного праздника. Аркаша попал в день святого одного из второстепенных престолов, ему предстояло в ожидании возвращения игуменьи убить по крайней мере полтора часа. Он решил это время отдать прогулке, опохмелиться свежим воздухом.

Выйдя из кельи, Аркаша очутился в лабиринте совершенно подобных домиков. Крохотные деревянные постройки были окружены узенькими цветочными грядками, обведенными кантом беленых кирпичей, и отделялись друг от друга чистенькими дорожками. Все это место скорее производило впечатление пасеки, пчельника, чем скопища человеческих жилищ. Черные пчелы-монахини бесшумно выходили из дверей своих ульев, подобных леткам ульев, были медоточивы в тихих речах, инстинктивно, слепо трудолюбивы и во всем покорны матке — игуменье.

Весь городок этих келий был замкнут между монастырской стеной и боковыми приделами храмов. Когда Аркаша подходил к собору, из дверей и открытых зарешеченных окон вырывалось пение женского хора. Аркаша надумал уйти внутрь, но народ, теснившийся на паперти, испугал его предчувствием духоты, пропитанной запахом сапог, — он свернул и вышел на площадь, по которой двигались группы нарядных девок, праздничных мужиков и баб, бойко торговала монастырская лавочка крестиками, иконками, литографиями, и на все голоса распевали нищие. Среди этих нищих внимание Аркаши привлекла пара, расположившаяся около одной из старых могильных плит: коренастый мужик с рыжей бородой и отвратительно вывернутыми, рассеченными губами сидел на земле перед деревянным лукошком для подаяния, он непрерывно дергался всеми своими членами и покачивался туловищем. Рядом с ним стояла совершенно здоровая женщина и зазывала народ:

— Матере вы наши родные, братие вы наши! Вогляните на этого трудного, несчастного больного. Что от детских лет и по сие время! И подумайте, как трудно и как страшно такой трясьюбой трястись! И не может он своими рученьками попить-поесть! И не может он своими рученьками обуться и одеться, ни умыться-перекреститься! Матере вы наши, братья родные! Подумайте, как трудно с чужих рук страдать-кормиться и положьте во имя господне отщедрот своих...

Проходившие богомольцы накидали смятых бумажек, заменявших тогда медяки, но мимоходом то-и-дело задевали ногами лукошко. Наконец, зазевавшаяся баба чуть не перевернула его. Нищий заволновался, потянулся к нему и неловким движением рассыпал все деньги. Спутница его нагнулась, стала собирать, и Аркаша заметил, что она что-то говорила нищему, указывая на щеголиху-бабу, лузгавшую невдалеке подсолнухи. Нищий порывисто и глухо засмеялся, прервав свою вечную тряску.

Аркаша страшно удивился этому смеху. Он вспомнил почему-то о компрачикосах. «Нет, — решил он, — у нас до этого не додумаются. У нас уроды фабрикуются совершенно естественно: вернется ночью пьяный отец и, шутки ради, окатит спящего ребенка ковшом холодной воды. Вот и начало трясучки. А уж довершит ее тот сапожник, к которому отдаст отец сына на побегушки лет с семи, — будет его отучать от подергиванья шпандырем, да чтобы понятнее было и проще вошло в сознание — по голове. Только вряд ли даже половина этих нищих больна на самом деле. К чему это нужно, когда и притворству верят? Дыбовицкий сказал бы, конечно, что наши компрачикосы — это монастыри, а я бы и этому не поверил. Правда, дурачком, душевным уродцем быть выгодно; но зачем же быть им на самом деле, когда можно прикинуться, и поверят с большой охотой? Будь у меня пролетарское происхождение, так бы и сделал. Простите, мол, товарищи, я от несознательности уворовал деньги, темнота моя...»

В это время соборные колокола ударили по воздуху своими медными голосистыми боками, и паперти зачернели от толп выходивших из храма богомольцев. Вскоре показалась головка крестного хода, предшествуемого хоругвями, чистое высокое пение разлилось по площади, и толпы потянулись к монастырскому колодцу. Аркаша издали наблюдал крестный ход, рассматривая монашенок, каждой определяя возраст. Он переждал окончание молебна над колодцем и подошел тогда, когда богомольцы толпились, чтобы зачерпнуть свежесвященной водицы.

Группа женщин неслась на одеяле больного мальчика. Поняв, что ожидается чудо, Аркаша увязался за ними и стал свидетелем того, как мальчика развернули и совершенно раздели. Маленькое, синее и страшно худое тельце десятилетнего мальчика корчило в непрерывных судорогах, все суставы его рук и пальцев изгибались под прямым углом в сторону, противоположную обычному сгибу, полуоткрытые глаза были закачены кверху, виднелся только белок и край синеватого зрачка. Бабы толпились кругом и тупо смотрели на корчи ребенка с выражением какого-то жестокого вожделения — увидеть чудо.

— Не застудите, — произнес мужской рассудительный голос. — Вода в колодце холодная...

Град яростных возражений посыпался в ответ.

— Не в такой воде купали, — отвечала с весом женщина, спокойно и деловито переворачивая ребенка. — В Сарове купали, там и вовсе ледяная и то ничего... Мало в бога веруете.

Принесли ведро, полное воды, и окатили ребенка. Мальчик глухо урчал и скрежетал зубами.

— Живодеры вы, а не матери, — произнес тот же голос.

Аркаша оглянулся и увидел наверно недавно вернувшегося с фронта солдата с суровым обветренным лицом. Фронтвик встретил брань, снова посыпавшуюся на него из разъяренных бабьих глоток, спокойно, поглядел каждой в глаза, плюнул в сторону колодца, сказал:

— Погодите, все равно прихлопнем скоро эту подлость...

И отошел. Вслед ему кричали, бранились возмущенно и долго.

— Таперь не сцелится, — рассуждали бабы, — сглазил антихрист энтот. Ты, его, бабонька, еще разок обдай святой водицей-то, оно, может статься, с двух-то раз крепче будет. Али с трех — во имя отца и сына и святого духа...

На что уж был Аркаша в хорошем настроении, а и то отошел, чувствуя, что, чего доброго, сам начнет корчиться в конвульсиях. Он наскоро осмотрел монастырские скотные дворы, выглянул из боковых ворот на парники и огороды, за которыми виднелась пашка, зашел на минуту в маленькую литографию, выпускавшую лубочные картинки на библейские сюжеты и лаковые иконки на бумаге, на жести, прошел мимо ряда крепко замкнутых пудовыми замками кладовых и погребов, хранивших монастырское добро, и вышел, наконец, к главным воротам, находившимся под монастырской звонницей. С колокольни в это время только-что спустилась монашенка-звонарь. Она была в синих очках, и Аркаша не сразу заметил, что она слепа, но, идя ей навстречу, невольно почувствовал необходимость уступить дорогу, — так неуклонна была ее поступь, так несокрушимы движения клюки, которой нащупывала она дорогу. Лицом она была стара, но держалась прямо, плечи были мужские, вся фигура исполнена крепости. Она пронесла с собой ветерок холода, унесенного из переходов колокольни. Выйдя под солнце, она оста-

новилась, греясь, до смерти крепко вбивши в землю незрячие свои глаза. Аркаша наблюдал минуты две ее совершенно неподвижную позу, потом перевел глаза на каменные ступени, с которых только-что спустилась монахиня, увидел, что каждая плита известняка была с выемкой посредине, как подушка, примятая головой, подумал, сколько раз надо было подняться и спуститься по этим ступеням, чтобы так выдолбить их подошвами сапогов, подумал, как долбили ежедневно монастырские колокола своим ревом уши монахинь, и поневоле сравнил камень и нежную органическую ткань.

— Матушка, — окликнул он для проверки.

Монашенка не пошевелилась.

— Матушка! — крикнул Аркаша погромче.

Монашенка медленно повела головой и обратилась лицом к Аркаше.

— Давно ли вы, матушка, в звонарях состоите? — кричал Аркаша.

— А? Двадцать сёмой годок, касатик, двадцать сёмой... А ты чей сам-то будешь?

— Приезжий. Что ж слышите-то хорошо?

— Да, слава богу, хорошо, все, слава богу, слышу. Только вот слепа, ну, это уж с малости... До меня-то была монашенка, та на пятнадцатом году уж перестала, уж не стало у ей слуху, последние девять лет уж глухая звонила... Денечек хорошо. бог послал...

Монашенка расправила руки, вздохнула, слегка переменяла позу и опять застыла. Аркаша не нашел больше тем для разговора, да и она, видимо, не искала их. Он отошел тихонько, как отходят от сумасшедшего, который вдруг может впасть в буйство. Башенные часы просыпали очередной перезвон, Аркаша спохватился, что пора к игуменье и направился к лабиринту деревянных келий.

XXVI

В передней игуменских покоев его заставили подробно объяснить, кто он таков, — для доклада, а пока обождать. Аркаша объяснил, но обозлился, и так как ждать пришлось довольно долго, то он продолжал злиться и дал себе слово постоять за себя. Вернувшаяся служка привела его, наконец, в приемную — полутемную длинную комнату, сплошь заставленную лакированными рундуками по стенам и с длинным, узким столом посредине. Это была как бы игуменская домашняя трапезная.

— Скажите там товарищу игуменье, — сказал Аркаша резко, — чтобы она поторопилась. Мне некогда.

Служка ушла, опять оставила Аркашу одного и опять надолго. Аркаша раздумывал, не повернуть ли ему в знак протеста всю стоящую в комнате мебель вверх ногами, не разбить ли стеклянный колпак, под которым стояла на угольном столике резная деревянная модель монастырского собора, и встретил игуменью совершенно взбешенный. Она вошла в сопровождении матери казначейши.

Игуменья была высокой, дородной женщиной, несомненно, красивой в молодости, да и теперь не лишенной величия в своей черной шелковой рясе и фиолетовой скуфейке. Лицо ее было бледно, с доброй, несколько смущенной улыбкой. В нем чувствовалась слабость характера, и верно, среди разговора игуменья то-и-дело обращалась к казначейше, ища поддержки. Аркаша скоро понял, что игуменья не может шагу ступить самостоятельно, во всем советуясь со своей помощницей. Мать казначейша была невысока, в очках, с твердым

большим подбородком, с темными живыми глазами. На голове ее высился черный, подобный скоморошьему колпаку, опущенный плюшем клобук. Монахини поклонились Аркаше кивком головы и уселись за трапезный стол.

— Вы из уезда? — обратилась игуменья к Аркаше. — Что вам, угодно?

— Я из земельного комиссариата, — пояснил Аркаша. — Приехал я вот зачем: сейчас, как вы знаете, производится социализация земель. Монастыри, долгое время владевшие огромными земельными и лесными угодьями, в настоящее время лишаются своих земель, превышающих надельную подушную норму. Но все-таки во владении монастырей остаются участки, на которых есть возможность вести полное и интенсивное сельское хозяйство. О формах и методах ведения этого хозяйства я и приехал поговорить с вашими монахинями. Прошу немедленно собрать общее собрание.

— Так ведь мы отдали, что полагалось, — отвечала игуменья, тревожно посоветовавшись глазами с казначейшей.

— Да, у вас взяли, что полагалось, — отвечал Аркаша. — Но речь идет о том, что осталось.

— Ну, скажите ж нам, чего вы хотите, я ведь не против власти, что прикажут — исполню.

— Тут вашего согласия не требуется, а требуется постановление общего собрания монахинь вашего монастыря. Земельный комиссариат предлагает вам перейти на коммунальные формы землепользования.

— То-есть как вас понять, молодой человек? — вмешалась оторопелая казначейша.

— Вы перейдете в коммуну, — продолжал Аркаша, обращаясь попрежнему к игуменье, игнорируя казначейшу. — Все имущество, инвентарь, скот, весь урожай будет принадлежать всем. Распоряжаться будет общее собрание и выборные органы.

Монахини стали шептаться, Аркаша барабанил пальцами по столу, с удовольствием наблюдая их растерянность.

— Общее собрание, как вы говорите, а по нашему собор, сегодня собрать нельзя, — ответила, наконец, игуменья. — У нас престольный праздник.

— Это меня не касается, — твердо отвечал Аркаша. — Общее собрание следует собрать немедленно, я настаиваю на этом.

Монахини опять пошептались.

— Скажите, молодой человек, — вновь начала игуменья, — как же нам прикажут быть с чинами? У нас свои духовные чины, они не могут выбираться собором монастыря.

— Ваши духовные и церковные дела никого не интересуют, — отвечал Аркаша. — Вы можете оставаться игуменьей, или как там, а в коммуне выполнять обязанности скотницы.

— Вы, батюшка, рехнулись, — сказала с возмущением казначейша. — Чтоб мать игуменью да в скотницы! Она, чай, рукоположена.

— Я вас не спрашиваю, — отрезал Аркаша, — а спрошу общее собрание. Может быть, они выберут мать игуменью председателем коммуны... Но я прошу времени не терять и сейчас же принять меры к сбору монахинь, потому что, если за монастырем сохранены некоторые земли, то это не значит, что так они за ним и останутся в случае вашего упорства. И прошу меня не заставлять обращаться к монахиням через вашу голову.

Твердость собственного поведения решительно увлекала Аркашу.

После длительного совещания с казначейшей игуменьи изъявила наконец, согласие на то, чтобы собор был назначен немедленно, но выторговала присутствие только половины монашенок, мотивируя занятостью другой половины неотложной работой на скотном дворе и на дальних монастырских угодиях. Аркаша торжествовал, его напористость принесла плоды.

Пока посланная служка обегала кельи монашек, завязался незначительный разговор, быстро смолкший. Отношения оставались явно враждебными. Вскоре двери заскрипели, и в приемную вошла первая участница общего собрания. Это была в три погибели соборная годами схимонахиня. Она подошла к благословию игуменьи, в пояс поклонилась Аркаше и уселась безмолвно за стол. За ней вошла вторая, лет на пять постарше, с длинным посохом в руках. За ней третья, а там и две вместе, все подходили к ручке игуменьи и занимали места в порядке, не показавшемся Аркаше случайным. Видимо, строго определен был чин и старшинство каждой пришедшей. Подсчитывая сумму лет собравшихся, Аркаша быстро перемахнул за тысячу, а было их пока не больше дюжины. Нельзя себе было представить, из каких погребов, щелей, гробов вылезали эти потусторонние тени. Клобуки их мрачно свешивались вперед своими гребнями, похожими на гребни небывалых чернокровых петухов, запах могильного тления, казалось, разносился в воздухе вместе с легким запахом ладана и воскового чада, лиц не было, был пергамент и мощи. Садясь, все застывали в безмолвии и неподвижности. На Аркашу повеяло мистическим ужасом.

«Не хотел бы я быть членом такой коммуны, — подумал он, — неужели никого нет помоложе? Они нарочно, чорт побери, прячут молодёжь».

— Скоро ли соберутся? — спросил он у игуменьи. — Нельзя ли поторопить?

— Почти все собрались, — отвечала та, — только двоих поджидаем.

— Как? — вскричал Аркаша. — У вас всего полтора ста монахинь, половина — это семьдесят пять, где же остальные? Здесь не больше пятнадцати-двадцати.

— Кто заболел, кто на деревню пошел, кто на молитве, — отвечала игуменья. — Больше никого невозможно собрать.

Аркаша серьезно колебался — не отказаться ли от такого собрания, загнув матросское словцо, но в голове мелькнул месячный отчет в губернию: «...проведено общее собрание такое-то и такое-то, постановлено то-то...» — скрипнув зубами, он произнес:

— Это собрание не полномочно решать монастырские дела, нет кворума. Но все равно, если даже наберется пять человек желающих — и то хватит для коммуны. И тем хуже для остальных... Выберите председателя собрания.

— Какого председателя? — не понимала игуменья. — Уж вы нами и управляйте, молодой человек.

— Я не молодой человек, а товарищ инструктор. И председателем я не могу быть, я — докладчик. Выберите из своей среды.

Монахини были совершенно сбиты с толку. Посовещались, пошелестели голосами, какая-то побойчее с дальнего конца стола произнесла:

— Кому ж быть, кроме матери игуменьи...

— Возражений нет? — подхватил Аркаша, чтобы прекратить это топтание на месте.

Игуменья стала председательствующей. Аркаша настоял на вы-

борах секретаря — выбор пал на мать казначейшу, надписал чистый лист бумаги: «Протокол общего собрания трудящихся монастыря Покрова Богородицы...», вручил лист казначейше и подсказал:

— Товарищ председатель, объявляйте собрание открытым.

— Сестры во Христе, — сказала игуменья дрожащим голосом, — послушайте, что нам скажет представитель властей насчет нового распоряжения...

— Я — инструктор по социализации, — начал Аркаша, махнув рукой на вступление игуменьи, — моя фамилия Пальчиков. Я буду сейчас докладывать...

Об этом общем собрании у монашенок сохранилось следующая легенда:

— Матери-то у длинного стола трапезного сидючи, глазыньки от дьяволовой напасти, от образа его паскудного (в Аркаше воплотившегося) под стол, под скатерть ковровую, под дорожки половиковые позакапывали. Рученьки сердятся, рученьки трепещутся, лики же благодатные поповели...

Мать игуменья, в образах сидя, молитвы творит — молитвы те еще мать Екатерина, в кои-то годы со слезами тишайшими к Пречистой отходя, монастырю преподала.

Мать же Екатерина в борениях с сатаной большую силу божьей милостью выносила, когда, тридцать пятым годом одолеваемая, почуяла она в кровях бунт, вздуваемый дьяволом. Тогда же, горя, в посту, в сухоядении, в жажде металась мать Екатерина в подвале монастырском башенном, куда ее, по ее же молению, заперли. И так было до того часа, как оценилась она тремя щенками. В стыде, в муках, — увы ей! — в посрамлении дьявольском молилась тогда мать Екатерина своими, забывши молитвенные, словесами:

«Враг, сатана, падший духом, отгонись от мене в пустыни земные, в леса дремучие, в пропасти нездешние, в трясины лихие, идеже не пресекает свет лица божья! Дух преподлый, враг сатана! Отженись от мене, отступись от мене в моря скорби, в места плача, в юдоль скрежета зубовна, идеже не пресекает свет лица господня! Рожа окаянная, изыди от мене в тартарары, изыди от мене, окаянная рожа, в ад кромешный, и к тому уже не униди! Аминь! Аминь! Аминь! Глаголю тебе, рассыпья, растрекляте, растрепогане, растреокояние! Дею на тебя и плюю!»

Тогда, раздувшись, испустив зловоние удушающее, непристойными криками огласив подвал монастырский башенный, сгнули те щенята дьяволы в смердящем дыму, оставив по себе на плите каменной щепоть желтого табака. Той был сожжен самой матерью Екатериной, восставшей и принесшей огонь от неугасимой. И муки ее и искушение стали во благо, дав монастырю ту молитву...

И только лишь сотворила ее мать игуменья на соборе в сердце своем, только лишь плюнула трижды под стол — осекся тут комиссар (Аркаша Пальчиков), закатил глаза, дым пошел из ноздрей, всего обволок, так что уж и не видать его стало: одно слышать — визги щенят, плачи люциферовы, запахи табачные. Разошелся дым — сгинул сатана, в комиссарском облике украшавшийся. Тут же окропили святой водой, семь ден молебн служили, тем и кончился собор на престольный праздник.

На самом же деле Аркаша после короткого вступления прочел примерный устав артели и предложил обсудить его по пунктам, пробрасывая типовые и останавливаясь на главном. Предложение было принято, а дальше все пошло как по маслу. Что бы Аркаша ни предложил — все принималось с легкостью, изумлявшей его самого. Он

придумал коммуне название «Красный Колокол», успешно разрешил все пункты, касавшиеся паевого и основного капитала, убедил даже монахинь в том, что не будет ничего предосудительного, если они припомнят свои мирские имена для занесения в списки инициаторов коммуны, и не прошло часа, как протокол был вчерне готов, — само собой разумеется, что диктовал его Аркаша, — наступило время подписаться под протоколом.

— Что ж теперь, значит, уж не отымут земельки-то? — спросила мать игуменья, обмакивая перо и подавая его игуменье. — А, господин инструктор? Вы меня простите, я вас все господином, — язык у меня не поворачивается на товарища.

— Будете своим трудом обрабатывать, не отымут, — отвечал Аркаша, довольный результатами собрания.

Игуменья твердо расписалась почерком, стилизованным под славянскую вязь. Приложили руку и другие, после чего стали тут же расходиться с таким равнодушием, словно им случалось организовывать коммуны ежедневно. Ожидая переписываемой копии, Аркаша задержался.

— Не откушаете ли вы с нами обед? — обратилась к нему игуменья очень приветливым голосом.

— Благодарю, — отвечал Аркаша, не уловив момента, когда произошел перелом отношений. — Я предпочел бы у себя в комнате, где остановился. Да пора и ехать.

— Что же так скоро? Погостили бы у нас, отдохнули бы от трудов.

— Благодарствуйте, надо торопиться.

Игуменья жалела и была исполнена любезности, однако, у Аркаши имелись свои виды, он распрощался и отправился к себе. Но вслед за его приходом тотчас появились монахини с судками, и на столе задымилась налимья уха. Он сел за стол, развернул салфетку, скрывавшую что-то горячее; душистое, оказалось, что под ней рисовый пирог с визигой. Начав со стаканчика сладкого вина, Аркаша отдал честь первому, после чего появилось второе — карасики в сметане такой несказанной нежности, что косточки их были не жеще поджаристой корочки; затем следовала пара рябчиков, как объяснила служка, случайно купленных у охотников для Аркашиного обеда. Затем молодые жареные рыжики, хрустевшие ровно настолько, чтобы дать почувствовать, что их ешь, что они существуют не в мечтах, а в природе. Затем вареники с черникой, залитые сливками, присыпанные сахарной пудрой. И наконец — о, верх неожиданности! — пломбир с малиновым вареньем: Аркаша уписывал все это, приятно волнуясь. «В самом деле, — думал он, — не остаться ли здесь подольше? Чем я хуже других? Надо и о себе вспомнить...» Но тут пришло ему в голову последнее напутствие Семена Ивановича, его многозначительное «помни», и Аркаша почувствовал прилив гражданских добродетелей. «Ладно, — решил он, — подумаем о себе после. Лиха беда начало, а раз оно есть — будем продолжать в том же духе. Остальное приложится».

В Белоспаск Аркаша отбыл на следующее утро, весьма довольный поездкой, — при отъезде он нашел в тарантасе казан с тремя бутылками вина и наливки да глиняную глазированную банку сотового меда.

XXVII

Внимательный взгляд белоспаского старожила отметил бы, что после отъезда Семена Ивановича в городке произошли какие-то не-

уловимые изменения. Нельзя было указать ничего определенного, никто не хотел верить, что это, как говорили некоторые, — отклик на ранение Ленина. — Куда, возражали, уж Белоспасску до того, чтобы откликаться на события мирового значения. Но мелкие, незаметные подчас признаки создавали впечатление какого-то ожидания, предчувствия нового и даже глухой тревоги.

Делегаты уездного с'езда, закончившегося с таким под'емом, уже давно раз'ехались, исполком приступил к текущей работе: незаметно было, чтобы хоть что-нибудь изменилось в поведении комиссаров. Не слышно было и о каких-либо репрессиях, кроме арестов двух известных всему городу пьяниц, по которым, как все считали, давно плакали стены местной тюрьмы, никто не был задержан, а эти двое арестованных были пойманы с поличным при попытке взлома военного цейхгауза, и предполагалось, что задуманное воровство носило чисто уголовный характер. Эсеры притихли, выглядели пришибленно, поговаривали об их вступлении полным составом в партию большевиков, но считалось, что большевики будут принимать к себе с разбором. Власть была тверда, мужики продолжали возить на базар все, что возили обычно, мобилизация лошадей для формируемой где-то за тридевять земель Красной армии шла потихоньку, деньги за них выплачивались аккуратно, продукты до-рожали равномерно, привычно для обывателя, словом, все обстояло благополучно. И тем не менее не только старожилы, но и всякие юнцы чувствовали, что в воздухе чем-то пахнет, чем-то необычным и тревожным.

Так, например, спрашивали себя, какой смысл в этих постоянных митингах, среди местных дроворубов-сплавщиков и -кожевников, на которых выступали то новый военный комиссар Зискинд, то Хворов: Зискинда никто не знал, и считалось, что, быть может, таковы его методы управления военным комиссариатом. Пять-шесть бывших прапорщиков и поручиков, ходивших по Белоспасску в косоворотках, но в синих офицерских галифе с кантами, пожимали плечами и категорически заявляли, что если можно было разложить агитацией старую армию и довести страну до похабного мира, то смешно думать о создании новой армии с помощью той же агитации. Что же касается Хворова, то полагали, что делать ему все равно нечего, ибо дорог новых не строится, а в ожидании, пока проведут железнодорожную ветку на Лыксунские заводы и пока ветка эта пересечет уезд, ему, комиссару путей сообщения, остается утешаться по поводу своего провала на с'езде только на митингах.

Впрочем, среди местных бывших прапорщиков усиленно поговаривали об успешном продвижении Колчака, говорили о взятии Казани и о переходе чехо-словаков на левый берег Волги. Полагали весьма возможным появление белых армий в недельный срок в пределах Белоспасского уезда. Бывшие прапорщики многозначительно молчали, улыбались, вели себя скрытно, берегли на чердаках по-гоны.

Обыватели несколько пугливо отмечали падение дисциплины в отряде Палаткина: на улицах попадались пьяные красногвардейцы, по вечерам из казармы, занятой отрядом, раздавалось разухабистое пение. Однажды произошла поножовщина, окончившаяся пустяками, но тем не менее стало известно, что Палаткин посадил троих красногвардейцев под арест. Это падение дисциплины некоторые, стоявшие близко к комиссарским кругам, приписывали разлагающему влиянию Хворова и Зискинда, успевших и в отряде провести два-три митинга. С этим мнением соглашались бывшие прапорщики. Другие считали.

что красногвардейцы разлагаются от приближения колчаковских армий, а, завидя эти армии, боя не примут и сложат оружие без выстрела. С этим бывшие прапорщики тоже соглашались.

Среди мелких кожевенных заводчиков Белоспасска произошла некоторая паника по поводу взятия на учет всего кожевенного товара, но, впрочем, паника эта быстро улеглась после ужина у Митрофанова, на котором кожевники много говорили, не меньше пили и среди разговоров не раз поминали щопотом имя Агеева. К концу вечера все согласились на том, что нужно выпить за ныне царствующего, не называя его имени и опустив слово «благополучно». Домой не расходились в виду отмеченного хулиганства красногвардейцев и ночевали как попало — в сенцах, на полу, на сеновалах. Среди кожевенных грез отужинавших реяла хозяйская гордость — Шура Митрофанова, брезгливо-кокетливо прошедшая среди вечера под общими взглядами, для того чтобы чокнуться с отцом рюмкой смородиновой наливки.

Но центром общественного мнения, неиссякаемым источником слухов и твердых суждений белоспасского обывателя оставался, несомненно, салон Александры Петровны Бантышевич. Это была та самая жена исправника Бантышевича, чьей твердой рукой управлялся некогда Белоспасск, та самая любительница буль-де-гомов, которая воспрепятствовала в свое время составлению протокола о поругании Зинаидиною целомудрия пленными австрийцами. Супруг ее имел счастье ускользнуть от классовой мести, отправившись на тот свет за полгода до февральской революции, классовая месть обрушилась на преемника его и пока обошла скромный домик Александры Петровны, удовлетворившись лишением ее пенсии и вселением к ней выдворенной из своего дома старухи Мокроусовой. Но люди, знавшие близко прежние отношения двух этих дам, сочли своим долгом принести им поздравления по поводу как нельзя более удачного соединения. Да и не без оснований.

Мокроусова и Бантышевич были подругами детства. Когда-то у них были общие поклонники, они вышли в один год замуж, обе остались бездетны и сохранили самые приятельские отношения. Супружество разлучило их: муж Мокроусовой успешно увеличивал обороты своей бакалейной торговли в городе Аткарске, супруг Бантышевич делал карьеру станového пристава в Белоспасске, но это не мешало приятельницам ежегодно гостить друг у друга и досконально изучить семейные привычки далекой подруги.

— Сейчас Маланья кормит своего Аполлона квашеной капустой с грибочками, — говорила Александра Петровна своему супругу, встав поутру. — А он ее за талью хочет обнять, да никак не может, вообрази: не сходится, третий раз пояса распускает. А она рукой залезла ему за шиворот... А он все ежится, ежится... Простовата Маланья становится.

Мокроусова же, садясь вечером разливать чай, говаривала мужу:

— Александра, должно быть, уж отдохнула после обеда, должно быть, стражника заставила кровать перетряхивать, все клопов ищет. Вот боится! Стражник перетряхает, а она смотрит, как бы не пропустил... А сейчас, должно быть, уже села к зеркалу усы подстригать. Прет из нее волос.

Была у Александры Петровны непогрешимая, годами проверенная примета: если после затяжных летних жаров вдруг полили дожди — это значит, что Маланье Мокроусовой стало невмоготу и она сбросила панталоны. Если же дожди затягивались, исправничиха

применяла следующее средство: на длинную бумажку она выписывала фамилии сорока знакомых лысых. С особенным наслаждением проставлялись здесь дамские имена, потому что, может статься, для кого-нибудь и неясно, но ей, Александре Петровне, уж доподлинно известно, у кого из дам накладка, а у кого и целый парик. Бумажку с полным списком следовало разорвать на мелкие кусочки и выбросить за окно, после чего, как правило, дождь прекращался. Александра Петровна запомнила только один случай, когда средство это оказалось недействительным и для укрощения стихий пришлось прибегнуть к последней и необычайной мере. О ней говорил одно время весь Белоспасск, со слов начальника почтовой конторы. Она была «проста и гениальна, как все открытия», и представляла из себя телеграмму из трех слов, посланную в Аткарск на имя Мокроусовой: «Мать, надень штаны». Дожди, приводившие Белоспасск в отчаяние, немедленно прекратились.

Овдовев, Мокроусова переселилась в Белоспасск, поближе к приятельнице. И так далеко простиралось сходство гороскопов двух подруг, что в тот же год овдовела и Александра Петровна. Классовая мсть довершила их счастье, отняв у Мокроусовой дом для нужд военного комиссариата и вселив ее к Бантышевич. Теперь Александра Петровна стригла уже не только усы, но высоко поднятые для светскости брови и бороду на двойном подбородке, говорила она баском и курила. А Мокроусова стала снова понемногу перешивать платья, сужая их в поясах, брови она наводила тонкой черной чертой прямо на коже, за отсутствием волос, голос ее до сих пор оставался с такой же поволокой, как и глаза.

Салон открылся тем легче, что мадам Бантышевич была давней и общепризнанной законодательницей общественного мнения. Те, кто до того времени держались особняком, поняли, что переживаемые события заставляют, наконец, забыть о своих принципах и искать общности.

К давним завсегдатаям дома Александры Петровны — женам соборного протопопа, начальника почтового отделения, земского врача, директора женской гимназии — прибавились мелкопоместный захудалый князь Кугушев, родственник крупнопоместного, жившего за границей, помещик Федоров с супругой, кое-кто из преподавателей гимназии.

Общественность расцветала.

Салон чутко реагировал на все события, был осведомлен обо всем «из самых достоверных источников», и сам стал для Белоспасска «самым достоверным источником».

— Голубчик, слышали вы? — спрашивала баском Александра Петровна податного инспектора Модеста Антоновича. — Слышали, что Сенька-то наш разделявает? Неужели не слышали?.. В монастыре-то?

— Нет, ничего не слышал, — отвечал Модест Антонович и придвигался ближе.

— Да что вы? Где же вы витеаете? Ну, слушайте, я вам сейчас все расскажу... Ведь представьте себе, наш бедный Александр Сергеевич чуть живой оттуда вернулся. Его силой оружия держали там целую ночь и всячески издевались над ним. Вообразите себе: Сенька, какая-то девка из балагана, какой-то наглый субъект Пальчиков, поддельвающийся к большевикам, и несчастный Александр Сергеевич, попавший в эту небольшую, но теплую компанию, как кур во щи... Устраивается оргия. В двенадцать часов ночи дрожащего игумена — вы знаете этого чудного старичка — выхватывают из постели и за-

ставляют служить молебен, при этом невероятно кощунствуют... Девка бегаёт по собору совсем... совсем ню. Мужчины тоже раздвигаются к негодованию Александра Сергеевича и наливают во все лампы спирта. Зажигается жженка. Заставляют пить игумена; — ведь вы знаете, что у него больное сердце...

Рассказ длится добрый час.

— Что пикантнее всего, — заканчивает Александра Петровна, — это встреча, которую устроила своему муженьку Палашка. Он её боится, как огня, и заставил Сергея Александровича провожать его до самой спальни. Но вы думаете, это её удержало? Вы не знаете этой бабы. Она его встретила такой оплеухой, что даже у Сергея Александровича искры из глаз посыпались. Швырнула ему в рожу его портфель, и так он и уехал в губернию. Прямо позор. Ведь подумайте это начальник уезда!..

— Да, да, — отвечал Модест Антонович, стараясь отделить истину от вымысла и в конце концов решая, что это бесполезные усилия и что лучше поверить всему безраздельно. — Но знаете ли вы прискорбный факт, что наше духовенство тоже не без греха? Говорили ли вам об этом дьяконе Порфирии, который снял с себя сан и командует шайкой головорезов? Они заняли имение Трижевского, сожгли лесничество и теперь в Архангельской лесной даче нет ни прохода, ни проезда...

— Голубчик, вы ошибаетесь, мне все известно. Дьякон Порфирий — правая рука Агеева. Какой же здесь грех? Это наши Пересветы и Осляби. У них прямая связь с адмиралом Колчаком, я это наверно знаю, они получают инструкции непосредственно оттуда. Знатoki военного дела говорят, что не больше чем через месяц Москва будет взята... Вы слышали, что уже начинается поголовное избиение вожаков? Ленин при смерти. А Троцкий осажден бунтующими матросами...

— Да, да. Наши комиссары лихорадочно митингуют.

— Я это, голубчик, лучше вас знаю. Этот новый, Зискинд, бегаёт везде и всюду высунув язык, за ним Хворов, и только и делают, что устраивают всевозможные собрания.

— Милочка, — вставляет Мокроусова, поправляя шаль на своем неотцветающем, несмотря на годы, теле, — перед смертью не надышишься.

— Я того же мнения. Их никто не слушает. Но ты представь себе, что было бы, если бы в Белоспаске начался настоящий голод. Наши мужички разорвут их на кусочки. А голод надвигается.

— Вы слышали, что из Потьмы комиссары едва унесли ноги? В салоне Александры Петровны отмечался каждый подвиг Агеева. Рассказывали, что при недавнем ограблении почтового отделения в одной из дальних волостей Агеев отправил телеграмму по адресу уездного исполнительного комитета, в которой предлагал Белоспаску немедленно распустить отряд красногвардейцев и все советские учреждения, в противном случае грозил осадить город и расстрелять всех ослушников. Говорили о том, что в распоряжении Агеева имеется целый полк с пулеметами и артиллерией и что ему ничего не стоит выполнить свою угрозу, но что он ждет разрешения от штаба Колчака. Говорилось также и о том, что исполнительный комитет приказал всем монастырям в трехдневный срок превратиться в коммуны, а всем монахам вступить в партию большевиков; но что этому воспротивились эсеры и готовят втихомолку переворот, с помощью бомб и оружия, привезенного балаганом Аршалуйса из Москвы.

Особенно часто обсуждались личные отношения комиссаров — скрытая вражда Хворова и Семена Ивановича, позиция Палаткина и Дорофеева. Все были убеждены, что хотя Зискинд и стал заведывать военным комиссариатом, но скоро скажется его неспособность к этому делу и придется опять прибегнуть к помощи Дорофеева, а он, как человек гордый, откажется, и тогда все развалится окончательно, потому что у большевиков нет никого с военным образованием. Что касается увлечения Палаткина Соней Кругляковой, то самый факт знакомства «этой девчонки» с комиссаром считался таким несмыслаемым пятном позора на местной женской гимназии, что, встречая директора ее, испитого очкастого человека. Александра Петровна всякий раз только разводила руками, говоря:

— Ну, уж и воспита-али, уж и воспита-али, нечего сказать...

И лишь после этого подпускала сконфуженного педагога к ручке.

Все же многие слухи, обсуждавшиеся в салоне, были не лишены оснований. Колчак действительно наступал, Агеев со своей шайкой действительно совершал все более и более смелые налеты на помещичьи имения, увозя отсюда скот, и на сельские советские органы, проводившие решительнее других социализацию помещичьего инвентаря. Хворов и Зискинд действительно митинговали — на той окраине Белоспасска, что подходила к самой Мокше, на запустелом дворе большого лесного склада собирались небольшие толпы сплавщиков и кожевников. Приходили с женами и детишками, рассаживались на бревнах, говорили о том, почему в городе мало хлеба и как сделать, чтобы был. От этого вопроса переходили к другим, которым не было числа, но начинали и кончали все тем же — хлебом. К вечеру вернувшись домой потным и пыльным, Зискинд говаривал Хворову:

— Нет, какой же у вас тут пролетариат, разве это пролетариат? Что? У всех у них дом, корова, свиньи, куры, а если здесь нет, в городе, то в деревне надел. Тем хуже, он о деревне думает; пока есть кой-какая работенка — держится, а какое ему дело, как пойдет артель? Плохой материал, какой это к чорту материал... У них кулацкая психология.

— А ты Николку Смольцова забыл? — похрапывал в ответ Хворов. — А Глушков, а Сельденков?

— Да, но мало этого, — улыбнулся тогда Зискинд и переходил на разговор шопотом.

Зискинд поселился в номере Хворова, и разговоры шопотом облегчались близким расположением кроватей. Ни Чунников с тугим своим ухом, приникавший во время вечерних обходов к замочной скважине, ни сосед Трунов, державшийся особняком, не могли расслышать ничего, кроме торопливых придыханий Зискинда и коротких, отрывистых храпов Хворова. Но Палаткин, раньше часто захакивавший к ним, стал сторониться и избегать встреч, пока однажды не столкнулся с Хворовым в коридоре нос с носом.

— Ты что не зайдешь, Миша? — спросил тот, выметая сор из своей комнаты, куда перестал допускать к уборке Чунникова.

Палаткин, поглубев лицом больше обыкновенного, прошел как-то бочком и ответил отчужденно:

— Некогда.

Но потом вдруг повернулся и, стоя в дверях своего номера, добавил:

— Дядя Ваня, что я тебе скажу-то... Ты у меня в отряде больше собраний не устраивай. Ни к чему это. И Зискинду скажи... Обойдется.

— Вот тебе на! Почему же это обойдется? Ты забыл значит уговор?

— Потому. Никаких уговоров я не признаю. А только Семен Иванович — большевик из большевиков....

— Постой, постой, Миша... Ты зайди, мы поговорим.

— Нечего мне и разговаривать, я слышал кого нужно на съезде... Хватит.

Палаткин прикрыл за собой дверь, но тут же открыл ее снова.

— И на телеграф тебе бы с Зискиндом поменьше ходить, а то как бы провода не сработались от ваших телеграмм.

— А это уж не твоя забота, — возразил Хворов спокойно, — коли у тебя котелок не варит...

Последнее он добавил уже в пустоту, — Палаткин, не ожидая ответа, закрыл двери.

XXVIII

В доме Кругляковых день начинался рано. Продольный, погожий солнечный луч прежде всего попадал в голубятню, расположенную на чердаке. Тогда из слухового окна высыпали галантные, парадно воркующие голуби — краснопегие, чернопегие, сизые, белые, почтовые и турманы — вся драгоценная сокровищница Кости Круглякова, четырнадцатилетнего Сониного брата. Голуби кружили по крыше возле добродетельных голубок, пили утренние поцелуи, невысоко вспархивали и, наконец, спускались на двор, на землю, еще синеватую от отражения рассветного прохладного неба. На бегающих по двору голубей заспанными глазами посматривал цепной дворовый пес Осман. Длинношерстый и длинноухий, он сохранил от дальнего предка своего сен-бернара тяжелую меланхоличность взгляда и отвислые щеки, но приобрел от многочисленной дворовой русской родни мстительность с первых дней оскорбленного характера и недоверчивость к людской ласке. Своей хозяйкой Осман считал кормившую его Соню. Нежная дружба началась с того самого дня, как был он отбит ею в щенячьем возрасте у ватаги белоспасских мальчишек, вздумавшей пристроить к его хвосту целый поезд жестянок и употребившей с этой целью зажимку для белья.

— Стыдно вам, — сказала тогда Соня, сверкая слезами зеленых глаз, и причислила щенка к чину своих лучших друзей.

Вот почему Осман не считал началом дня появление на пороге Марии Егоровны, первой выходившей к корове, и продолжал следить за дверью. Корова отправлялась в стадо, выходили из курятника лангшаны и фавероли под присмотром чистивших свои шпоры петухов, иссиня-черным шаром, трехбунчужным пашей выкатывался индюк, шебура по пыли атрофированным крылом, выходил толстощекий Костя гонять голубей, а Сони все не было. Костя оглушительно спугивал голубей, брал длинную жердь с привязанной на конце тряпкой, махал ею, оглушительно свистал, вложив два пальца в рот, выбегал на улицу, возвращался, влезал на крышу, во все глаза смотрел на кувыркающихся в небе своих питомцев. Осман не мог понять его: как можно проявлять такой азарт и увлечение, когда хозяйка еще не вышла? Никто не догадался разъяснить Осману, что увлечение это — секрет зеленого отрочества, никому недоступный, непонятный. Как посвятить другого — скучного и серьезного — в это ни с чем несравнимое чувство, когда стоишь, словно вождь, посылая сигналы в синее поднебесье, и голуби, слыша жгутом

скрученный посвист, вдруг опрокидываются, сыплются, сверкают крыльями и снова взмывают вверх. Это — не совсем соколиная охота, хотя и не хуже.

Но вот, наконец, в дверях показывается потягивающаяся Соня. Осман прыгает на цепи и повизгивает, не веря своему счастью. Соня улыбается и еще раз потягивается.

Соседки не раз говаривали Соне:

— Потягушечки... Замуж тебе пора.

Но Соня знала, что тянется от прочитанной вчера на сон грядущий книжки, от поздно погашенного света, от медленно колыхающегося в воспоминании неразвеванного сна, наложившего радостный и нежный отпечаток на весь пришедший день. И первое ее движение бывало всегда одно — пожалеть о том, что заспала у этого чудесного дня лишние полчаса.

В это лето больше чем когда-нибудь Мария Егоровна боялась утомить Соню ранними вставаниями. Всегда очень молчаливая и терпимая к нуждам и прихотям детей, она считала, что в особенности теперь, после окончания дочерью гимназии, ей нужно отдохнуть, тем более, что Соня продолжала давать уроки. Кроме огорода, источником существования Кругляковых были: корова, чулочная машина Марии Егоровны да этот заработок Сони. И как ни сердилась Соня, мать наотрез отказалась ее будить.

В глубине души Мария Егоровна была очень озабочена будущим Сони. Московский голод делал совсем неосуществимой Сонину мечту об университете. Соня замолчала о ней, молчала и Мария Егоровна. Привычные представления женской судьбы наводили ее на мысль о замужестве, но мысль эта была запрятана так далеко, что ни за что не осмелилась бы Мария Егоровна признаться в ней никому, тем более Соне. Отношения к ней мужчин были исключены из плана серьезных разговоров, Мария Егоровна не находила даже возможным вдаваться в оценку Сониных знакомых. Так же относилась она и к политическим симпатиям детей, молчаливо присутствовала при спорах Сониных подруг о долге русской интеллигенции, безмолвно принимала рассказы дочери о белоспасских митингах и улыбалась запальчивому заявлению Кости, решившему посвятить свою жизнь борьбе за мировую революцию, если она не поспеет к моменту его совершеннолетия.

Все в этом маленьком доме казалось Палаткину образцом свободного и терпимого взгляда на жизнь. Казалось, что семейство Кругляковых, такое в сущности беспомощное, малосильное, является постоянным защитником, помощником в жизни. История Османа была в той или другой степени историей всякой живой твари на кругляковском дворе: корова была выпоена собственноручно Марией Егоровны из телочки, предназначенной кем-то к убою, голуби размножались на крыше от пары, нашедшей впервые в жестокую стужу приют у Кости и потом благодарно сообщавшей всем летучим знакомцам, что жить у Кругляковых — хорошо, свободно, просто, а котка — безобидная. Такая агитация вела к тому, что Костина голубятня быстро пополнялась иммигрантами. Мария Егоровна покачивала головой, но Костя ломающимся дискантом оправдывался:

— Ей богу, мамочка, я не виноват, они сами летят к нам, я их ничем не подманиваю.

Палаткин хорошо знал, какой труд нужно было вкладывать ежедневно, чтобы вся живность, существовавшая вокруг кругляковского домика, чувствовала себя привольно, чтобы вился этот плющ

по стенам беседки, чтобы цвели и зрели гряды овощей в маленьком огорожке при доме, кусты малины, смородины, жасмина, сирени, чтобы исправно содержался большой огород с картофелем и капустой на берегу Мокши. Его в особенности поражало сравнение с отношением к такому же труду в деревне. То, что часто считается крестьянами проклятием, вечной кабалой, делалось здесь походя, одновременно с уроками, вязкой чулок, чтением, которым увлекались все, не исключая и Марии Егоровны. Никто никого не понукал, никто не считался в трате своего времени и своих усилий, а выходило так, что все обязанности сами собой распределялись и выполнялись безобидно для всех. Правда, если бы он присмотрелся, то заметил бы, что это происходит потому, что постоянной резервной силой была Мария Егоровна, безмолвно доделывающая все упущения по хозяйству. Но их было немного. Соня ведала приборкой комнат, уходом за грядками садика и Османом, Костя знал своих голубей, подстригал кусты, следил за десятком яблонь, птица, корова и кухня были на руках Марии Егоровны, а общая любимица, брыклявая, диковатая коза Ганька умела у каждого сорвать долю внимания. Только вспашка большого огорода осуществлялась наемным трудом, и Палаткин поражался, как это Соня, прокопав целый день картошку, умеет сохранить внешность и повадки настоящей уездной барышни. Многому он учился у этой семьи, учился бессознательно у простой и мудрой женщины Марии Егоровны, хоть и относился к ней, как и ко всему старому поколению, с внешним неприятием. Но в особенности много получал он от Сони, споря с ней, противопоставляя ее книжному, мечтательному, комнатному свободомыслию жестокою, примитивную прямолинейность тесаного московскими уличными боями красногвардейца мотызлеевских кровей. С первых же дней знакомства на открытии пресловутого клуба имени Карла Либкнехта Соня сумела осадить напускной слегка наплевательский и нагловатый тон Палаткина, он внутренне усовестился после этого постоянного Сониного аргумента «стыдно вам» и имел мужество преодолеть себя, взять в руки, умерить свою грубоватость. А с тех пор, как в доме Кругляковых он почувствовал, что никто не чурается его и в то же время никто не обращает на него внимания, не стесняется его, он дал волю своему постоянному желанию видеть Соню как можно чаще. Каждый раз он приходил слегка торжественный, взвинченный и успокаивался только при первых звуках Сониного голоса.

А Соня... Кто же в возрасте восемнадцати лет откажется от возможности казаться умной? И становится действительно умнее с каждым днем от принятой на себя роли — померяться силами с упрямым необломанным мордвином, с большевиком, искореняющим контрреволюцию? И руководить этим в сущности во многом таким неуверенным человеком? Он приносит брошюры, в которых написано, почему нужно верить в то, во что он верит, а ему хочется не только верить, но и знать. А самому знанию, каждой крупине его он хочет тоже верить, иначе это знание кажется ему тем недоброкачественным знанием, которое делало людей такими, какими он видел на митингах эпохи временного правительства. И Соня с бескорыстием впервые познаваемой роли учительницы самой жизни добросовестно преследовала цель — объяснить все своему странному ученику в таких примерах и таких выражениях, которые он никак не мог бы опровергнуть. А не мог опровергнуть Палаткин лишь того, что подсказывало революцию, что вело к ней. И Соня смущалась подчас, видя, что приводимые ею выводы и примеры противоречили тому,

как думала она раньше: она начинала подозревать собственную неустойчивость, замечая, как легко объясняет она то, что раньше казалось ей необъяснимым, как она оправдывает, например, жестокость, не имевшую для нее раньше никаких оправданий. Она порой даже сердилась на Палаткина и заставляла его пропустить несколько дней, чтобы самой одуматься. Ее успокаивала только мысль, что в одном она тверда, — человек должен быть внутренне чист, революцию можно делать не теряя великодушия. Поэтому-то она и отклоняла всякие предложения Палаткина поступить на службу в совет, здесь она не находила тех оправданий пионерствующей революции, которые находил Дыбовицкий и, требуя от Палаткина отчета в его делах, противопоставляла его практике, обгонявшей запасы его теории, то терпение, которое часто заменяет в девушке дальновидность. Незаметно для себя Палаткин стал доверять Соне все, кроме вопроса — что делать.

Понемногу Соня стала отдаляться от своих подруг: ей казалось, что это временно, так же временно, как и прежние случаи, когда она погружалась в свои собственные переживания, но придут дни, и снова будет обретено счастливое единство целей, общих с подругами, они уедут куда-то в большой город учиться и романтически голодать. Ей и в голову не приходила мысль, что для нее уже пропели те петухи, после которых отрекаются гораздо полнее и искреннее, чем Петр. Она отвергла бы с негодованием упрек в непостоянстве своей дружбы. Да как ей было думать иначе. До сих пор она жила интересами кружка своих подруг и считала, что только безвременно да домашние обязанности отрывают ее от них. Появление Аркаши Пальчикова на горизонте Белоспасска, знакомство с ним и редкие встречи произвели на Сону сложное впечатление. Сначала она решила, что это ее судьба. Но встречи не учащались, не удавались, Соня была слишком самолюбива, чтобы их искать, она ждала этого от Аркаши, не дождалась, а разговоры подруг привели ее к мысли, что он «серьезно любит» Шуру Митрофанову. Соня скрытно грустила, не чувствуя права на грусть, не ощущая никакого повода к ней, потому что нельзя же было считаться с теми случайными грезами, которые приходили ей в голову и которые казались ей бессовестными. Кто бы объяснил ей, что никакие понятия права или достаточных поводов недействительны для этой жадны строить из каждого пустяка мгновенные сказочные башни, с которых волшебным образом обозревается жизнь и все возможные будущие пути ее сквозь дымку огромных расстояний, преодоленных сердцем, не вооруженным ничем, кроме молодости?..

Но вдруг все эти высочайшие башни получили почву. Это случилось тогда, когда Соня убедилась, что только Аркашина нерешительность и застенчивость толкали его к Шуре Митрофановой. Теперь она не могла понять, как прежде не замечала того, что так ясно, — он всегда стремился к ней и, проговорившись об этом при одном из прощаний, в величайшем смущении ушел опять провожать Шуру. Как перевернулись сразу все его прежние слова и поступки в Сонином представлении, как объяснилось каждое движение!.. Теперь Соня догадывалась на себя, что она так неопытна, — она была с ним холодна, неразговорчива, разве он мог понять из ее настороженного молчания истинное ее отношение, разве мог объяснить в свою пользу? Аркашина студенческая фуражка напоминала ей о том, что он не кончил университета, в чем беззаботно признался, но кончит, конечно, он, правда слишком увлекающийся, нужно, чтобы кто-нибудь сдерживал его, и... Тут Соня горячливо втаптывала свои мысли в землю так, как втапты-

вают искру, упавшую среди стога соломы. Но замечала, что тлеет уж и тут и там...

Правда, Соня осуждала отношение Аркаши к Шуре Митрофановой. Разве можно было играть так человеком, когда... Но тут же прощала. Прощено было все, даже пошловатость Аркаши, по временам улавливаемая Соней, несмотря на новые, незнакомые ей формы. Не для того строятся высокие башни, чтобы оглядываться назад, с них смотрят вперед. И виновата ли была Соня, что ей казались новым словом все шаблоны Аркашиных повадок, приобретенные в потертой московской среде? Он высмеял Надсона и, с трудом припомнив, переврал две-три строфы Бальмонта и Игоря Северянина из тех стихов, что были хранимы в Аркашином арсенале стрел, предназначенных для флирта. Впрочем, песенки Вертинского и Изы Кремер помнил Аркаша точнее, и после «Коробейников» да «Накинув плащ» песенки эти звучали изысканнейшей экзотикой, поразившей Сонино ухо призраком утонченного урбанизма. Соня вздыхала украдкой, вспоминая, что никогда в жизни не видела железной дороги...

Самая судьба Аркаши, несомненно, с болью покинувшего университет по зову времени, революции, заставляла Соню втайне остро жалеть его в этой жертвенности, переносимой им так мужественно и внешне беспечно... Обо всем этом было некогда говорить в часы редких встреч, но Соня и не нуждалась в этом, она бы почувствовала себя несчастной, если бы не знала за собой особой чуткости к малейшим обмолвкам, способности восстановить на основании недоговоренных, но оброненных Аркашей слов то, что скрывал он в несомненной тоске. И загляни Аркаша в ни для кого не раскрывавшийся Сонин дневник, он и сам бы не узнал себя в том портрете, что был там записан Соней со слов лукавых, азартных друзей и советчиков своих — одиночества, восторженной молодости, пылкой душевной зари.

Это было третьего дня — Аркаша, вернувшись из служебной поездки по монастырям, встретил Соню случайно на улице, и они долго гуляли по крепостной горе, потом спустились к Мокше, прошли с версту по ее берегу, а затем Аркаша проводил ее до дома. Все время он говорит о том, что могло ее интересовать — о московских театрах, студенческих вечерах, о столовке на Моховой и Татьяниним дне. На этот раз он не вспомнил ни о цыганах, ни о лихачах на дутиках, был сдержан, — откуда бы знать Соне, что его сделала ленивым Зинаида? Совершенно ясно открывалось существо Аркашиной натуры, почему-то прикрываемое им обычно под фатовским и незначительным тоном. Соня вернулась домой с огромной радостью в душе. Этой радостью она лучилась весь следующий день.

А сегодня пришел Палаткин, почерневший лицом, как зимний лес. Он нашел Соню рассеянной взбудораженной.

— Что у вас нового? — спрашивала она по привычке, но, слушая, улыбалась своим мыслям.

Палаткин говорил нехотя, трудно. Сонины замечания раздражали его, раза два он так грубо ответил ей, что она удивленно посмотрела на него, но, впрочем, тут же как-будто забыла думать о предмете разговора, так и не заметив, что замечания были действительно невпопад. Тогда Палаткин стал нарочно задевать то, что — он знал — было поводом постоянных его разногласий с Соней, именно вопросы его взаимоотношений с другими белоспасскими комиссарами. Довольно долго она не обращала на это внимания, но, наконец, он добился своего — Соня стала понемногу сердиться.

XXIX

— По-вашему выходит, — говорил Палаткин, — что прежде чем идти в красную гвардию, надо облиться за науками. Сурьезно, сурьезно я вам говорю, вы не смейтесь, так выходит.

— Ничего подобного я не говорила, — отвечала Соня. — Но что вы хотите в Белоспаске университет открывать — это глупо. Это ваш Семен Иванович придумал такую глупость. Откуда вы профессоров возьмете?

— Из центра выпишем, учителей ваших заставим работать... Семен Иванович тоже хочет там учить.

— Никто к вам не поедет. И учителей нельзя заставить делать то, чего они не могут. А Семен Иванович ваш ничего не знает и не понимает, — где же ему учить других.

— Не беспокойтесь, поболее ваших учителей знает. Он давеча, знаешь, как вашего математика срезал? Я, говорит, тебе докажу, что бинорма Ньютона — буржуазная выдумка. Она, говорит, бинорма эта, служит только для обогащения капитала и закабаления рабочего класса. Ваш козел — козлом что ли его зовут? — только глазами заморгал, ничего не нашел ответить...

— Чего ж тут отвечать, — с досадой возразила Соня, — мы уже с вами говорили об этом не раз. До сих пор все самое лучшее, и наука в том числе, было в руках у господствовавших классов. Этим надо овладеть, а не опорочивать только потому, что это создано буржуазией.

— Овладеть... Вы, вон, овладевали через учителей, вас сизмальства тянули, вбивали вам в голову науку... А как заходит речь о том, чтобы дать эту науку рабочему человеку, приблизить к нему, так не нужно? Не нужно Белоспаску университета?

— Вы все мои слова переиначиваете, Михаил Ассинкритович, не хотите меня понять.

— Трудно вас и понять сегодня. Наука нужна — университет не нужен. Буржуазную науку не трожь, не опорачивай, а она в руках у ваших козлов, — они глазами поморгают, и заставить их нельзя, чтобы учили... Странно вы нынче рассуждаете. А я вот думаю, весь отряд свой записать в студенты.

Соня, не выдержав, улыбнулась.

— Станный вы человек, Михаил Ассинкритович. Кто же возражает, что это было бы очень хорошо, если б весь отряд у вас состоял из студентов.

— Только не таких, — поправил, насупившись, Палаткин, — как иные московские, в роде Пальчикова.

— При чем здесь?..

— Так, не при чем.

— Ничего у вас не выйдет, — сказала Соня, обдумывая неожиданный выпад Палаткина. — А боюсь только, что этот университет станет новой доходной статьей для вашего Семени Ивановича.

— Что вы на него насели? Откуда вы можете знать, что такое Семен Иванович?

— Вы мне сами рассказывали о том, что вам говорил Хворов.

— Хворов... Он из гужей вон лезет на место Семени Ивановича. Хватит с меня. Я его в отряд на порог больше не пушу.

— Очень напрасно, что вы значит выбрали подлого человека... Потому что ваш Семен Иванович подлый человек!

Вырвалось это у Сони очень горячо, и глазами она сверкнула очень гневно. Впрочем, она тут же спохватилась, вспомнив об огром-

ном круге мыслей, в котором закружилась с третьего дня, вспомнив, как ничтожна ее горячность по сравнению с той, другой, благословенной и неиссякаемой. Она сразу улыбнулась примирительно, решив, не доводить дело до ненужной ссоры с Палаткиным. Все равно Палаткин, как это всегда бывало в подобных случаях, придет мириться через день-два, а к чему его мучить? Соня чувствовала себя особенно благосклонной ко всем.

Но Палаткин уже встал со стула и молча взял в руки фуражку. Соня продолжала улыбаться. Он посмотрел на нее упрямо и отвернулся. Тогда она, чтобы не дать ему уйти, быстро проговорила:

— Михаил Ассинкритович, пойдемте-ка в беседку, я вам хочу показать, сколько я клубники набрала с двух грядок... Угощу вас.

Не ожидая ответа, она быстро вышла в садик. Палаткин шел за ней по дорожкам, опустив голову.

— Я Семена никому не выдам, — проговорил он сдавленно, — Я не провокатор какой-нибудь.

Соня, ничего не отвечая, шла вперед. Они прошли среди грядок к маленькой беседке, притаившейся за кустами смородины. Это был, собственно говоря, маленький досчатый домик в одну комнату с окном и дверью. Осенью здесь складывали по полкам и полу груды яблок, тогда в нем пахло спиртом и соломенной подстилкой. С весны сюда водворялась Соня вместе с толпушкой книг и складной парусиновой кроватью, но запах спирта от подгнивших и заплесневевших яблок сохранялся впитанным в сухие досчатые стены. Сейчас столик в беседке был заставлен решетками с зеленовато-белой клубникой.

— Смотрите, какое богатство, — сказала Соня, — сколько я варенья наварю — страсти...

— Она незрелая, — мрачно проговорил Палаткин.

— Все нет, это сорт такой белый. Попробуйте, совсем сладкая.

Соня взяла большую ягоду и, разгрызая ее белое хлопчатое мясо, лукаво смотрела на Палаткина, как-будто чтобы проверить, изменилось у него настроение или нет. Он отворачивался и хмурился.

— А вы видели, какие у нашей Маруськи детеныши, — сказала тогда Соня и проворно вытащила из-за кровати корзину, в глубине которой на мягкой подстилке лежали три слепых головастых и пушистых комочка. Дымчатая Маруська беспокойно подскочила и начала тереться о Сонины туфли.

Палаткин смотрел на нагнувшуюся Соню, на шею ее, загоревшую по вырезу платья медальоном, на показавшуюся из-под ситца незагорелую полоску, на сухие, крепкие линии ног и словно пил студеной утренний напиток. Соня перебирала нежными пальцами котят, переворачивала их, клала на ладонь, а когда взглянула на него исподлобья вверх, то Палаткин изумился раздвинутой продолговатости ее глаз. Никогда еще не приходилось ему видеть ее лицо в таком повороте, таким как бы взвешенным в пространстве, с исчезающим от наклона подбородком, с распахнутым широким лбом, осиянным мудрым девическим спокойствием. И если бы она осталась в таком положении чуть дольше, с лица Палаткина сошла бы последняя кровинка, до такой степени больно ощущал он, как надывается все его существо, как опустошительно проносится в нем это видение приподнятой головы стоявшей на коленях девушки. Но Соня под взглядом Палаткина сразу почти выронила из рук котенка

и поднялась,—стал снова виден ее худощавый подбородок и губы, в суровые очертания которых не верилось, как не верится в снег, когда уже пролились всеильные своей мягкостью лучи весеннего солнца. Это солнце играло на Сониных щеках женственными лучами румянца, в ее глазах стояла та сила, что каменеет, что бессильна сдвинуться, скрестившись со взглядом мужским, желающим, и только замороженно пышет, как неопалимая купина.

— Ну... -- сказала Соня. — Что вы?

И полуулыбнулась, приоткрыв рот. Палаткин придвинулся к Соне вплотную и крепко взял ее за руку выше локтя. Он стал похож на больного, на отравленного сильным наркозом — коричневые кольца вокруг зрачка сузились, уступив место расплывшимся, черным, как копоть, зрачками, побелевший лоб покрылся матовой дымкой испарины, он вдруг постарел всей кожей лица.

— Соня, — скорее прошуршал, чем сказал он, — я убью тебя... Я убью тебя, если вы будете гулять с ним...

Он всматривался неподвижно в ее висок. Соня смотрела в даль, которую не могли для нее заслонить никакие стены беседки. Она смотрелась в нее, как в зеркало, и молчала.

— Или скажите мне, — продолжал Палаткин, — что я, конечно, моторист, мордва необразованная и ничего боле... Я тогда боле не приду к вам.

Он пошевелил ноздрями и, закинув голову, порывисто втянул в себя воздух. Соня медленно освободила от его руки свое предплечье, на котором остался белый отпечаток пальцев.

— Вы сделали мне больно, Михаил Ассинкритович, — ровно сказала она, все так же глядя вдаль. — Будет синяк.

Она потеряла свою руку и отошла к раскрытым дверям. Палаткин тянулся меркнувшим взглядом вслед за ней.

— Я не хочу, чтобы вы меня забывали, — проговорила Соня. Палаткин понял и захлебнулся горечью, скрытой для него в этих словах.

— Я то не забуду вас, — сказал он с грубоватой печалью. — Вы мне свет жизни заслонили. Может быть, вы это поймете и скажете — да, бедный парень...

— Я не хочу, — живо перебила его Соня, — чтобы вы из-за меня... тосковали. И не хочу терять вашей дружбы. Я очень дорожу теми часами, что мы с вами проводим вместе.

Она повернулась лицом к Палаткину и пытливо заглянула в его глаза. Не поднимая головы, он стал продвигаться к двери боком.

— Ну что ж, ну что ж, — повторил он, растерянно оглядываясь, словно что-то ища на полу, — конечно, может, и дружба-то наша допущена вами по ошибке... Прощайте куда.

Не пожав ей руки, он круто повернулся и, нахлобучивая фуражку, побежал по дорожке к калитке сада.

— Что вы говорите?... — крикнула вслед ему Соня. — Приходите завтра, непременно приходите.

Она следила за ним с тем легким хищничеством, от которого не свободна ни одна девушка, впервые отвергающая любовь к себе. Потом беспокойная задумчивость прошла по ее лицу, затем оно озарилось улыбкой, отблесками внутренних огней, чтобы уже не омрачаться.

... Палаткин бежал не оглядываясь. В отряде ему запрягли тройку, и он умчался на хутор к татарам-пивоварам, захватив с собой гармониста, заменявшего отряду оркестр своими страдальческими надрывными песнями.

XXX

Около того времени внимание всего города было надолго занято крупным событием — женитьбой аптекарского сына Генриха Голендзиновского на дочери фотографа Верочке Ридель. Как было в Белоспасске принято, пара эта, прежде чем решиться на подобный шаг, в продолжение трех лет сряду развешивала у всех на глазах свой затяжной роман, пользуясь для этого всеми местами общественных сборищ, улицами и садами. Но, начавшись с крылечек и приворотных скамеечек, роман этот по мере возмужания героев приобретал все больше изящества и возвышенного лоска. В конце концов как жених, так и невеста стали образцами вкуса, утонченности чувств и поведения для всего Белоспасска, взяв на себя роль проводников всяких новшеств и усовершенствований моды. У кого из горожан был светло-серый костюм, тонкая тросточка с серебряной ручкой и шляпа-канотье? У Генриха Голендзиновского. У кого единственный в городе дамский велосипед? У Верочки Ридель. Кто из мужчин носил перчатки даже и летом? Генрих. Кому шли английские блузки? Верочке. Кто летом катался по Мокше на парусной лодке? Генрих и Верочка. С кем никто не мог соперничать в мазурке? С ними же. Кто... Нет, не перечислить всех достоинств этой пары.

«И вот они переженились» — говорили с удовольствием горожане, повторяя рассказ балаганного юмориста о том, как счастливо женился анекдотический Як на Ципе, Як-Це-Драк на Ципе-Дрипе и Як-Це-Драк-Це-Дроний на Ципе-Дрипе-Лям-Пом-Пони. Свадьба была великолепна. Несмотря на инородные фамилии брачующихся, венчание происходило в соборе. В виду отсутствия в Белоспасске извозчиков, новобрачных ожидал по выходе из храма тарантас со ставки, запряженный тройкой. Остальные двинулись пешком, что было, впрочем, не утомительно, так как дом аптекаря был наискосок через соборную площадь. Обед состоялся под непрерывные звуки граммофона. При криках «горько» Генрих учтиво целовал руку Верочки, склоняя к ней свой волнистый белокурый пробор. Поцелуй в губы был совершен только однажды и в него внесено столько грации, что присутствовавшие совершенно забыли о бушевавшей кругом революции, и многим пришла она на память лишь на следующий день вместе с похмельем. На новобрачных смотрели во все глаза; девицы с восхищением, молодые люди — с завистью и ревнивыми думами, пожилые — с большой благосклонностью, часто повторяя: «Шарман, шарман, какие они оба воспитанные, как отдыхаешь сердцем, глядя на них...» Разошлись за полночь.

Свадьба эта и все, что было с ней связано, — разбитые сердца, сервировка стола, меню, приданое, — до такой степени отвлекло на себя внимание общества, что совершенно заслонило возвращение из губернии Семена Ивановича. Вернулся же он на следующий день вечером. Не заглядывая к себе, он проехал прямо в исполком и немедленно вызвал Палаткина, Трунова и Будилина. Состоялось заседание, результаты которого остались никому неизвестны. На следующее утро все члены уездного исполкома были оповещены, что через день назначено пленарное заседание для заслушания отчета делегатов губернского съезда.

Семен Иванович не показывался нигде, словно его и не было в городе.

Аркаша Пальчиков был приглашен на пленарное заседание в числе прочих, и, считая, что нормальная жизнь учреждений начнется только после обсуждения директив губсъезда, решил пожертвовать

одним служебным днем для приведения в порядок своих собственных мыслей. Нуждался он в этом по случаю неприятного разговора с Зинаидой, произошедшего утром.

— А знаешь, друг сердечный, — сказала она, сидя перед зеркалом и который раз поправляя бархотку, обвившую ее шею, — не приду я к тебе больше.

— Почему? — отозвался Аркаша с кровати.

— Надоело, — просто призналась Зинаида.

— Я не держу, — оскорбился Аркаша

— Я знаю. Да если бы держал — все равно... Поганый ты какой-то...

Она весело улыбнулась и посмотрела на Аркашу. Он ответил ей взглядом плохо скрытой обиды и злобы — не успел, невозможно было их скрыть, до того неожиданно было это нападение Зинаиды после нежно проведенной ночи. Он раздумывал, как бы ей отомстить. Однако, в то же время Зинаида была ему особенно желанна, казалась чертовски привлекательной.

— Если ты со мной так прощаешься, — сказал он, — так ты меня не удивишь, бывало и скандальнее.

— Ну, не злись, не злись, — проговорила Зинаида примирительно.

Она подошла к нему, села на кровать и прошла тремя поцелуйчиками по его надутым губам, потрепав одновременно по голове. Обида Аркаши обострялась, но обострялось и влечение к Зинаиде, и все чувства соединялись в настойчивом желании обладать ею немедленно, как бы в отместку, как бы для того, чтобы восстановить уважение к себе. Он сначала хмуро отвертывался, но потом вдруг схватил Зинаиду руками и грубо привлек к себе.

— Не надо, не надо, — быстро проговорила она, не успев вырваться. Она пыталась разнять его руки, но Аркаша, что было силы, сжал ее талию. Тогда Зинаида потянулась к нему, и в тот момент, когда он ждал, что губы их соединятся в поцелуе, крепко закусил его щеку зубами. Аркаша застонал от боли.

— Пусти, — сказал он сдавленно, не выпуская, однако, Зинаиду на свободу.

«Дикая ласка...» — думал он про себя. Но Зинаида еще сильнее сжала зубы, и у Аркаши позеленело в глазах, — он сразу расплел свои руки. Тогда она, понажав напоследок, вдруг отскочила в сторону и с милой улыбкой уже посылала ему воздушные поцелуи, стоя в дверях.

— Дура! — крикнул Аркаша, держась за щеку.

— Прощай, дружок, — нежно улыбалась Зинаида.

— Дура, дура, — взвизгнул Аркаша еще раз и полез под кровать, чтобы, найдя ботинок, пустить его вслед Зинаиде, но она, коротко кивнув головой, скрылась за дверью.

Щека боледа, Аркаша долго массирует ее перед зеркалом, сгоняя следы Зинаидиных острых зубов. Мало-по-малу он приходил в сквернейшее настроение. Приходилось сознаться, что Зинаида далеко не исчерпала его интереса к этой внимательной, жадной, всегда с открытыми глазами страстности, которую он находил в ней. Ни разу не потеряла она глазомера, ни разу не отказалась от легкого пренебрежения и никогда Аркаша не был уверен, что заставил ее позабыть о прошлом опыте, почувствовать что-то новое. Вспоминая короткую свою связь, Аркаша приходил к обиднейшему выводу, что был в положении испытуемого и очень быстро оказался отвергнутым.

«Вот тебе и хваленое уездное простодушие, — думал Аркаша, — вот и доверься... Шура — что ж Шура! — ломается: «после свадьбы все возможно, а теперь... нельзя» — это у ней на лбу написано. И Соня тоже — напрасно я с ними время теряю, надо ребром ставить вопрос: нет — не надо... А то, чего доброго, будешь поигрывать в трогательный романчик, а она тебе под конец кусок щеки откусит, если не весь нос...»

Он перебил свои мысли тем, что пошел к соседям узнать новости о Семене Ивановиче. «Помни, Аркаша, помни...» пронеслось в его памяти. Но он не застал ни Хворова, ни Зискинда, ни Трунова, только дверь в номер Палаткина была приоткрыта, Аркаша подумал и постучал.

Палаткин встретил его, как всегда, вежливо и серьезно, подтвердил повестку пленарного заседания, ничего нового о Семене Ивановиче не знал, не хотел сказать. Чтобы не обрывать резко разговора, Аркаша посмотрел по сторонам и, заметив небольшой, лыковый казан, стоявший на столике, сказал:

— Какой славный у вас казан.. Замечательная вещь.

Зная манеру Палаткина занимать гостей вещами, он думал сделать ему приятное. Но был и в самом деле казан очень тонкого плетения, сделан по фасону настоящего чемоданчика и даже металлические застежки были вделаны в край его:

— Первый раз такой вижу. Где купили? — спросил Аркаша.

— Из монастыря Питиримовского, — отвечал Палаткин, усмехнувшись, — очень я им понравился, вот они и прислали.

— Э, да это серебро, — пригляделся Аркаша к застежкам.

— Ну? — отозвался Палаткин рассеянно. — Серебро, так серебро, значит тем более уважают. И что в остальном особенного? Казан как казан.

— Мне Иван Иванович говорил, что такому казану века нет, залоснится, станет как лаковый, а от времени только прочнее. Да и легкий...

Аркаша прикинул на руке вес казана и тем окончил разговор.

«Казан недурной, — думал он, выходя из Палаткинского номера, — и как вещь приличный, только пыль, должно быть, сквозь плетение пробивается... Вообще недурно живут комиссары, взять Палаткина: сливки ему шлют четвертями, мед, грибы, из Стиса пудовых сомов — чем не жизнь? Глуповат парень, раздает... И Семен Иванович видно не чета Хворову. Нет, уж если придется выбирать, мне с дядей Ваней не по дороге...»

Возвращаясь к себе, Аркаша столкнулся с плотным человеком в поддевке, топтавшимся около дверей в его номер.

— Нет, должно, никого, — проговорил человек, но, видя, что Аркаша хозяином входит в комнату, прибавил: — это вы, стало быть, и есть товарищ Пальчиков?

— Я, — отвечал Аркаша, — что вам угодно?

Человек снял шапку, обнажив полуседые волосы, остриженные в кружок, и, тряхнув серой козлиной бородой, подвешенной к круглому мордовскому копченому лицу, подвинулся к Аркаше со снисходительной улыбкой.

— Здоров будь, Аркадий Стяпанович, — сказал он и протянул согнутую ложечкой руку.

— Добрый день, — отвечал Аркаша с недоброжелательным удивлением.

Мордвин вытащил из-за двери принесенный с собой кулек и, войдя в номер, принялся развязывать.

— Вот тут гостинчик привез тебе, — говорил он, тряпку за тряпкой разворачивая обертку своего кулька.

— Позволь, отец, — возразил Аркаша, подобрев, — кто ты такой сам-то будешь?

— Я то? Мельник потьминский, аль не признал? Мы, чай, знакомые.

— Первый раз в жизни тебя вижу.

— Запоматывал значит? А я тебя тут недалеко стренил тому назад месяца полтора, ай поболее... Час у тебя спрашивал который. Который, говорю, час, товарищ? А ты-то мне с сердиткой такой-то: какой, говоришь, я тебе товарищ, я, мол, гусь... Вспомнил? Ну вот, вот...

Он закричал вместо смеха и осторожно похлопал Аркашу по плечу.

— От кого же этот гостинец, отец?

— От брата мово да от мене, от кого же боле?

— Так. А по какому-такому случаю?

— Случай печальный, сейчас об'ясню.

Мельник вытащил, наконец, из тряпицы зажареный телячий окорок и со словами: «кушай на здоровье» — положил на стол. Аркаша выжидающе молчал. Мельник уселся против него на стуле и вкрадчиво начал:

— Есть у нас просьбица: сделай уважение, составь прошение. Как ты в этом самом земельном комиссариате состоишь, то и все ходы тебе, конечно, видны. А мы, сам видишь, головы неученые, шагу ступить не знаем.

— В чем дело-то?

— Да вот в чем...

Мордвин принялся подробно и очень толково рассказывать историю своей ветрянки, стоявшей при черте сельской границы. До сих пор она оставалась в его владении благодаря спорности своего расположения: на нее претендовали смежные села и, чтобы не отдать в захват соседям, соглашались лучше на старого хозяина, чем на уступку. От проводившегося землеустройства зависело, как решить спор, и мельник терял свою ветрянку. Заявление на имя уездного исполкома должно было содержать просьбу оставить его во владении мельницей, в виду общеполезности ее работы и отсутствия знающих мельничное дело лиц.

— Ты пропиши, — ворковал мордвин, — что, мол, нет никого, кто б управился. Долго ли жернова смолоть? Был у меня один такой работник. Пустил работать без зерна, а это все равно что самовар без воды. Мельница-то на два постава, жалко ведь...

— Написать я могу, — промолвил Аркаша, — да выйдет ли?

— Уж ты постарайся, голубь-батюшка, мы в долгу-то никогда не оставались.

Мордвин снова вышел за дверь и вернулся с новым кульком. На этот раз он вытащил из него запечатанную бутылку водки, но на стол не поставил, а так и продолжал держать ее во время разговора в руках.

«А не умеете брать — посылайте к тому, кто умеет, — вспомнил Аркаша Агеева и тут же подумал:—чорта с два. Я водки, положим, не пью, но всегда можно променять...»

— Небось, компанией собираетесь? — мягко квохтал мельник, прикинувшись вдруг рождественским дедом. — Компанией — дело веселое, только в сухую-то не того, хе-хе... Краля-то есть? Ну как же быть, чего и спрашивать.

Но тут Аркаша решил его осадить, — быть может, на него неприятно подействовало напоминание о сцене с Зинаидой.

— А ты, отец, не догадывайся — мозги испортишь. Давай-ка за дело, время идет.

Мельник с готовностью согласился и достал из кулька еще одну бутылку водки, чтобы держать ее в руках во все время составления заявления. Аркаша быстро набросал черновик и сказал, вручая его мельнику:

— Дашь кому-нибудь переписать, чтобы моей руки не было. И мое дело кончено, остальное от меня не зависит.

Мельник с удовольствием попыттел, переложил бутылки в карманы поддевки и вытащил из-за пазухи завернутый в платок бумажник. Долго и наглядно он отслюнивал сто рублей керенками, задумался, потом завернул их в отдельную бумажку, снова положил в бумажник и сунул все за пазуху. Бутылки с водкой он тихонько тряхнул и стал медленно заворачивать обратно в кулек.

— Нас вся округа знает, — говорил он, примериваясь, как бы получше увязать бутылки. — Наше дело серьезное, вся округа нами держится. Споганят мельницу — куда ехать? За осьмнадцать верстады ехать, не иначе. Может, замолвишь словечко-то?..

Он выпрямился и пытливо посмотрел на Аркашу, неопределенно двинувшего углом губы. Потом решительным движением вытащил снова одну бутылку водки и поставил ее на стол, настойчиво глядя Аркаше в лицо.

— При удобном случае попробую, — пробормотал Аркаша, берясь за ногтевые ножницы.

Мельник мало-по-малу краснел от затруднительности положения. Казалось, он хотел объяснить начистоту, но все еще побаивался Аркаши и старался внушить ему глазами желаемое. Наконец, решившись, выговорил:

— Уж постарайся, дорогой... Уж мы не забудем, что нужно будет прибавим, только бы выгорело.

— Да ты что, отец, опупел, что ли? — спросил вдруг Аркаша очень холодно и нагло. — Ты мне никак взятку сулишь? За эти дела по головке не глядят.

— Шш-шт! — замахал на него руками мельник. — Какая взятка — за труды... за хлопоты. Ведь мы ж понимаем — кому охота за чужие дела стараться, время тратить.

— То-то, — проворчал Аркаша.

Оторопелый мельник поспешно собирал свои свертки, бормоча:

— Строг ты, голубь, того гляди высечешь... Так и полыхнул — взятка, говорит... Да сохрани бог, чтобы когда этим делом занимался...

Но острый глаз его то-и-дело вскидывался на Аркашу и сквозь беспокойство и оторопь просвечивало какое-то скрытое удовольствие, удовлетворение Аркашиным поведением. Беспокойство было естественным — за исход дела, как сомнение в целесообразности понесенных расходов, но оно умерялось растущей уверенностью в том, что дело доверено стоящему человеку. И то, как Аркаша простился с мельником, — двумя пальцами левой руки, — только усилило эту уверенность.

— Уж не забудь... уж уважь старика... — причитал мельник, скрываясь за дверью.

XXXI

Аркаша ожидал, что пленарное заседание будет как бы намечающим пути и линии работы уездного исполкома нового состава.

Докладчики, полагал он, остановятся на том, что говорилось на губернском с'езде, а затем руководители уездных комиссариатов введут пленум в курс текущих работ. Аркашу интересовал только вопрос земельной политики и позиция, которую займет Семен Иванович по отношению к Будилину. Остальное его не трогало, он думал избавиться от длительной скуки заседания, покинув зал, как только закончатся прения на интересующие его темы.

Неспешно подходил он к зданию исполкома, подумывая о том и о сем, перебирая в памяти всех своих знакомых белоспасских девиц, задавая себе вопрос — не пора ли уже с'ездить в губернию с отчетом за истекшие два с половиной месяца. И отвечал себе: пора, пора, когда-то дождешься вызова...

У входа в зал заседания вооруженный красногвардеец остановил Аркашу требованием предъявить документы члена исполкома. На указания Аркаши, что он не имеет таковых, так как не принадлежит к числу членов, красногвардеец объявил, что в таком случае ему следует идти в клуб имени Карла Либкнехта, где и ожидать общего собрания всех служащих исполкома.

— А, тем лучше, — решил Аркаша и повернул назад.

По дороге к нему присоединился встретившийся Балалаев, и они, рассчитав время, решили, что общее собрание не может начаться раньше чем через два часа. Балалаев пригласил к себе, Аркаша не возражал, — они скоротали время за партией в шахматы. В клуб пришли как раз во-время — он был полон служащими и красногвардейцами.

В большом низком зале были расставлены стулья и скамьи. На эстрадном возвышении стоял стол президиума собрания и сбоку — пюпитр докладчика. У стола ходил красногвардеец и непрерывно звонил колокольчиком. Присутствовавшие спешно рассаживались. Аркаша и Балалаев нашли группу служащих земельного комиссариата и присоединились к ней. Красногвардеец кончил звонить и вышел через боковую дверь. Прошла минута, и из той же двери один за другим стали показываться члены исполкома: Семен Иванович, Трунов, Палаткин и вслед им робко — остальные, которых Аркаша не знал еще по фамилиям. Исполком разместился за столом президиума.

— Хворова и Зискинда нет, — сказал Балалаев.

— Зато почему-то здесь Будилин, — отозвался Аркаша.

— Я слышал, что он подал заявление в партию большевиков, — торопливо проговорил Балалаев.

Семен Иванович коротко позвонил, объявляя собрание открытым. В коротком вступительном слове он сообщил, что только-что закончившееся заседание уездного исполкома вынесло ряд чрезвычайно важных решений, которые и предлагается заслушать общему собранию. Затем и по данному знаку вышел к пюпитру для прочтения протокола Трунов — тощий человек с головой лысого зайца.

На историю Белоспасска этот день и этот протокол должны были, конечно, наложить глубокий отпечаток; Трунов это прекрасно чувствовал. Высокие уши его шевелились во время чтения, голос дрожал от сознания важности читаемого, рассеченная верхняя губа поводила иглистыми усами, короткие незакрывающиеся веки щурились и не могли прищуриться в патетических местах. А пафоса и сильных мест в протоколе было много...

С самого момента выхода исполкома, в быстроте, в деловитости, с которой было начато собрание, Аркаша уловил что-то тревожное. Первые строки протокола заставили его собрать все внимание. Повидимому, там пересказывался дословно весь доклад делегатов губ-

с'езда. По некоторым особенностям слога Аркаша узнавал руку Семена Ивановича, по той любовности, с которой вычитывал Трунов отдельные места, можно было видеть, что не обошлось и без его участия. Аркаша превратился в слух.

Сначала протокол излагал порядок работ губернского с'езда и принятые им резолюции, которыми Белоспасск был удовлетворен во всех своих заявках и сметах. Дальше повествовалось о том, как на практике выполнялись губернскими комиссарами постановления с'езда. Комиссар финансов отказал в отпуске для Белоспасска требуемых сумм, председатель губисполкома подтвердил его решение, задержав выдачу до неопределенного срока. В то же время другим уездам ассигнования выдавались беспрепятственно: военный комиссар категорически отказал в немедленном усилении белоспасского отряда красной гвардии, мотивируя отказ необходимостью срочных формирований частей Красной армии. Ходатайство Белоспасска об`отгрузке для него хлеба встретило то же отношение. Хорошо зная, что уезд наполовину лесистый, губисполком отказал в помощи, предложив снабдить лесистые волости за счет хлебородных путем обеспечения внутриуездной торговли хлебом. В то же время губисполком требовал от Белоспасска выполнения большого наряда на кожу, а также разработки значительных площадей лесосек и заготовки топлива...

Долго перечислял протокол все мытарства белоспасских делегатов, все отказы, которые им приходилось выслушивать, все искажения и нарушения воли с'езда губернскими комиссарами. У слушателей мало-по-малу складывалось совершенно безотрадное представление о происходящем в губернии. Было очевидно, что уезд брошен на произвол судьбы, что никто в губернии не думает и не заботится о продолжении и поддержке революции в Белоспасске, считая, что это самый дальний и никому ненужный уезд. Протокол с особенной жестокостью нанизывал длинный ряд фактов, свидетельствовавших об этом.

«Они с ума сошли, — думал Аркаша, тревожно и неотрывно следя за чтением, — такой материал читать на общем собрании!.. На что они метят? Ведь это поход против губернии! Чего доброго, невозможно станет здесь работать...»

— Что случилось, вы не знаете? — спросил он тихо Балалаева.
— Ничего не знаю, ничего не понимаю, — отвечал тот.

Трунов кончил тем пунктом протокола, который подводил итоги всему сказанному в кратком перечислении, и торжественно вернулся на место. Семен Иванович, гипнотизировавший во время чтения все собрание, теперь встал и медленно вышел к пюпитру. Глаза его блестя, он был сдержанно возбужден в движениях. Запнувшись о разостланный половичок, он довольно громко, сердито и властно выругался. Затем плавным жестом налил в стакан воды, отпил несколько глотков, вытер губы платком и, обращаясь к собранию, бросил:

— Революция в опасности... Вы слышали, товарищи, что встретили наши делегаты в губернии? Я не буду больше останавливаться на этом. Но я напомню вам о тех днях, когда при проклятой памяти царе Николае кровавом здесь, в Белоспасске, творили свою нечистую волю сатрапы самодержавия. Вы помните девятьсот пятый год: мятежные крестьяне разбили экономию князей Кугушевых, а сезонники, работавшие в Архангельской лесной даче ради прибылей нижегородских заводчиков, объявили забастовку, требуя улучшения материального положения. Становой пристав Бантышевич вытребовал полсотни казаков и перепород три волости. Тогда арестный дом

Белоспасска был переполнен арестованными. Бантышевич получил за свою энергию должность исправника, а целая дюжина революционеров стала кандалниками. Двое из них — члены нашего исполкома... Напомню другое время: династия и его степенство капитал втянули страну в преступнейшую кровопролитнейшую из войн. Трудовой народ скоро понял, чьи выгоды преследует эта война и всеми силами старался противодействовать ее продолжению. Началось массовое дезертирство. Кто вел тогда работу среди солдат, разбежавшихся с постылого фронта? Трое наших товарищей... Наконец, революционный народ сбросил с себя ярмо палачествовавшей тирании, освободив политических заключенных. Кто же первый принялся за организацию социал-демократической партии большевиков здесь, в Белоспасске? Основное ядро ячейки теперешнего исполкома... Многие помнят, наверно, как трудна была работа в эту пору, когда в столицах пролетариат победоносно наступал, а здесь, в глухих углах, отыгрывалась черная сотня под видом ударных батальонов и городских управ, многие знают, какие преследования приходилось выносить, когда охотились за нами, как за пораженцами, немецкими шпионами, сторонниками анархии. Выдержали... Перенесли... Ибо знали, что наша цель — интересы трудящихся классов. И, будучи в ничтожном меньшинстве, но твердо зная, что за нами рабочий человек, подняли почти год тому назад знамя социальной пролетарской революции. Его подняла Белоспасская организация большевиков, почти целиком входящая в состав исполнительного комитета. И твердо держит его. И теперь эти люди, мы, говорим вам: революция в опасности!

Тут сунул Семен Иванович свой кулак так далеко вперед, словно каждому из присутствующих пригрозил зуботычиной.

— Он, оказывается, старый революционер, — пробормотал Аркаша подавленно, — с девятьсот пятого года.

— Совсем не он, а Хворов, — ответил Балалаев, — второй умер еще зимой. Семен Иванович вынырнул только при временном правительстве. Когда Хворов помрет, он и вовсе перестанет стесняться, сделает себя ровесником Маркса...

— Что делают сейчас люди, засевающие в губисполкоме? — продолжал между тем Семен Иванович. — Что делают эти люди, называющие себя коммунистами и только в скобках большевиками? Они гасят революцию, они вероломно нарушают волю трудового народа, выраженную его выборными на съезде. Что это за люди? Председателя губисполкома я знаю не со вчерашнего дня, я знаю его по встрече в Москве, и он меня хорошо запомнил по этой встрече. Потому что я, товарищи, никакой не коммунист, а коренной большевик и вывел его кое-в-чем на чистую воду. Как он попал в председатели губернского исполкома — это известно только ему самому, пронице, как я его сразу разгадал еще в Москве. К нему подобрались такие же пролазы. К сожалению, товарищи, страна наша велика, уследить за всем Красная Москва не в состоянии. Но нас, товарищи, оказалось трудно провести. Мы раскусили всю эту лавочку перекрасившихся меньшевиков с первого дня. Мы повели против них на съезде кампанию, объявили им войну не на живот, а на смерть. Ничего, что пока мы ее проиграли — мы перенесем дело в Москву, мы найдем все ходы и тогда посмотрим, чья еще возьмет!.. Когда я спросил председателя губисполкома: что, если Белоспасск будет взят бандитами, знаете ли что он ответил? Тогда, говорит, и будем разговаривать, а пока держитесь своими силами и в случае нужды мобилируйте весь исполком... Да, товарищи, на сегодняшнем собрании мы

приняли это постановление, но не потому, что нам грозят бандиты, — с ними мы справимся скорее, чем это кое-кому кажется, — а потому, что революция в опасности!.. Впрочем, все это касается только губернии — здесь найдутся еще руки, которые высоко подымут и понесут к полной победе социализма знамя этой революции... Ибо на сегодняшнем собрании, час тому назад наш исполком вынес постановление...

Семен Иванович тут приостановился, холодно и грозно посмотрел вокруг, набрал дыхания и выбросил с силой:

— Аннулировать на всей территории Белоспасского уезда власть губернского исполнительного комитета! Объявить Белоспасский уезд автономной Белоспасской Социалистической Советской Республикой! Немедленно приступить к организации обороны республики, к укреплению власти на месте, к ликвидации бандитизма...

Голос Семена Ивановича громом разносился по всему залу. Все собрание слушало пришибленно и онемело. Аркаша как подскочил, так и остался висеть в воздухе, ни сидя, ни стоя, глаза его округлились, рот полукоткрылся...

— Немедленно приступить к обеспечению хлебом населения города Белоспаска! — продолжал бросать Семен Иванович, бледный, сияющий властным подъемом, как-будто выросший на пол-аршина. — Немедленно приступить к организации белоспасского университета трудящихся! Организовать работы по постройке водопровода и электрической станции! Начать разработку торфяных болот в восточной части уезда... Да здравствует рабоче-крестьянская власть на местах! Да здравствует партия большевиков! Да здравствует Белоспасская республика!..

Семен Иванович остановился в позе наивысшего напряжения — с протянутыми вверх руками, с закинутой назад головой, со сверкающим взглядом, готовый вот-вот взлететь. Все члены исполкома встали со своих мест и приветствовали речь предисполкома аплодисментами. Встал кое-кто и из собрания. Остальные не знали, что делать, переглядывались, неловко вставали, снова садились, наконец, понемногу встали все. Кто-то затянул «Интернационал» — его слабо поддержали, и после первого куплета пение замерло. На эстраде произошел обмен рукопожатиями между Семеном Ивановичем и членами исполкома. Затем Палаткин вышел на край эстрады, сделал знак рукой своим красногвардейцам принять участие в рукопожатиях. Поднялась суматоха, порядок собрания на время нарушился. Оглушенный Аркаша сидел и с трудом осознавал положение.

— Абрам Абрамович, — сказал он, наконец, — а ведь это, пожалуй, не очень-то...

— Совершенная анархия, — отвечал Балалаев спокойно. — Я давно предвидел, к этому шло.

Аркаша посмотрел на него подозрительно и замолчал. Потом посмотрел вокруг с тем же подозрением и подумал:

«Конец... Завтра меня как губернского инструктора возьмут за шиворот и выставят отсюда... А то и просто арестуют. Чорт знает, что делается и что мне делать...»

Мысли Аркаши странно смешались в голове, самые дикие предположения скользили, казались правдоподобными, он тряс головой, стараясь очнуться, и испытывал такое же недоверие к себе, к своим ощущениям, как пассажир, который смотрит в окно вагона, слышит свисток, чувствует дрожание пола под собой, видит, что стоявший рядом состав поплыл мимо окон, отставая, мелькая своими вагонами, решает, что значит он — пассажир, уже начал свой путь, уже едет

все скорее и скорее навстречу намеченной цели и... вдруг — последний вагон пронесется мимо окна, грохот сразу обрывается, смолкает вдали, в окно видно неподвижное здание вокзала, и пол не дрожит, и понимает пассажир, досадуя на обман чувств, что все время стоял со своим вагоном на месте.

Все уже перездоровались, поднявшийся шум постепенно утихал, красногвардейцы возвращались на свои места. Но в дальнем углу шум, наоборот, нарастал. Не то ссорились из-за мест, не то спорили о чем-то. За столом президиума послышался звонок, призывавший к порядку. Наступила тишина, и тогда-то из этого дальнего угла раздался резкий настойчивый голос:

— Очень замечательно до чего договорились! Очень даже приятно слушать!

Семен Иванович резко сдвинул брови и звякнул колокольчиком.

— Кто там говорить хочет? — сказал он предостерегающе.

Ответом была тишина. Президиум всматривался в дальний угол, сидевшие на стульях поворачивали головы, чтобы увидеть говорившего. Палаткин встал и, подойдя к краю эстрады, проговорил:

— В чем дело, товарищ Дякин?

— В том дело, товарищ комиссар, что сомнительно нам насчет против губернии и всего иного... — отвечал из дальнего угла, поднимаясь со стула, приземистый пепельнощетинный красногвардеец. — Что ж это мы, выходит, против своего?

— Очень даже сомнительно... Правильно, — поддержали его два—три голоса.

— Об этом мы, товарищи, поговорим у себя на собрании отряда, — отвечал Палаткин сухо. — А сейчас не прерывайте, не мешайте.

Красногвардеец нехотя сел. Вслед за этим Палаткин объявил, что после собрания в ознаменование торжества учреждения новой республики состоится организованное шествие по улицам Белоспасска к зданию исполкома. Было предложено закрыть список записавшихся ораторов, что и приняли единогласно. Затем стали выступать по большей части неизвестные еще Аркаше члены исполкома. Озоров начал так:

— Очень прискорбно, товарищи, что происходит в губернии. Не скажу о с'езде — это одно, а комиссары тамошние — это другое. Мы, товарищи, которые в окопах и наперевес с оружием защищали, а попросту жизнью своей страдали, а также набивали карманы одновременно всех буржуев российских и американских! И когда нам с равнодушием и саботажем свой же брат, что вместе мы расстреливали ту же самую буржуазию и на штыки поднимали и в топки бросали, то — нет, брат, стой, кто еще крови пролил своей больше, это бабушка на-двое сказала! То — это невыносимо, товарищи, и, как я скажу, есть суший зажим революции...

Зайцеголовый Трунов высказался так:

— Выражая свое удивление, товарищи, приходится слышать нам, что некоторые присутствующие из нашего отряда красной гвардии относятся с выпадами и лозунгами по отношению к губернской власти, каковую исполком признал неправомочной, а они присовокупляют, что это означает свой против своего. Последнее мнение без всякой ответственности. Происшедшее обстоятельство есть нижеследующее: недоверие к нашим уважаемым товарищам делегатам на губернский с'езд советов рабочих, крестьянских и красногвардейских депутатов. Я предлагаю, товарищи, воздержаться, ибо — знай о чем говоришь, говори да не заговаривайся. А если ты, как бы сказать...

Трунов постарался тут грозно глянуть косыми своими глазами, вышло хоть не грозно, да злобно, но Аркаша уже спохватился, что нельзя же так сидеть, надо уйти, куда-то бежать, что-то делать. Еще раз взяло его сомнение — все ли в миропорядке нормально, не тронулся ли этот зал с места, не поплыл ли в неведомую даль, покачиваясь и кренясь углами... Аркаша тряхнул головой, взглянул в окно и бросился к выходу. Последний человек, которого толкнул он в толпе, тесно сгрудившейся около дверей, был Дыбовицкий, поднимавшийся на цыпочки и тщетно старавшийся превозмочь невысокий свой рост, чтобы заглянуть поверх голов на эстраду. Аркаша, не поздоровавшись с ним, выбежал на улицу, но тот догнал его уже у выхода.

— Аркадий Степанович, Аркадий Степанович, — крикнул он, задыхаясь, — постойте, расскажите мне, с чего там у вас началось...

Даже озлобился Аркаша — до того показалось ему противным взволнованное и красное лицо Дыбовицкого.

— Вас-то с какой стороны это трогает! Не служите, а все собрания посещаете — охота была... А впрочем, так и началось — протокол, а потом постановление исполкома. И все тут. Вы слышали — республика...

Он быстро шагал вперед, Дыбовицкий, семеня, не поспевая за ним, старался заглянуть ему в лицо.

— Да, да, слышал... Вы мне подробнее расскажите.

— Все еще злобясь, Аркаша рассказал.

— Так, так. Что же вы думаете делать?

— А я тут при чем?

— Вы же губернский инструктор и с контрольными функциями...

— А чорт его знает, что мне делать, — согласился и совсем расстроился Аркаша. — Что я могу сделать — запросить телеграммой, как быть... Что бы вы на моем месте сделали?

— Озабоченный и взволнованный Аркаша не заметил, как подошел к дому, Дыбовицкий не заметил, как вошел в дом вслед за ним. Остановились перед дверью комнаты, когда Аркаша долго и недоуменно вертел ключ в руках.

— А знаете, — предложил он, — зайдите-ка к Хворову, он должен быть дома.

«Кутенок какой-то блудный, — подумал он вслед затем, заметив удовольствие, с которым Дыбовицкий принял это предложение, — побежит, куда ни свистни».

Хворов сидел у себя будничным, спокойным, разбирал какие-то бумаги, встретил ласково, сказал:

— Рассказывайте.

И слушал молча осторожный рассказ Аркаши о собрании в клубе.

— Говоришь демонстрация будет? Ну, пускай их устраивают.

Выступление красногвардейца Дякина заинтересовало его живейшим образом, он стал расспрашивать, сколько, примерно, голов его поддержало. Из этого заключил Аркаша, что можно быть откровеннее.

— Что же делать мне-то, Иван Иванович? — спросил он беспокойно.

— Как что делать, кричи ура, если находишь правильным.

— Ура-то ура... У. меня своё начальство, губернное.

— Ну, спросись у начальства.

Заметив, что Аркаша разочарован таким ответом, Хворов сказал мягче:

— Телеграмму следует дать. Поподробнее. Запроси инструкцией, скажи, как по-твоему отразится вся эта история на земельной политике.

— А как... как... — мялся Аркаша, — как ты-то сам, Иван Иванович, к этому относишься?

— Я же не был на собрании, чего ж меня спрашиваешь? Не пошел, значит ясно, как относиться. Моя телеграмма готова.

Хворов показал на исписанные корявым почерком листки телеграфных бланков.

— И что же будет? — спросил Аркаша.

— Что будет? Надо думать снимем исполкомовскую головку.

Аркаша суетливо оглянулся по сторонам — как бы не подслушали. Он уже переставал соображать, что опасно и что безопасно, где благополучно и где крамола. Но тут же подумал: если запоздает с телеграммой, то создается впечатление, что он заодно с уездной авантюрой.

«Хворовская придет, а моей не будет. Неудобно, как-будто в заговоре».

Тут же он сообразил, что телеграммы, очевидно, посыплются — от агента по кожсырью, от почтовых отделений, от комендантов ближайших железнодорожных станций. Наконец, может быть, и исполком послал — мол, не признаем вас...

«А моей не будет...» — уже с тоской думал он.

— Вы голосовали против? — спрашивал между тем Дыбовицкий вполголоса.

— И я и Зискинд, — отвечал Хворов громко, как показалось Аркаше, излишне громко. — Мы так, знаешь ли, голоснули — всех их в рожу бандитами обозвали... Зря, конечно, из них только трое знают, в какую яму толкают, остальные либо сбиты с толку, либо совсем не освоились еще, новые... Да уж так, души не сдержал.

Хворов вдруг сжал зубы, беззвучно зашевелил губами, мимоходом взял со стола чунниковский медный подсвечник и, согнув его штопором, выбросил за окошко. Аркаша опасливо покосился на его руки и решил уходить.

«Посылать или нет? — думал он. Посылать или нет?.. Хворов — конченый человек... Надо подумать. А как же моей не будет? Да ведь информационную — случилось то-то и то-то, жду указаний... Даже можно без «жду указаний», а просто — то-то и то-то... Надо послать, это не помешает ни в том ни в другом случае... А может быть, теперь такая политика — все уезды будут объявлены республиками? Надо подумать...»

Аркаша ушел, оставив Дыбовицкого среди тихих переговоров с Хворовым.

«Посылать или нет?.. Штопор — из подсвечника. Ловко... А все-таки — конченый человек, проиграл, явно проиграл. Чем дальше от него, тем лучше...»

Телеграмму Аркаша послал.

XXXII

Таков уж воздух — прозрачен, невинно-чист, невесом, неошутим. Ходит человек среди этого воздуха, расталкивает его, наступая на него ногой, одевается им вместе со своим платьем, прихватывает его ладонью, пожимая дружескую руку, дышит им, пьет с по-

целуями любимой, слышит его движения в пении, в звонах, в шуме, в брани врага, в плаче младенца. И — не замечает. Как-будто и нет его. Как-будто кругом — синяя пустота, соянный простор, в котором дано свободно двигаться человеку. Уступчив воздух, мягок, податлив всякой ласке, благосклонен телесному человеческому бессилию, словно создан он для того, чтобы быть на земле ясным, как детский сон, предосенним днем?

Вот необъяснимо высоко в небе сквозное перистое облако. Легкой, нежнейшей кистью нанесено оно на глубь вселенской сени. Это не воздух, не прозрачная сила его держит над собой сияющее покрывало — нет, прямо на лучах солнца подвешены сквозные струи и как млечный путь пересекают небо, храня своей дуге донный узор пересохшей песчаной речки. Леса едва колышат на ветвях теплый покой, это не ветер качает ветви, это сами деревья, излучившись покоем, хотят разорвать колдовское небытие и, неспособные разорвать, вновь впадают в него, как человек, пошевелившийся в тяжелой дреме руками и вновь затихший, бросив в стороны эти руки. Белые тенета бабьего лета падают на луга, словно тонкие тяжи, которыми связано солнце с землей, лопнули и перепутались в цепкую отжившую пряжу. Не видно птиц, и падают грузно в траву ожиревшие кузнечики, не найдя опоры прыжку.

Говорит человек другу:

— Как светло жить в мире, как легко ходить по полям и берегам реки. И как одиноко, скучно и пусто.

Нет тебя, воздух. Не виден ты глазу и хочешь, чтоб совсем забыл о тебе человек. Но, живя и тоскуя, бродя по скошенным жнивьям бережет он тебя в своей памяти неясно для себя, помнит о тебе всем существом, хоть и не умеет подумать. И как же он рад, когда по волнующейся струе, змеей пробежавшей поверх султанов заболоченных камышей, по туманным коням, мчащим в небесах пойманный в торока и трепещущий дождь, по рассмеявшимся от живого зеленого счастья деревьям заметит, — неясно для себя, — что есть воздух, есть вокруг ветер!

И говорит человек другу: еще светлее стало жить в мире. Еще легче бродить среди пней на лужайках. Уйдем надолго в поля.

Тогда — шутишь ты, ветер, балуешься с ребятами, поднимая веселые змейки, треплешь хвосты их, трещишь на потеху змейковым барабанам и гребням. Тогда — качаешь ты на зыбкой спине своей крылатые размахи птиц, обваливаешь на ветрянки сыпучие прозрачные сугробы, и те, присев от такого налета, опираясь на длинное поворотное бревно, дрожа, скрипя снастью, только крутят от изумления лучистыми своими головами. Тогда насыпаешь ты в паруса такого упругого пуха, что сразу становятся они подушкой, и ты, припав к ней ухом, стремишься к мечте и с шипом увлекаешь заодно и лодку. Даже ту, веселную, где догадливый парень, пропотев от гребли, поднял на веслах заплатанный свой пиджачишко, толкаешь его добродушно — не бросить же убогую в пути. Ты мотаешь над домами дым человеческого жилья, ты вваливаешься в открытые окна и двери, бродишь по комнатам, хулиганишь мимоходом, задувая лучину, которой разжигает баба тусклый самовар. Ты сбрасываешь на землю домашние стираные тряпки и возносишь на плечах своих аэропланы к самому поднебесью. На все руки ты ловок, неутомим, удачлив.

Но все не хочет думать о тебе, работаге, непроснувшийся человек, все еще кажется ему, что обходится он без тебя, хоть и слышит в ушах смолоду позабытую песню.

Тогда-то впадаешь ты в сумасшедшую ярость. Наткнувшись на голую кручу, взвиваешь кверху столб воющей пыли, бьешь в лоб его с другой стороны, сжимаешь, кружишь, вытягиваешь, вбиваешь в болотное небо, с гогом срываешь его с места и гонишь, и ва-лишь, и давишь, и наотмашь сыплешь кистенем удары по заревешшему лесу, рвешь крыши, бросаешь заборы и останавливаешь поезда. Воплем встречают тебя озера, ты мнешь их тысячесильной рукой и, приподняв, закружив в смерче, на бегу тучными губами пьешь озерную воду, летишь дальше, роешь ямы, засыпаешь овраги, вырубаешь просеки, сбрасываешь лавины в горах, хватаешь все на земле и бушуешь, и рушишь, и губишь, и бьешь, и бьешь, — и неистовуешь ты, ветер, ты, воздух!..

— Страшно и весело в мире, — говорит человек суровому другу. — Мы первый день сегодня живем.

Кружится человек в буре, грохоте, вое, раскатах грома, слепнет от молний, еле стоит на ногах. Качается под ним земля, леденеет его сердце, скорбь слетает к нему, чтоб судорожной от ужаса рукой показать опустошения всесветного вихря. Но первый раз дышит он всей грудью и помнит, что дышит, и знает, что ярким пламенем зажигает его воздух борьбы, погубительной схватки, ворвавшись в восставшую кровь. Устоит человек, соберет жизненосную эту мятежную силу, взнудает огнем и сталью и в каменных столбах устроит работу гигантские топчачки, чтобы, с ревом пронесшись через них, взвился к небу немолчную песню о непрерывном потоке работ, заданных ему человеком.

День бабьего лета пил над Раменьем золотистый настой со-сновой смолы и вянувших трав. Земным ковшем, расписанным кругом лесами, лежала поляна, а в ней — село, затонув в луговых и лесных ароматах.

По песчаной дороге, стекавшей из леса к селу, проехал тарантас и остановился возле одной из крайних изб. Из тарантаса вышел с неизменным ковровым саквояжем в руках Хворов. Ямщик, не распрягая лошадей, разнуздал их и ввел тройку под навес к кормушкам. Навстречу Хворову вышла жена, крепкая, уже заметно беременная баба, и восемнадцатилетний старший сын. Жена поздоровалась неловким, робким поцелуем твердо стиснутых морщинистых губ, предварительно вытерев губы обратной стороной ладони. Сын — высокий, тонкий парень в полотняной рубаше и лаптях — тоже поцеловался с отцом и принял от него саквояж. Иван Иванович предварительно вынул оттуда узелок и, быстро пройдя в избу, принялся здороваться с меньшими, оделяя их из узелка жамками, купленными на базаре в Белоспасске. Отвыкнув от отца, дети не решались при нем есть, держали пряники в руках и молча смотрели на мать. Отец осматривал их внимательно, бросая по временам отрывистые вопросы:

— Ксюшу-то, мать, поила чередой? Все у нее золотуха не проходит. Мотя вымахала, гляди, на четверть, полсапожки, должно быть, малы стали. Если малы, передай Ксюше, я тебе тогда привезу товару на новые...

Иван Иванович осматривался кругом как-будто недовольным взглядом, требовательно, придирчиво. Так бывало всегда в первые минуты приезда — не верил он в качества своей семьи, слишком много видел, слишком много передумал, слишком часто перекидывался из города в Раменье, из Раменья опять в город. Сравнение того и другого было всегда не в пользу села. Он вспоминал, как

долго, уже надев рабочую чуйку, ходил среди городских рабочих деревенским обрубком, не умея войти в среду тех, которые его привлекали своей развитостью. Проходили месяцы, он ясно чувствовал неудовлетворенность своими знакомыми, недавно попавшими на завод, или давно, но неграмотными, неквалифицированными, так и оставшимися в рабочих низах. И как же пришлось поработать, чтобы заслужить себе право на вхождение в среду вожаков, право на признание, доверие и уважение к своим взглядам. Оказалось, что надо сперва сформировать эти взгляды, что недостаточно одних добрых побуждений. Да... А где же найти это все в деревне, где найти руководителя и толкователя жизни, у кого поучиться ремесленным навыкам? Иван Иванович не хотел презирать ни односельчан, ни своей семьи, но поневоле выработалось у него требовательное, взыскательное отношение к ним. Вот почему, приезжая, он придирчиво осматривался кругом, стараясь по пустякам заметить, сделать вывод — как живут, как работают, научились ли чему-нибудь, растет ли воля или разбалтывается. Журил, а в глубине души думал: «что ж это я — все налетом, налетом. Нужно бы примером показать, а не раз в год, руганью... Эх, ма!»

К старшему сыну Василию относился Иван Иванович особенно требовательно. Здесь чувствовался его душевный разлад: надо бы еще года два назад определить сына на завод, но было тревожно оставить семью без взрослого мужчины. — Василий заменял отсутствовавшего, комиссарившего отца... Неладно это, — чувствуя свою несправедливость, он был к сыну строг.

Вот и сейчас. Жена уже занялась обедом, малыши жевали жамки. Придирчивый глаз Ивана Ивановича заметил, что табурет, на котором стояла дежа, покосился оттого, что рассыпался переплет ножек.

— Ты что ж, Василий, ротозейничаешь, — сказал Иван Иванович, — все ждешь, чтоб отец починил.

— Недосуг было, — отозвался сын.

— Хозяйства на недосуг не продержишь, — храпнул Иван Иванович сердито. — Значит отцу должен быть досуг...

И тут же, решив упрекнуть примером, он бросил пиджак и вытащил из угла ящик с инструментом, чтобы прихватить рассыпавшийся переплет гвоздем. Но ящик был почти пуст. Только два поломанных рашпиля валялись на дне его.

— Это кто сломал? — возмутился Иван Иванович.

— Я, — признался сын, потупясь.

Иван Иванович сердито молчал, рассматривая обломки.

— Что это за глупое обращение с инструментом? — начал он, краснея от раздражения. — Рашпиль английской стали, хорошая вещь, им веку нет, а ты, изг...л. Вот уж не в коня корм. Что ты ими, гвозди что ли заколачивал?.. На заводе, да в особенности у хозяйчика маленького, тебе бы, знаешь, как наложили по заправку? Балда ты, балда... Говори, как изломал?

— Я ось подтачивал... — оправдывался Василий.

— Ось! Так что же, надо было со всей силы? Один сломал, мало показалось, давай другой?.. Какую ось точил?

— От станка... Я тут токарить взялся, станок наладил.

Иван Иванович помолчал.

— Какой станок? — спросил он недоверчиво. — Покажи. А где остальной инструмент?

— Там же все, на дворе.

Они вышли во двор. Там в дальнем углу под навесом лежала куча белого дерева, которую заметил Иван Иванович еще давеча,

сходя с тарантаса. Но только теперь разглядел он колесные спицы и ступицы, частью собранные, частью в беспорядке разбросанные по земле. Он поднял глаза и увидел укрепленное между двумя столбами как бы подобие трансмиссионного вала. Приводной ремень соединял деревянный маховик этого вала со шкивом станка. Одним взглядом Иван Иванович проследил устройство, все нехитрое взаимодействие частей и сразу же усомнился в точности работы станка. Ни слова не говоря, он наступил на педаль ногой и толкнул рукой маховик. Вал завертелся плавно и твердо. Иван Иванович нажимал ногой все чаще, все сильнее, вал вертелся все скорее, но втулки в столбах не качались, наоборот, в быстром ходе вал приобретает только большую устойчивость. Из этого Иван Иванович заключил, что маховик достаточно тяжел, хорошо центрирован, что ось хорошо выпрямлена.

— А ну-ка, дай сюда чурку, — крикнул Иван Иванович сыну, разгорячившись от быстрого движения.

Василий укрепил в зажимах заготовку колесной ступицы и подал отцу резец. Иван Иванович опять приналег ногой, чурка завертелась, и резец, прыгая на неровностях дерева, прочертил первую кольцевидную борозду. Иван Иванович принаравливался всячески, но не находил нужной шноровки.

— Позвольте, папа, — отстранил его сын.

Василий взял ровный и сильный ход, привычно согнулся и, зацепив резцом дерево, снял несколько спиральных стружек. Потом оглянулся на отца, чтобы объяснить ему, как нужно прижимать резец, но остановился от смущения, увидев, что тот стоит с выражением величайшего удовольствия на лице и все время перебегает глазами с движущихся частей станка на руки сына. Василий отпустил педаль, станок с легким скрипом стал.

— Ось из чего сделал? — храпнул Иван Иванович.

— Из лома. Не сам — выгнул на кузне дядя Кондрат. Я только концы подточил.

— Низко сделал станины, нагибаться сильно приходится... Почему мне не написал? Я бы тебе привез что нужно — вон ремень-то у тебя недолго выдержит. Это ты сам наворочал?

Он кинул головой на кучу готовых колес и частей.

— Сам... Теперь и Пронька Шишкин станок ставит, а дядя Егор уж давно, вместе со мной поставил, я же ему помогал... Хотим еще два-три поставить, а тогда артелью начать...

— Молодчина, Василий... — совсем довольно расхрапелся Иван Иванович, — конечно, это не то, что заводский по металлу, я и приспособиться никак не могу. А все-таки новая машина на свет появилась. И рашпиль делом сломал, это, брат, издержки производства. Я тебе новые привезу. И резцов привезу, ты мне скажи каких...

Он стал расспрашивать, откуда сын берет железные шины, как гнет колесные ободья. Василий отвечал теперь солидно, с весом, отец посматривал на него с уважением и тихой усмешкой. Думал: «вот ведь кровь-то как сказывается. Обязательно надо его к зиме на завод... Как вернуться в Белоспасск, немедленно напишу по всем товарищам...»

За обедом, узнав, что десятилетний Ваня прошел наемни с плугом первую в своей жизни борозду, Иван Иванович совсем развешился:

— Эх, ребяташки, — говорил он, — мне бы с вами пожить тут хоть месяц другой, а не на три часа заехать...

— И то правда, на три часа — ведь это что такое! — ворчливо проговорила жена, но тут же, оробев, пошла греметь рогаками в печке.

Однако, Иван Иванович уже замолчал об этом, уже перешел на другое: сколько собрали сена, как поспевают в огородах капуста, не есть ли червь. И едва лишь обед кончился и ямщик, перекрестившись, положил свою ложку на недоеденный ломоть хлеба, как Хворов уже затропил с отъездом. Начались прощанья, Иван Иванович передал жене несколько керенок — это произошло в углу, спинами к остальным, оба смотрели на деньги тем суровым взглядом, каким всегда смотрят много трудившиеся и нуждавшиеся люди на добытые гроши, каким люди смотрят на независящее от их участия страдание; на безвыходное горе.

Семья провожала Хворова до тарантаса, трехлетний сопливый Пашка проводил отца, сидя с ним рядом, еще домов десять, на зависть своим сестренкам, и опрорхнувшись, вернулся домой, как только его посадили. Хворов махнул своей грубошерстной шляпой, и тарантас покати к экономии, что в версте от села, у самой лесной опушки грела на солнце свои зеленые крыши.

Встречные крестьяне кланялись Хворову, многим кланялся он первый, сохраняя за собой в этих поклонах то же место, какое принадлежало ему еще тогда, когда он был рабочим, крепко связанным со своим наделом. Выехали за околицу, стали встречаться бабы, стал Иван Иванович здороваться громко:

— Здорово, тетка Ульяна!.. Здравствуешь, кума, как крестники?

Между скошенного жнивья доехали до экономии быстро, и уже выходил навстречу Хворову длинноногий живоглазый Евлампий, сосед и лучший по деревенскому детству друг. Хворов соскочил с тарантаса и сразу вместе с рукопожатием начался обычный разговор, для которого и приезжал всегда Хворов: о раменской молочной маслобойной артели, устроившей свой склад в помещениях бывшей экономии.

— Почем торгуете? — быстро спрашивал Хворов.

— По три с полтиной.

— Куда теперь возите?

— На Лыксунские заводы. Договор подписали.

— Что это мне все бабы навстречу попадались с порожней посудой?

— А это теперь третий удой ввели, по полдням доим прямо на выгонах.

— Ну?.. И что же, лучше, больше что ли дают?

— Много больше—поспрошай, если хочешь. Сперва бабы не верили, на примере им доказали. Сейчас полденный удой через сепараторы пропускают — хошь посмотреть?

— А? Да нет, некогда, я на самую малость завернул, надо ехать. Только хочу пройти на овсы, что по косогору сеяли, — в копнах или уж убрали?

Они свернули на межу, и там разговор стал медленнее. Евлампий говорил о делах артели подробно: о процентах жировых веществ в молоке в зависимости от того, на какую поляну гоняли скот, о предположениях перейти на сыроварение. Потом стал спрашивать Хворова о Белоспаске. В это время они уже вышли к косогору и Хворов уже бормотал, подхватив на ладонь горсть земли:

— Сколько лет хаяли место — вымочки... Хоть бы кто подумал засеять под яровое. Пойдем-ка назад.

И, оглянувшись вокруг как бы на прощание, заговорил:

— В Белоспасске, говоришь? Там идет суший кабак. Ты вот мне, Евлаша, говорил об артели, так я тебя даже не перебил ни разу, почти ни о чем не спросил. Это по двум причинам: первое — надо обождать разговор, потому что некогда, второе, это — то, что у меня на уме заботы. Знаешь, почему я здесь? Потому что пред наш, Семен Иванович, совсем свихнулся, такую контрреволюцию развел, что и не чаю, как ее расхлебать. И то досадно, что увлек за собой других, прямо глаза им залепили и уши. Держит кого на страхе, кого на корысти, кого на обмане революционного чувства. Давно я предвидел, что получится что-нибудь неладное. Сколько ни бился, сколько ни боролся — ничего не получилось, нет у нас пролетариата настоящего, и последних друзей растерял. Словом, объявили Белоспасск республикой... Что ты ойкаешь? Так и объявили... Балды... Теперь мое положение: меня и еще одного товарища из губернии — Зискинда — еле терпят, того гляди арестуют. Это за то, что мы напролом шли против. Я было установил связь с губисполкомом, шифром, понятно, то-есть цифрами — кто не знает, не разберет... Перестал получать ответ. Значит задерживают, значит и мои не доходят. Вот и пришлось посылать телеграмму не из города, а из Кустаревского почтового отделения. А тут у вас Агеев, говорят, зашевелился очень, вот я и увязался с отрядом Мишки Палаткина. Насчет Агеева — правда ли? Правда ли, что он уж открыто раз'езжает?

— Раз'езжает. В Архангельской даче лесопилку сжег тому недели две.

— Слышал. А много ли у него народу?

— Кто его знает... Должно человек пятнадцать, не боле.

— К вам не грозился?

— Пока нет. А уж я, признаться, побаивался за артель — налетит, пожжет, поломают машины...

Межа кончилась, вышли на дорогу. Хворов, ни минуты не медля, распрощался и с нахмуренным лицом сел в тарантас. На прощание крикнул:

— В следующий раз приеду, может, дня через два-три, тогда наговоримся... Сыроварение обязательно наладьте, если что нужно, пишите, все приложу, чтоб устроить. Прощай, Евлаша...

И тут только заметил, какой белый Евлампий — холщевая рубаха, такие же штаны, светлое лицо с живыми глазами и светлой бородкой вокруг. Самое темное в нем — руки, потрескавшиеся, неотмываемые. «Молитвенный он какой-то, — подумал Иван Иванович наскоро, — все, поди, книжечки толстовские читает. А все-таки им другого такого председателя артели долго не найти...»

Евлампий стоял на конце межи и смотрел вслед тарантасу. Грелся ли он на солнце, отдыхал ли или думал свои независтливые думы? Скорее всего, что все сразу: отдыхая и греясь, вспоминал прошлые годы, задавал себе вопрос, почему так случилось, что в ребячестве вместе они купались, вместе играли в лапту, в один год получили от отцов кожаные сапоги, одновременно стали прирабатывать. Почему же случилось так, что когда Иван Хворов, завернув после полугодичного городского житья, стал звать с собой, то он, Евлампий, не поехал? Интересна что ли не было к городу? Или потому, что женился? — «Нет, — думал Евлампий, вспоминая письма свой к городскому другу и просьбы о посылке пятикопеечных книжек, — антрес у меня был. И жена бы не помешала — прожил же Иван в городе с семьей года три никак. Надо думать, робость моя помешала — все боязно было. И еще, надо признаться, осуждал я Ивана, первое время особенно — зачем тянется, в чужие сани лезет.

И гордость во мне прибавилась к деревенской, крестьянской — книжная. Думалось: невелика заслуга в заводские крепостные итти. Для себя лучше всякий сумеет, а ты вот вызволи, чтобы в общем лучше... И как знать».

Евламий старался строго и беспристрастно выяснить для себя давний вопрос — обманул ли его глазомер или прав он был, оставшись в деревне. Раздумывая, он стегал тростинкой по жестким стеблям межевого чертополоха и посматривал на под'езжавший к опушке тарантас. Вдруг тройка описала резкий круг и быстрой рысью стала возвращаться. «Что-нибудь забыл» — пришло в голову Евлампии, и он заторопился навстречу. Ему было видно, как ямщик, встав на козлах, нахлестывал лошадей, тройка перешла вскачь, Евламий припустился навстречу бегом, но тройка внезапно свернула на поперечную дорогу.

— Вот тебе и раз!.. — удивился Евламий, остановившись, и тут только заметил, что из леса выехало два всадника, а за ними тройка, запряженная в пролетку. Тарантас Хворова мчался во всю прыть. Тогда по всем опушкам лесов, окружавших Раменье, жидко прощелкало эхо выстрела.

— Батюшки, да ведь стреляют-то в Ивана! — сообразил Евламий и, что-то поняв, бросился к зданиям артели.

На бегу он то-и-дело оглядывался и видел, как всадники подняли своих лошадей в галоп.

— Уйдет или нет? — задыхался среди бега Евламий...

Послышались новые выстрелы. Тарантас Хворова стал.

— Подбили! — прокричал Евламий, — убили Ивана, каины прокля... проклят...

Ноги его подкосились, он рухнул на колени, руками и лицом в дорожную пыль.

Но, тут же приподнявшись, увидел, что всадники быстро приближаются к остановившемуся тарантасу. Послышался одинокий выстрел, слабее и суше, чем прежние. Передний всадник как-будто нырнул вниз. В ту же минуту от тарантаса отделилась и понеслась вскачь вперед белая пристяжная...

Евламий, хромая и весь дрожа, шел вперед, лицо его было в крови, весь он испачкан в черную дорожную пыль, руки делали судорожные движения вместе с каждым прыжком белой лошади, живые глаза остановились в страшном напряжении. Слышались новые выстрелы, Евламий приседал и подпрыгивал при каждом из них, совсем безумея лицом. И только тогда, когда белая пристяжная скрылась из глаз за лесом, он остановился, глубоко со всхлипом вдохнув.

— Ну, теперь хоть и догонят — он пешим напрямик через лес уйдет...

Видимо, поняли это и преследователи — все они сгрудились около хворовского тарантаса. Вслед за ними из леса двигались еще две тройки. Евламий опять побежал к зданиям артели, теперь уже обдуманно и зорко выбирая свой путь. И когда через четверть часа к экономии под'ехали вооруженные люди, все помещения артели были заперты на замок, никого, кроме Евлампия, не было, и он встретил приезжих совершенно спокойно.

Пролетка под'ехала первой. С нее сошли: Агеев, высоколобый, но без подбородка офицер и приземистый, мясистый лицом дьякон Порфирий, уже отхвативший ножницами бороду, окорнавший в кружок волосы на голове и одевший под пиджак брюки в сапоги. На козлах остался подтянутый юноша с длинным немецким носом. Две другие тройки были впряжены в тарантасы, на них сидело по три

человека, включая возниц. Последним подкатил хворовский тарантас с висящими обрезанными постромками правой пристяжной. На нем, кроме ставочного ямщика, сидел перепачканный юнец в разорванной гимнастерке и лежало седло с запятнанным кровью потником. Большинство приезжих было вооружено короткими кавалерийскими карабинами, все при револьверах, немногие из них были старше двадцати.

Агеев поднял затянутую в перчатку руку, выпрямился, вытянулся вверх и полускомандовал:

— Стоп! Не распрягать, не сходить!.. Капитан!

Высоколобый офицер повернулся к нему, слегка щелкнув каблуками, притронувшись к козырьку и невесело глянув ему в глаза.

— Вы возьмете всех, кроме Володи, отправитесь в село и через...— тут Агеев взглянул на часы,— пятьдесят минут будете здесь с председателем и секретарем сельсовета и оседланной лошадей взамен убитой. Отец Порфирий остается при мне. Срок, указанный мной, совершенно достаточен: полчаса дорога, двадцать минут на остальное. Учитывайте, что в селе есть вооруженные, действуйте как можно решительнее и быстрее. Все ясно?..

Капитан утвердительно прикоснулся к козырьку. Агеев взглянул на стоявшего в стороне Евлампия.

— Эй, чумазый, дай сюда какого-нибудь мальчишку, кого-нибудь в проводники. Нет никого? Тогда сам поедешь. Капитан, вернись с проводником, воспользуйтесь им для ускорения розысков председателя и так далее. Ну — шагом арш!..

Евлампий молча и нерешительно топтался на месте.

— Садись в пролетку, — крикнул ему капитан.

Евлампий продолжал топтаться, капитан крикнул:

— Володя, помоги ему!

И Евлампий вздрогнул от резкого толчка прикладом в спину. Он взмахнул руками, подался вперед, хотел обернуться, но острый угол приклада настойчиво преследовал его, не давая опомниться. Евлампий сделал нелепый прыжок вперед и живо обернулся, растопырив руки: он увидел перед собой того самого юнца в разорванной гимнастерке, что был спешен пульей Хворова. Глаза юнца внимательно искали места, в какое ударить, и вдруг Евлампий охнул от удара в живот и повалился навзничь. Падая, он ударился руками, ловившими воздух, о крылья подведенной сзади пролетки — удар вогнал его на дно между козлами и сиденьем. Сильные руки схватили его подмышки, подтянули и уложили. Пролетка сразу же рванулась вперед. Последнее, что слышал Евлампий, были слова:

— Постарался, дурачина... На кой чорт мне такой проводник...

Очнулся Евлампий от ощущения холодного и мокрого. Долго лежал с чуть открытыми глазами и слушал какие-то девчонкины причитания. Наконец, разглядел склонившееся заплаканное лицо племянницы Агашки, слышал явственно:

— Дядь, а дядь, принесть еще водицы, что ли?..

Евлампий поднял руку и пощупал мокрую бороду, мокрое лицо.

— Что они... — сказал он прерывисто. — Не до конца еще значит. Еще жив я... Где они-то?

Он приподнялся на локте, на миг увидел совершенно желтый предсмеречный воздух, насквозь окрашенный лучами опустившегося к лесу солнца, и тут же упал от сильной тупой боли в животе.

— Ляжь, ляжь, — зашумела на него Агашка, — сейчас тетка Лизавета с телегой приедет, заберут тебя... Урядники-то уж выехали, уж наши за ними припустились на лошадях... Да еще на лошадях поехали какие-то с шатлями, красны гвардейцы из города, что ли, стреляли тут из ружев...

— Гарью-то отчего пахнет, — спросил Евлампий, втягивая носом воздух, и, вдруг сев одним резким движением, застонал от боли и от того, что пришлось увидеть: в густом желтом воздухе здания артели пылали белым пламенем, черный столб дыма уходил в невероятную высоту и, ни разу не переломившись, расплывался там в золотисто-коричневый мутный стог.

Евлампий сразу завертелся, скользя по отсыревшей от пролитой воды земле, встал, преодолевая боль, сделал несколько шагов. Агашка бросилась вслед за ним, уговаривая:

— Ля-яжь, ды ляжь жи...

Но он ее не слушал, только оперся на ее плечо, порываясь вперед, то-и-дело хватаясь за живот. Агашка ревела в голос и поддерживала изо всех сил. Так и пошли — заливающийся плачем подросток и мычащий от боли, от отчаяния избитый, вывалившийся в грязи и в кровавой моче мужик...

Две телеги с кадушками, полными воды, обогнали их, только крикнули что-то на ходу запотевшие мужики и поехали дальше. Евлампий все стремился вперед, Агашка почти падала от тяжести опиравшегося на нее тела. Все усиливавшийся треск горевшего дерева, вой собак и крики людей сливались со звуком раменьевского церковного колокола. Сарай с сеном выбрасывал вверх фонтаны искр и уже догорал, остальные постройки полыхали, как жаркие костры, чадным факелом, — склад масла. И когда, наконец, Евлампий притащился к тому месту, где пожар уже опалил лицо, он понял, что все погибло, что ничего не спасти — все здания были подожжены одновременно. Мужики возились, растаскивая заборы, но привезенная вода стояла без дела — нечего было отстаивать от огня.

— Пропала, пропала артель, — сказал Евлампий беззвучно и, поведя вокруг воспаленными в синих кругах глазами, стал клониться набок.

Агашка не смогла удержать его. Он осел и привалился головой на чье-то холодное плечо.

Так и нашла его подехавшая с телегой Лизавета — кровоточащим, рядом с двумя трупами расстрелянных Знобишина и Суркова. Когда его поднимали на полог, он уже в бреду узнал лица председателя и секретаря и сказал:

— Все погоню слушают... Вы, мужики, послушайте, а я сам в погоню ударюсь... А вы землей послушайте — она вам все, матушка, скажет...

Он уже жил всеми бредовыми помыслами там, где в версте друг от друга неслись два отряда: впереди налетчики, а вдогонку им Иван Хворов на белой лошади во главе пятнадцати всадников...

...И верно, была погоня, и верно, был среди отряда Хворов, только уже сменивший белую пристяжную на крупного гнедого мерина.

Задержал налетчиков мост через безымянную топкую речку, что протекла по выходе из Раменья вдоль опушки. Мосток оказался разобраным, и, пока наводили его вновь, прошел добрый час. Сам Порфирий по пояс в грязи укладывал жерди и бревна, не отставали и другие, но тому, кто разбирал, было гораздо легче — бревна бросались прямо в воду. Как ни ленива была речушка, а за время от по-

явления налетчиков и первых выстрелов до их отъезда она сумела забросать мостовые жерди на длинную и тяжелую полуверсту. Кончали наводку под выстрелами: уже сколотили раменцы из своих охотников отряд, и кто с винтовкой, доставшейся на фронте, кто с двухстволкой, заряженной картечью на волка, кто с простой шомпольной одностволкой повели наступление. Огонь их был недействителен, но винтовочные пули угрожающе сипели над головами налетчиков, выстрелы слышались с разных сторон, и мужики, зная каждый кустик, успели обойти сбоку незамеченными. Оставив на мосту пять человек, агеевцы рассыпались в цепь и перешли в контрнаступление, при этом был убит наповал фронтовик Пронька Шишкин. Лежавший рядом с ним Василий Хворов едва успел взять его винтовку и отползти в сторону, в яму — лицо его больно стегнула земля, разбросанная зарывшимися пулями. Вся поляна гремела, как-будто по стволам опушек катали пустые боченки, величественно осеняла эту смертную суету бурая голова дымного столба над пожаром, и странен был тихий теплый воздух в его невозмутимости.

Все же успели и раменцы нанести урон налетчикам — подбили лошадь одной из троек. Паника, подымавшаяся в конце концов среди агеевцев, заставила их бросить тарантас без попытки освободить агонизировавшую лошадь. Отец Порфирий совершенно изнемогал, ворочая бревна, но когда, выбившись из сил, он приостановился и длинноносый юнкер вытянул его нагайкой, он даже не обратил внимания и снова бросился наваливать последние бревна настила. Тут-то и продолбил насквозь желтизну набегавшего вечера гогочущий ключ стального трехногого дятла — дал первую очередь пулеметчик палаткинского отряда, только-что выехавшего на опушку противоположного края раменской поляны...

Эту очередь продил резкий свисток Агеева, собиравшего своих соратников к мосту. Впрочем, он был излишним — со всех сторон уже бежали полусогнутые фигуры. Весь с головы до ног в черной тине, с обезумевшим лицом, отец Порфирий сидел на козлах и многоколенным ругательством призывал мешкавшего капитана. Пролетка прогрохотала по мосту первой, вслед за ней, вороша настильные жерди и настегивая проваливавшихся лошадей, понеслись остальные седыки и всадники к спасительному лесу. Новая очередь пулемета легла по стволам первых сосен и прозвучала так, как если бы отряд плотников в сотню молотков почти враз стукнул по долотам, заколачивая в сосны взрывчатую паклю. И едва агеевцы скрылись в лесу, как бросились раменские мужики, кто с шомполками — поправлять настил, кто с винтовками — выводить брюхатых своих лошадей и снаряжать погоню....

Кончили опушки раменской поляны перебрасываться боченками, отгремели выстрелы, и стал тогда слышен пыльный тяжелый топот несущегося во весь опор конного отряда. Наискосок мимо села пролетел отряд и, не задерживаясь, ворвался в лес. Вслед за ним верхами на своих сивках высыпали раменские охотники. Опустела поляна, только с десяток мужиков остались на пожарище, да бабы с детьми заперлись по избам...

Зато ожил лес. Дорога, поднимавшаяся вперед по узкой хвойнобояной просеке, стала руслом потока, обращенного вспять озверевшим ветром. Взмыленные кони кидались вверх с оскаленными зубами, приостанавливались, роняя пену, но настигала новая волна и грудью своей теснила первую, заставляла взмыть дальше, выше... Повозки налетчиков прыгали по корням, возницы на козлах, стоя, изо всех сил хлестали лошадей ремнями, нагайками, чем попало, с заднего

тарантаса то-и-дело ударяли выстрелы, пули стегали по просеке и, задевая о ветви, сыпали хвою. Красногвардейцы мчались вперед, пренебрегая стрельбой, с обнаженными шашками. Только били подковы по твердым корням, били в лица низкие ветви, только храпели да стонали запаленные кони.

Агеев стоял, прислонившись спиной к высоким козлам, смотря назад на убегающую вниз просеку. Ему был виден как на ладони весь пройденный, гремевший погоней путь, тарантасы своих, пустое пространство дороги, от длины которого зависела жизнь и смерть, подвижная стена всадников, подкрепляемая дальше все новыми и новыми, раменная опушка и столб дыма, поднимавшийся с поляны, как от вулкана. Лицо его было смято бешенством, правая щека и глаз плясали, подергиваясь:

— Не стрелять! — кричал он, — беречь патроны, болваны!

И видя, что голос его гаснет в общем шуме, яростно размахивал револьвером. Обернувшись к отцу Порфирию, бывшему по крупам лошадей винтовочным шомполом, ударил его по лопаткам кулаком, заорав:

— Стой, стой, сука, иначе я тебе всажу пулю в башку!

Капитан, схватил его сзади за талию, упал с ним вместе на сидение

— Они отстают!.. — крикнул капитан ему в ухо.

— Идиоты! — кричал в ответ Агеев. — Это не отступление, а паника!.. Надо немедленно спешиться и рассыпаться за стволами деревьев!.. Мы здесь можем задержать целый полк!.. Скоро ночь!..

Но отец Порфирий продолжал хлестать лошадей, пролетка прыгала по корням, готовая вот-вот рассыпаться..

А между тем сзади, где, тесня друг друга, мчались с багровыми лицами красногвардейцы, было молчание и трехударный топ. Рядом с Палаткиным, прижавшись коленом к его седлу, скакал Хворов. Гнедой мерин бросал его в седле, но он, крепко обжимая ногами туловище коня, уронил поводья и с винчестером в руках отдался всецело этой плотной массе лошадей, выносивших в гору. Отряд, товарищи казались ему неподвижными, не двигались храпящие морды лошадей, лишь слегка колышась вниз и вверх. Но навстречу колесом катилась дорога, лес падал, подъем набегал, и в неистовом стремлении Хворов ждал мига, когда будет во что врубаться, будет по чему бить прикладом. Выстрелы беглецов, хлопавшие по просеке, только подстегивали этот трехударный гул галопа, родивший гончие клички: нагоняй, настигай, забегай, нажимай, надавай, доканай, хватай, бей!..

— Только бы не догадались в лес!.. — крикнул на скаку Палаткин.

И только лишь крикнул, как там, вдалеке, где просека ломалась, уходя влево, тарантасы сгрудились и остановились.

— Гони! — гикнул Хворов, и еще крепче надавали осатаневшие лошади..

Как раз'яснилось после, налетчики врезались на повороте в возвращавшееся на ночь из леса раменское стадо. Передние коровы шарахнулись было назад, но задние напирали плотной стеной. Стадо заметалось в узкой просеке, забило ее. Задние тарантасы ударников наскочили на передние, один из них опрокинулся. Агеев безуспешно пытался подавить панику, взять в руки своих людей, — налетчики бросились в разные стороны, рассеянные и смятые прорвавшимся, наконец, стадом. Погоня настигала их в тот момент, когда капитан собрал около себя половину, пытаясь создать засаду по левую сто-

рону дороги. Выбор был неудачен — в тылу налетчиков оказалось озерко, отрезавшее им отступление. И когда спешившиеся красногвардейцы окружили это место, высоколобый капитан отстреливался до той минуты, пока Палаткин не прострелил ему на вылет шею. Кончал красногвардеец Гриша — шашкой. Длинноносого юношу убили, полузадушенного, выстрелом в висок, отцу Порфирию проломил череп Хворов прикладом винчестера. Оставшиеся приняли смерть от пуль, уйдя по шею в воду, в озерко.

Агеев с остальной половиной скрылся по другую сторону просеки, не пытаясь отстреливаться. Погоня и розыски по завечеревшему лесу ни к чему не привели.

(Окончание следует)

Три стихотворения

Э. БАГРИЦКИЙ

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Я не запомнил —
На каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд...
Качнулся мир...
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась с голубом тазу.
Я к ней тянулся.
Но сквозь пальцы рея,
Она рванулась — краснобокий язь.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия
И все навыворот...
Все как не надо...
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал;
В ладони ястреб падал;
Плясало дерево...
... И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали,
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец,
Все бормотало мне:
— Подлец! Подлец! —
И только ночью,
Только на подушке,
Мой мир не рассекала борода;
И медленно, как медные полушки,
Из крана в кухне
Падала вода,
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точило лезвие...
— Ну как, скажи, поверит в мир текучий
Еврейское неверие мое.
Меня учили:
— Крыша — это крыша.
Груб табурет.
Убит подошвой тюл.

Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол.
А древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытие...
... Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие мое.
Любовь?
Но с'еденные вшами косы...
Ключица, выпирающая косо...
Прыщи... обмазанный селедкой рот,
Да шеи лошадиный поворот...
Родители?
Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.
Дверь! Настежь дверь!
Качается снаружи
Обглоданная звездами листва,
Дымится месяц посредине лужи,
Грач вопиет,
Не помнящий родства.
И вся любовь,
Бегущая навстречу,
И все кликушество
Моих отцов,
И все светила,
Строящие вечер,
И все деревья,
Рвущие лицо, —
Все это встало
Поперек дороги,
Больными бронхами
Свистя в груди:
— Отверженный! Возьми свой скарб убогий.
Проклятье и презренье!
Уходи! —
Я покидаю старую кровать:
— Уйти?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать! —

II.

* * *

Итак — бумаге терпеть не в мочь,
Ей надобны чудеса:
Четыре сосны
Из газонов прочь
Выдергивают телеса.
Покинув дохлые кусты
И выцветший бурьян,
Ветвей колючие хвосты
Врываются в туман.
И сруб мой хрустальнее слезы
Становится.
Только гвозди

Торчат сквозь стекло.
Да в сквозные пазы
Клопов понабились грозди.
Куда ни посмотришь:
Туман и дичь,
Да грач на земле, как мортус.
И вдруг из травы
Вылезает кирпич
Еще и еще!
Кирпич на кирпич.
Ворота. Стена. Корпус.
Чего тебе надобно?
Испокон
Веков я живу один.
Я выстроил дом,
Придумал закон,
Я сыновей народил...
Я молод,
Но мудростью стар, как зверь,
И с тихим пыхтеньем вдруг,
Как выдох,
Распахивается дверь
Без прикосновенья рук.
И товарищ из племени слесарей
Идет из этих дверей.
(К одной категории чудаков
Мы с ним принадлежим,
Разводим рыб —
И для мальков
Придумываем режим).
Он говорит:
— Запри свой дом,
Выйди и глянь вперед:
Сначала ромашкой,
Взрывом потом
Юность моя растет.
Ненасытимая, как земля,
Бушует среди людей,
Она голодает,
Юность моя,
Как много надобно ей.
Походная песня ей нужна;
Солдатский грубый паек:
Буханка хлеба,
Да ковш вина,
Борщ да бараний бок.
А ты ей приносишь
Стакан слюны,
Грамм сахара,
Да лимон,
Над рифмой просиженные штаны —
Сомнительный рацион...
Собаки, аквариумы, семья,
Вокруг тебя, как забор...
Встает над забором
Юность моя.

Глядит на тебя
В упор.
Гектарами поднятых полей,
Стволами сырых лесов,
Она кричит тебе:
Встань скорей!
Надень пиджак и окно разбей,
Отбей у дверей засов!
Широкая зелень
Лежит окрест
Подстилкой твоим ногам! —
(Рукою он делает вольный жест
От сердца —
И к облакам.
Я узнаю в нем
Свои черты,
Хотя он костляв и рыж,
И я бормочу себе:
Это ты
Так здорово говоришь).
Он продолжает:
— Не в битвах бурь
Нынче юность моя,
Она придумывает судьбу
Для нового бытия.
Ты думаешь:
Грянет ужасный час!
А видишь ли, как во мрак
Выходит в дорогу
Огромный класс.
Без посохов и собак.
Полна преступлений
Степная тишь,
Отравлен дорожный чай...
Тарантулы... Звезды...
А ты молчишь?
Я требую! Отвечай! —

И вот, как приказывает сюжет,
Отвечает ему поэт:

— Сливаются наши бытия
И я — это ты!
И ты — это я!
Юность твоя —
Это юность моя!
Кровь твоя —
Это кровь моя!
Ты знаешь, товарищ,
Что я не трус,
Что я тоже солдат прямой,
Помоги ж мне скинуть
Привычек груз,
Больные глаза промой!
(Стены чернеют.
Клопы опять

Залезают под войлок спать.
 Но бумажка полощется под окном:
 «За от'ездом
 Сдается в наем!!»)

III. ВЕСНА, ВЕТЕРИНАРИЯ

Над вывеской лечебницы синий пар.
 Щупает корову ветеринар.

Марганцем окрашенная рука
 Обхаживает вымя и репицы плеть,
 Нынче корове,
 Из-под быка,
 Мычать и, вытягиваясь, млеть.
 Расчищен лопатами брачный крут,
 Венчальную песню поет скворец,
 Знаки Зодиака сошли на луг:
 Рыбы в пруду
 И в траве Телец...

(Вселенная в мокрых ветках
 Топорщится в небеса.
 Шаманит в сырых беседках
 Оранжевая оса,
 И жаворонки в клетках
 Пробуют голоса).

Над вывеской лечебницы синий пар.
 Умывает руки ветеринар.

Топот за воротами...
 Поглядим?
 И вот, выпячивая бока,
 Коровы плывут, как пятнистый дым,
 Пропитанный сыростью молока.
 И памятью о кормовых лугах
 Роса, как бубенчики, на рогах...
 Из-под мерных ног
 Голубой угар...

... О чем же ты думаешь, ветеринар?
 На этих животных
 Должно тебе
 Сейчас возложить ладони свои:
 Благословляя покой и бег,
 И смерть, и мучительный вой любви.

(Апрельского мира челядь,
 Ящерицы, жуки,
 Они эту землю делят
 На крохотные куски,
 Ах, мальчики на качелях,
 Как вздрагивают суки!)

Над вывеской лечебницы синий пар...
 Я здесь... Я около... ветеринар!

Я, как совесть твоя,
Кружусь над тобой,
Как смерть
Обхожу твои страдные дни!
Надрывайся!
Работай!
Ругайся с женой!
Напивайся!
Но только не измени...
Видишь: падает в крынки
Парная звезда.
Мир лежит без межей,
Разутюжен и чист.
Обрастает зеленым,
Блестит, как вода,
Как промытый дождями
Кленовый лист...
... Он здесь! Он трепещет невдалеке!
Ухвати и, как птицу, сожми в руке!

(Звезда стоит на пороге —
Не испугай ее!
Овраги, леса, дороги:
Неведомое житье!
Звезда стоит на пороге —
Смотри — не вспугни ее!)

Над вывеской лечебницы синий пар...
Мне издали кланяется ветеринар.

Скворец распинается на шесте.
Земля, как из бани.
И ветра нет.
Над мелкими птицами,
В пустоте

Постукиванье булыжных планет.
И гуси летят к водяной стране;
И в город уходят служителя,
С громадными звездами наедине
Семенем истекает земля...

(Вселенная в мокрых ветках
Топорщится в небеса,
Шаманит в сырых беседках
Оранжевая оса,
И жаворонки в клетках
Пробуют голоса!)

Возрожденный мастер

Рассказ

НИК. ОДОЕВ

Золотая луковица на соборной колокольне горела в ясную погоду над окрестностями города, как второе солнце. Ее лучистый блеск был виден за сорок километров со стороны приокских пойма, и когда на далекой излуине реки показывались плоты, то старые плотовщики истово крестились этому блеску, воображая в нем присутствие бога. А в городке, где высилась эта златоглавая колокольня, жили мастера: золотари, медники, ткачи и богомазы. Их ремесло начиналось в глубокой древности, — еще с тех времен, когда князья решили обрядить русского бога в византийский стиль. Великолепие многих храмов и монастырей было создано руками этих мастеров, за что они однажды и были пожалованы от патриарха Никона благодарственной грамотой. А тишайший царь сделал указ воеводе того городка Никите Балмасову выдавать мастерам людишкам на год по четверику ржи и по кулю солода в поощрение их мастерства.

Ныне мастера церковного обихода организованы в кустарную артель «Красный знаменщик» и занимаются выделкой революционной утвари: значков, позументов, знамен и знаков военного отличия; а управляя городом и его окрестностями председатель рика товарищ Моторный.

Кустари ходят к товарищу Моторному жаловаться на фининспектора (вероятно, так же ходили к воеводе их предки с челобитной на приказного ярыжку, вымогавшего непосильный оброк), и товарищ Моторный дает им скидку, учитывая кооперативный характер их труда и пользу их мастерства для революции. Он, наверно, понял, что демонстрации и торжество заседаний нуждаются во внешнем великолепии, помимо их внутреннего героического смысла, стало быть, кустарей приходилось беречь.

Но был в городе один мастер, который никому не жаловался и которого никто не трогал. Звали его Нефед Фадееч, и был он старинным золотарем. Пылающий купол на соборной колокольне был делом его умелых рук, и сотни золотых крестов на церквах по всей близкой и далекой округе тоже были позолочены Нефедом Фадеечем и им же водружены на свое место. Помимо своего мастерства, Нефед Фадееч славился неустранимостью к высотам; он мог подновить купол и поставить крест на любой высоте, почему его и приглашали на самые рискованные работы за многие сотни километров.

Но вот уже много лет, как Нефед Фадееч бросил свое ремесло, ибо не стало заказов от церквей и монастырей на его руки. Не пошел он и в артель, полагая, что революция слишком серьезное дело, чтобы обрядять ее в мелкую всячину.

— Революция сама — ядерный корень, и нам, мастерам гнилого дела, золотить ее довольно совестно, — говорил он приятелям по ремеслу.

— А жить чем?

— Нам жить теперь не полагается, а до смерти можно и поденками пропитаться.

Однако, приятели его не слушали и усердствовали над изготовлением разной мелочи советского обихода, благо на нее был великий спрос. А Нефед Фаденч работал на поденках в комхозе по очистке постоянных дворов и улиц от навоза. Жил он со своей старухой на квартире у одного сапожника и пьянствовал беспробудно, потому что не видел иного смысла своего существования. Старуха у него торговала на базаре печонкой и прочей крутой крестьянской снедью, а все свои барыши отдавала ему на водку. Это была чуткая женщина, сумевшая сохранить любовь к мужу до самой старости. Столь редкое обстоятельство объяснялось, может, тем, что они всю жизнь были любовниками. Как-то в молодости, работая в Белогородском женском монастыре, Нефед Фаденч загляделся на красивую монашку и влюбился в нее до потери сознания. Монашка тоже не устояла перед веселым золотарем и решила попробовать известного людского счастья, хотя и знала, что за это ей причитается ад. Он тайком увез ее к себе и был счастлив. Но тут вскоре стала известна их проделка, и Нефед Фаденча затаскали по властям и консисториям, пока не решили, что такого мастера, пожалуй, не стоит гноить в тюрьме. Монашку отлучили от церкви, а на Нефед Фаденча наложили эпитимию — говеть каждую неделю в великий пост три года под ряд. С этой поры Нефед Фаденч понял, что религия сволочное дело, раз она мучает людей за естество. Он объявил благочинному о переходе в староверскую секту, а сам перестал верить в бога и его святителей. Невенчанная жена мучилась от позора верующих баб и жила дома, как затворница, благо она к этому привыкла еще в монастыре. И вот за то, что жена мучается по воле бога и что нельзя жить с любимой, как живут все, Нефед Фаденч мстил богу, как мог: он с наслаждением мочился на золотые кресты, находясь по нескольку часов на шпиле колокольни и громко богохульствовал в порожнем небе.

— Ну, седая паскуда, на тебе крест, — обращался он к богу, — пусть он сияет золотом моих рук, а ты думай, что это блещет твоя слава. Что ты на это скажешь, собачий родственник?

— За такое неуважение я тебя, подлеца, сейчас на земь сброшу, — будто отвечал ему голосом с высоты бог.

— Руки коротки, — отвечал Нефед Фаденч, — кто же тогда тебе, глухому чорту, кресты будет ставить на твоих капищах? Молчишь? Ну, и помалкивай.

На земле Нефед Фаденч вел себя прилично и даже целовал руки попам и настоятелям, ибо надо было питаться.

Так была прожита жизнь.

Теперь Нефед Фаденч с утра становился в очередь около Центроспирта в ожидании раствора лавки и, купив четвертушку водки, выпивал ее залпом. Потом он шел искать работу, а вечером напиивался вместе с другом сапожником до осатанения.

Его старуха молча присутствовала на этих попойках, заботясь о пьяницах, как о детях. Она понимала, что водка для них последняя защита разума от язвительной тоски по напрасно истраченной жизни. Когда-то и она пьянствовала с ними вровень, но тяжелая болезнь, рак, вывела ее из пьяного строя до конца дней. Весь смысл ее жизни заключался теперь в уходе за мужем: она всюду следовала за Нефедом

Фадеем, оберегая шаткое его туловище от падений и вытрезвляла его на ходу нашатырным спиртом. Недавно она заболела воспалением легких и пролежала в больнице два месяца. За это время Нефед Фадееч дошел до последней степени человекоподобия; он решил, что старуха не вернется, и беспробудно пил, спуская все пожитки. И когда она вернулась, бледная, стриженная и худая, как тень соборной иглы, Нефед Фадееч плюхнулся ей в ноги и зарыдал от счастья встречи и от муки жалости. Он поклялся ей, что будет снова работать на поденке, лишь бы она жила рядом с ним и грела его пустую душу теплом милых глаз.

Однажды в начале весны среди занавоженного постоянного двора при чайной коллектива безработных Нефед Фадееч стоял на коленях и матерно ругался. Молодой краснорожий малый с глазами бутылочного цвета копал под навесом пласт навоза и через плечо нахально смеялся на ругань пропойцы. Нефед Фадееч распухшим от пьянства языком старательно, с паузами после каждого слова, повторял все одну и ту же фразу:

— Сережка... мать, отдай... мои... тридцать... пять... копеек... Слышишь?

Малый молчал, продолжая заниматься работой.

— Сережка... отдай... мои... тридцать... пять... копеек. Хулиган ты... мать!

Старуха Нефед Фадееча стояла за его спиной в белом капоте, похожем на хитон, и, сцепив бледные, как известка, руки, отсутствующим взглядом смотрела на трепещущую под ветром прядь сивых волос на макушке коленопреклоненного мужа. Она ни словом, ни движением не отзывалась на происходящую сцену, будто ждала событий. Солнце уже поднялось выше соборной колокольни, которую было видно со двора через крышу чайной; с Оки веял теплый ветер, и сквозь открытое окно чайной лилась прозрачная симфония Грига, вероятно, по радио из столицы. А Нефед Фадееч все повторял свою просьбу и ругательства, ползая по двору на коленях. Наконец, его в'едчивый бас растревожил спавшего завчайной.

— Ты чего зудишь, пьяный чорт?

— Максим Андреич, прикажи... этому... хулигану... отдать... мои тридцать пять копеек, — простер руки Нефед Фадееч и стал трудно подниматься с колен. Разбитые алкоголем ноги не слушались и гнулись, словно глиняные. Старуха заботливо взяла обеими руками Нефед Фадееча подмышки и помогла встать.

— Какие тридцать пять копеек? — спросил заведующий.

— Ты вчера дал ему семь гривен на двоих, а он не отдает мою долю, хулиган проклятый! У-у... — и Нефед Фадееч заскрипел зубами, будто отгрызал голову нахальному малому.

— Я те дам тридцать пять копеек, — весело отозвался малый, — два раза ковырнул вилами и в долю просится. Тоже жучок нашелся.

Из окон чайной высунулось несколько человек и слушали, что будет дальше. Нефед Фадееч изумленно развел руками и нашелся сказать только одно слово: — Барбос!

Зрители засмеялись; все они были безработные пропойцы, жившие вокруг чайных и постоянных дворов, чтобы питаться около проезжающего на базар крестьянства. Между ними постоянно шли раздоры из-за медных монет, и побеждал всегда тот, кто был сильнее и нахальней. Поэтому сочувствие сейчас было на стороне малого. Нефед Фадееч это знал. Однако, тридцать пять копеек, видно, были для него так дороги, что он решил раскрыть окружающим свою душу.

— Максим Андреич, — обратился он просящим голосом к заведующему, и две крупные слезы упали из пьяных глаз на толстые сильные усы, — моя жена больна, она два дня не ела и должна скоро умереть... А я ведь ее люблю... — он взял мертвецкую руку старухи, опустился снова на колени и припал к той руке долгим, мокрым поцелуем. Старуха положила другую руку на голову мужа и застыла, как Офелия, вся в белом, глядя отвлеченным, но ясным взором на купол соборной колокольни. Вероятно, это зрелище было столь неожиданно для всех пропойц, что они в замешательстве отвернулись от окон и заговорили о своем.

— На тебе тридцать пять копеек, — сказал заведующий, — и ступай ради бога с глаз долой.

Нефед Фадеич взял деньги и пошел со старухой в чайную. Они сели за грязный столик под рупором и заказали два прибора. В помещении гудели хриплыми голосами пропойцы, нищие и одичалые старухи, торговавшие вразнос баранками. Из рупора ласковый баритон уговаривал трудящихся не продавать облигаций госзаймов, а потом гудящий бас начал хвалиться успехами на фронте коллективизации. Но радио никто не слушал, потому что оно обращалось к трудящимся, а не к присутствующим. Здесь слушали только музыку, если она волновала душу чувством сожалений или звала на сказочную героинку. Один из нищих подсел к столику Нефед Фадеича и налил чашку водки.

— Пей, — сказал он Нефеду Фадеичу.

Угощение водкой считалось тут знаком сочувствия.

Когда рупор затих, то стало слышно, о чем говорили вокруг. Оказывается люди обсуждали городскую новость, имевшую касательство ко всякому — и трудящемуся, и просто существующему. Сегодня утром рик объявил, что в виду закрытия собора и приспособления его под культурные цели нужен охотник, который бы снял крест с соборной колокольни и водрузил бы на его место красное знамя. За это рик обещал заплатить тому охотнику двадцать пять рублей.

— Поди-ка, заберись, — ораторствовал заросший черными волосами мужик в опорках, — в ней до купола десять пролетов, а там игла в две сажени. Без привычки обязательно угробисься.

— То не задача, что высоко, — возражал ему другой, — тут главная причина — игла недоступная, без лесов ее нипочем не взять.

Нефед Фадеич сначала не обратил внимания на разговор, сообщая, как ему истратить тридцать пять копеек, чтобы накормить жену подходящей для нее пищей. Потом, когда до сознания дошли двадцать пять рублей, он заморгал воспаленными веками и сказал жене:

— Ньюша, я полезу, ведь четвертной дают, а?

Старуха встrepенулась и протянула к нему руки: — Не смей, не смей!

— Ну, ладно, я ведь так, к слову...

За спиной Нефед Фадеича партия пьяниц вырабатывала план совместного нашествия на колокольню за крестом.

— Денежки наши, — заключил один из них.

— Пойдем, — сказал Нефед Фадеич старухе, — тебе полежать надо.

Проводив жену к сапожнику на квартиру, Нефед Фадеич на минутку отлучился, якобы до ветру, а сам прямым ходом побежал в рик и потребовал председателя товарища Моторного.

— Давай, хозяин, я крест сшибу и поставлю знамя, — предложил он товарищу Моторному.

— Ну, а сможешь?

— Я старинный золотарь, хоть поставь, хоть сшибь — мне все равно.

— Ты же пьян, товарищ золотарь, у тебя и так, небось, голова кружится, а на высоте ты и вовсе очумеешь. Притом же игла страшная, ее молодому мужику не осилить, а тебе и подавно.

— Моя голова ни от водки, ни от высоты не кружится, хозяин, а касательно иглы, то это — плевое дело, я на ее, чорта, три раза лазил, один раз крест ставил, а два раза подновлял: тоже ведь кормиться надо было, — добавил он в свое оправдание.

— В том нет позора, я сам снаряды делал в царское время для убийства рабочих и крестьян, — ответил товарищ Моторный. — А ты крест поставил и сам же его сбросишь — это, брат, прямо хорошо. Если бы я мог собрать все снаряды, которые мною сделаны, то был бы счастлив больше, чем от ласковой бабы. Ну, крой, старик, только гляди не сорвись, а то мне тогда отвечать придется. По-настоящему надо бы леса вокруг иглы поставить, чтоб по всем правилам охраны труда, да у меня бюджет исчерпан. Оставлять же здание под крестом — обидно.

— Леса ни к чему, все равно может сорваться и тот, кто леса будет ставить, а я к этому делу человек привычный, к тому же четверговой заработать мне надо по зарез, я же нищий.

— Когда полезешь-то? — спросил товарищ Моторный.

— Сейчас прямо и полезу, мне на час всей работы.

Нефед Фадеич вооружился в рике веревками, зубилом, молотком и пошел к соборному сторожу за ключом от притвора. По дороге он встретил компанию пьяниц, шедших к товарищу Моторному с предложением своих дрожащих рук.

— Верти оглобли назад, — сказал им Нефед Фадеич, — я уж подрядился — четвертной тут, — хлопнул он по карману.

Пьяницы обругали его всем запасом матерных слов и последовали за ним смотреть, как он будет одолевать иглу. По пути к ним присоединились еще всякие прохожие, и вскоре весь городок знал, что Нефед Фадеич лезет на колокольню снимать крест. Между тем Нефед Фадеич спешил, потому что боялся, как бы не узнала жена, которую он не хотел тревожить.

Взобравшись на верхний пролет колокольни, Нефед Фадеич разулся и уже по стремянке полез в купол. За ним следовало двое пьяниц в расчете получить от Нефеды Фадеича литровку за помощь. В куполе был люк, через который Нефед Фадеич и вылез наружу. Собравшаяся тем временем вокруг соборной площади толпа разом притихла, и каждый из людей забыл свою жизнь. На страшной высоте коротконогий человек топал по отлогому золотому куполу вверх к пуповине, от которой начиналась высокая, стройная игла. Вот он обошел иглу кругом и зачем-то ее обнял, потом он начал пятиться по склону купола, и у всех зрителей сердце заныло от ужаса близкого падения этого безумца. Но тут же все видели, что от шпиля до пояса человека натянулась веревка.

— Привязался!

Нефед Фадеич откачнулся на веревке назад так, что ноги вышли далеко вперед и, вытравив из люка веревку, стал набрасывать петлю на высокий крест. От купола до креста было метров пять, поэтому не успевала петля долететь до креста, как ее отбрасывало ветром в сторону. Нефед Фадеич, не меняя положения, с натянутой от пояса веревкой, зашел с подветренной стороны и сразу заарканил крест на мертвую петлю. Тут он снова приблизился к основанию иглы и сквозь отверстие люка вытащил стремянку. Прислонив стремянку и закрепив

ее нижние ножки веревками за основание иглы, он смело полез по перекладинам вверх, поддерживаясь за веревку от креста. Вот уже стремянка кончилась, а до креста оставалось еще расстояние с метр, и тут снова люди внизу ахнули от страха за Нефед Фадееча. Он око-рячил иглу ногами и полез вверх, как муха.

— Ах, сукин сын, — выругался товарищ Моторный, — он у меня всю кровь испортил. — Эй, Кузовкин, сейчас же снять его оттуда к чертовой матери! — распорядился он милиционеру.

— Как же теперь его снять, товарищ Моторный, это — невысмыслимо. — За четвертной старается, — заметил из толпы один житель.

А Нефед Фадееч тем временем дотянулся руками до креста и си-лился теперь подтянуть туловище. Он чувствовал, как обмякшие от усилий ноги неотвратимо слабнут и вот-вот разомкнутся вокруг иглы. Он повисел некоторое время, чтобы дать им отдых и снова зажал их в крендель. Потом одной рукой он перехлестнул себя раз, подхватил конец веревки на лугу и обмотал другой раз, затем, держась только ногами и веревками, стал приторачивать себя пониже пояса к игле. Теперь он уже сидел на тугих веревках со свободными руками вро-вень с основанием креста и закуривал.

Далекий простор земли уходил на десятки километров во все стороны. Нефед Фадееч с легкой радостью глядел на этот давно им утерянный мир и чувствовал, как из головы пропадает последний хмель. Вниз он не смотрел, так как это нельзя было делать в таком положении даже самому трезвому на свете человеку. Он был доволен также и тем, что не было плывущих облаков, иначе он бы стал падать им навстречу и от этого потерял бы центр тяжести, без которого человеку уже нельзя работать. Докуривая окуроч, он глядел вверх на застывшие облака и готовился начать работу; вдруг, на снежном фоне облаков появился черный треугольник, и Нефед Фа-дееч почувствовал, что веревки, державшие его ниже пояса, начи-нают натягиваться и крест уходит вперед.

— Журавли, чорт бы их драл! — сообразил он сразу и кинул взор на горизонт, чтобы опереться глазами в твердь. Но момент был уже упущен, руки отошли от креста больше, чем на свою длину, и он опрокинулся навзничь, повиснув на веревках вниз головой.

На земле люди ахнули, кто-то дико завыл, а товарищ Моторный, вспотев холодным потом, трахнул портфелем о земь.

Никто из стоявших здесь не заметил раньше, как подошла старуха Нефед Фадееча и стала позади всех. И в тот момент, когда Нефед Фадееч начал запрокидываться назад, она медленно опусти-лась на землю и в неловкой позе завалилась на бок. Белый ее капот лег вокруг тела, словно поврежденные крылья птицы, и вся она напо-нила убитую индейку. Люди бросились ее поднимать, и присутствующий здесь лекпом районной больницы после осмотра объявил, что старуха умерла. Два пожарника подняли тело умершей и отнесли его в больницу.

А Нефед Фадееч повисел некоторое время вниз головой, сообра-жая, как ему снова сесть в нормальное положение, и крикнул в люк двум пьяницам, чтобы они достали шест. Те живо исполнили прика-зание и высунулись в отверстие купола до пояса.

— Упри в спину и подавай вверх, — распорядился им Нефед Фа-дееч.

Шест подвели к лопаткам висящего мастера и подняли его до такого положения, пока он не достал руками креста. Тут он снова затянул ослабшие веревки, достал из кармана зубило и молоток и принялся выбивать заклепки из стержня креста. Когда эта операция

была выполнена, он расшатал крест и стал его вытаскивать. Крест был тяжелый, о восьми концах, и ослабшим рукам Нефед Фадееча справляться было очень трудно. Наконец, крест был вынут; Нефед Фадееч сделал знак рукой разойтись подальше тем, кто был внизу, и толкнул крест от себя. Крест сначала с грохотом скользнул по куполу и, получив горизонтальную инерцию, дугой полетел вниз. Не теряя времени, Нефед Фадееч бросил бечевку в люк, где торчали две головы его добровольных помощников, и те привязывали к ней знамя. Он водрузил красный символ революции в ржавое гнездо, где только-что был крест, и в знак окончания работы подкинул свой картуз выше головы. Картуз подхватило ветром и понесло далеко через площадь на край города. Внизу любительский духовой оркестр из пожарников заиграл «Интернационал», и Нефед Фадееч услышал его на высоте, как славу своему героизму. Впервые за всю жизнь в груди у него загудело торжество гордости перед самим собой, и он поплыл в порожнем синем небе под звуки героической музыки и с развернутым красным знаменем над головой, как полный герой.

— Ты что же, золотарь, подводишь,—набросился на него товарищ Моторный, когда Нефед Фадееч очутился на земле.—Ведь ты мне два литра крови испортил, пока на игле вертелся! А тоже хвастался своей головой, мол, не кружится.. На, получай пять червонцев и пиши мне расписку!

— Извиняюсь, товарищ председатель власти, журавли, сволочи, подвели, к тому же и высота аховая, это надо понимать. Покорнейше благодарю за набавку.

— Заработал, чего уж говорить. Только вот—нервы мне расстроил своим головокружением.

— У всякого человека голова хоть раз, а кружится, так на так ведь не приходится,—оправдался еще раз Нефед Фадееч.—У иного среди сплошного поля голова кружится ни с того ни с сего.

— Бывает.

— Беги к старухе-то, скончалась ведь из-за тебя дьявола,—толкнул Нефед Фадееча один кустарь.

— Чего городишь?—испугался Нефед Фадееч. И когда ему рассказали о смерти жены, он сел на камень и заплакал.

— Вот господь-то и наказал тебя, басурмана, — зло постучала крючковатым ногтем по голове Нефед Фадееча одна старуха.

— Господь? — переспросил по-детски Нефед Фадееч.

— А то кто же.

— Ну, так я с ним еще посчитаюсь, с гадом, — погрозил он кулаком и, высморкав влажный нос, направился в больницу, где лежала его мертвая старуха.

Через два дня, схоронив жену, Нефед Фадееч опять пришел к товарищу Моторному и сказал:

— Дай мне бессрочный паспорт, я пойду бога утюжить.

— Это как же?

— Пойду сшибать все кресты, которые я поставил на храмах за свою жизнь.

— Ага, это правильно. Только гляди, согласовывай это с населением и властью. Получай пачпорт.

Нефед Фадееч взял в артели «Красный знаменщик» пачку кумачевых знамен и тронулся водружать их на храмах и часовнях, благо кругом был сплошной колхоз, и люди отказывались от бога целыми селами.

Гондвана

Очерк

КОРНЕЛИЙ ЗЕЛИНСКИЙ

Ученые, изучающие историю земли, называли Гондваной великий материк древних палеозойских времен. Он существовал около миллиарда лет тому назад в экваториальной части земного шара. Гондвана простиралась огромным сапогом, похожим на Апеннинский полуостров. Южная Америка, южная часть Атлантического океана, Африка, Индостан, Индокитай, Малайский архипелаг, Индийский океан и Австралия спаялись в одну массу суши. Необозримая земляная ширь представляла благоприятные условия для возникновения и развития жизни. Горообразовательные судороги остывающего земного шара и вулканические потрясения миллионами лет не встряхивали земляной коры. Внутренние области суши подолгу не подвергались опустошительным нашествиям морей. И вот тогда-то жизнь вышла из воды на берег. Пеннорожденная, как Афродита, она не в образе древне-греческой богини, а в виде слизистого зародыша двинулась искать земного счастья, чтобы, тысячелетиями толкаясь во все формы, выработаться в конце концов в человека. Гондвана—эпоха ящеров и первобытных теней. Длинные, тонкие шеи динозавров вытягиваются над чудовищными тяжелыми телами. В узкой черепной коробке они поднимают немного мозга, как свечу над землей, и мутно, тоскуя глядят нам вслед. Эдуард Зюсс назвал Гондвану «убежищем жизни».

Образ Гондваны, отодвинутой миллионолетиями в неясную глубь,—романтический образ. А в романтике есть всегда «нас расслабляющий обман». Удивительно, как идея «убежища жизни» бродит по всем ступеням старого мира. От народных сказок о тридесятом царстве с кисельными берегами до ученой геологии. Мысль от рабства и нищеты, тоскуя, поворачивает голову и смотрит в туманную даль. Но в бедности нет романтики, и ее утешения — ложь.

Поиски «лучшей жизни» выношены историей в русском крестьянине и дороги положены классовою борьбой. И здесь поиски ногами, уходом — ложная «романтическая» ветвь в нашем столь практическом народе. Ложная потому, что есть романтика и силы, революции. Века нищенского и подневольного существования выработывали в бедняцко-средняцкой массе деревни не только взрывчатое вещество Емельяна Пугачева, но и стойкий «инстинкт» переселения. Идея крестьянской гондваны — убежища от боярских и господских насилий — идея далекого приволья, обилья и сытости с барщинных времен, точно натальная ладанка, передавалась деревенскими поколениями, чей гонимый удел было итти работать «на стан», в город, к помещику, к кулаку. Но всякие странники Луки, ходоки и хожатели, охотники за счастьем, все те, что норовили ужем вывернуть

голову из деревенского хомута, разносили по всей стране своего рода пеший либерализм. Пешие либералы в зипунах и поддевах, не в переносном, а в буквальном смысле слова, пытались уйти от мрачной действительности царской деревни. Народники пытались идею крестьянской гондваны, идею мужицкого царства положить в программу своей партии. Впрочем, нужно ли возвращаться к всевозможным буржуазным «поправкам» крестьянских восстаний.

Советское переселенчество коренным образом отличается от пешей «охоты за счастьем» в старые времена, а вернее от голодного бегства куда глаза глядят. Переселенчество теперь тесно связано не только с заселением неосвоенных земель, но в первую очередь с коллективизацией края, с планами его экономического развития. Да само переселенчество теперь резко сократилось. И классовая изнанка его не та. Побежал из деревни кулак. Он, раньше с презрительной усмешкой взиравший на лапотное передвижение, теперь стал «романтиком», искателем «убежища жизни».

Я хочу здесь рассказать один любопытный случай переселения, а вернее круговращения человека. Переселение это не было вызвано никакими особыми экономическими причинами. Оно как бы являет собою чистый тип «безотчетных» поисков крестьянской гондваны, поисков предназначенного судьбой счастья. Толстой так думал, что в русском народе искони заложено свойство — искать, что думка-мечта о втором мужицком мире живет в каждом крестьянине. Так казалось. Так думал Толстой.

Года три тому назад крестьянин деревни Паншино (что возле Удомли) Самсон Михайлович Крылов объявил своим односельчанам, что он со всем семейством уезжает в Сибирь и распродает все имущество. Самсону Михайловичу, как и его жене Агафье Ефимовне, шел семьдесят седьмой год. Уже сыну их было свыше пятидесяти пяти лет. Хозяйство старика было бедняцким хозяйством. Четыре неизменных столпа поддерживали его могущество: пятистенная изба, лошадь, корова и овца. Календарь жизни семейства Крылова крутился без отказа уже восьмое десятилетие с ровным бедняцким скрипом, как колодезное колесо. Из утра в утро Агафья Ефимовна перебирала корове титьки, как пальцы, как четки, как жалобы на свою худобу. Дед курил махру, вязеву золку, и мигал на белый свет. Сын добычествовал, хозяйствовал, ходил на станцию чай пить в трактир. Сумма сельскохозяйственного налога снижалась Крылову из года в год, и решительно не было никакой видимой причины его внутреннему беспокойству и охоте к «перемене мест».

Самсон Михайлович искал лучшей жизни. Он был так беден, что не мог составить себе представления о том, что есть хорошая жизнь. Он сажился на лавку. Он трогал ее руками. Он говорил: «Это моя лавка». Он перебирал вещи. Он бормотал: «Это моя пашня, это мой рогац, мой этот кнут, моя лохань, дуга, старуха». Потом Самсон Михайлович пугался. Он видел наступление колхозов. Ему говорили: «Это не твоя лошадь, это не твой рогац, это не твоя лохань и баба». Он прислушивался к рассказу сына, приходившего из трактира. Там сходились бороды. Там потели лбами. Там качали головой. Там ругались. Там думали и хрипели. Сын начинал пугать старика исподтишка, медленно, со вкусом. Он каркал, как громкоговоритель: «Тебя отдадут в советскую богадельню, голодный паек тебе дадут». Старик сразу начинал потеть. В нем ёкало. Он потихоньку ерзал пальцами под лавкой. «Это не моя лавка». Сын, насладившись разговором, шел спать.

Старик думал. Он тужился. Он составлял понятие хорошей жизни. Ему нехватало материала. Он покрывался испариной. Круг

жизни сужался. От всех вещей было отнято «мое». Ему было страшно. Кулацкие страхи раздули в нем под сединой пепла древний огонек пондваны. Дед решил — двигаться, ехать. Сила людских сдвигов, запавшая в Самсон Михайловича, страх перед колхозом укрылся в его подсознательной глубине. Наружу он показался «безотчетным», великим решением: искать убежища жизни.

Но идея пришла не сразу. Видно, ко всем страхам понадобилась многолетняя, переданная отцами работа «переселенческих сил», чтобы дед пришел к непоколебимому решению оторвать все свое существо, многочисленными нитями, связанное с его пропахшей гнильем и хлебом избой, и пуститься в неизведанное, в непонятное и действи-



Свинарник в паншинском колхозе

тельно бесцельное путешествие. Но, уже решив, дед на все разумные и по-крестьянски совершенно неопровержимые доводы начинал чесаться, сопеть, завязывать и развязывать лапти, словом, старался погрузиться в неопишную сеть ему одному надобных и понятных мелких и мельчайших движений и забот. И никакая сила не могла его тогда выволить на чистое поле разумных, логических выводов. Отговаривали его и бедняки-односельчане, напирая на то, что голодные годы прошли. Отговаривали и в вике, выправляя ему документы.

— Да ты, Самсон Михайлович, в Наркомземе бумагу себе взял? Место ты себе определил? Едешь-то ты куда?

Самсон Михайлович отвечал утвердительно. Ссылался на сына. Но самое главное и сокровенное (как ему теперь казалось), то, что он таил всю жизнь и теперь решил выразить в своем путешествии, дед доверял движению руки. Он сгибал ее в локте, подымал, указывая куда-то пальцем. И ясно во всем деле было одно, что есть-де в Сибири страна, которой дадено владеть мужику, что где-то, допустим, тяпнешь топором или лопатой отсюда и досюда, и земля на весь окрест поступает в твое пользование.

— Могучая в том хлебе сила, — говорил дед с потрясающей убежденностью. Дед взыграл. Он забыл страхи. И подсознательное

воздействие этой нелепой веры в какой-то особый мужицкий рай, уготованный в тридевятом государстве, было так велико, что вся семья, продав дом и решительно все пожитки, отправилась искать его адрес по железнодорожному билету.

Впоследствии оказалось, что ни Самсон Михайлович, ни его сын ни в какие переселенческие центры не обращались и поехали, как говорится, самотеком, да и куда — неизвестно.

Впрочем, сын тайно получил деньги от кулака Мясникова на разведку счастья.

* * *

Коротка деревенская память, и слух о людях скоро гаснет в ней, как эхо в лесу. Забыли о деде. За это время вся Удомля и деревня Паншино повернули на новые железные большевистские дороги. Головокружительное половодье 1930 года захватило и Удомлю. Откат из колхозов был похмельем, полынным глотком от нескладехи, временем разочарований и вместе с тем рождением новых острых надежд. По совести повороя, бедняцкой части деревни до смерти жалко было уходить из колхоза. Вдовы с ребятами у подола, всякий худой народишко, кому лета, кому болезни и неисправная снасть не позволяли развернуть хозяйство или ловчиться на станции с погрузкой и всяким вольным, сторонним, т.-е. не земледельческим заработком, — вся эта «несамостоятельная» часть деревни втайне сожалела о распаде «колхозного дворца» на семи удомельских озерах, превеликого колхозного «гиганта», который затеяли строить риковские коллективизаторы. Во многих деревнях по всему удомельскому краю все же осталось более четырех десятков колхозов и коммун. Паншино — село пристанционное, баловное, с фокусами и городскими знаменами. Здесь и клуб, и рядом районный центр, и все районные учреждения, и кожсиндикаты, и союзхлебы, и аптеки, и всякие другие щупальцы, и желоба советской власти и человеческой деятельности.

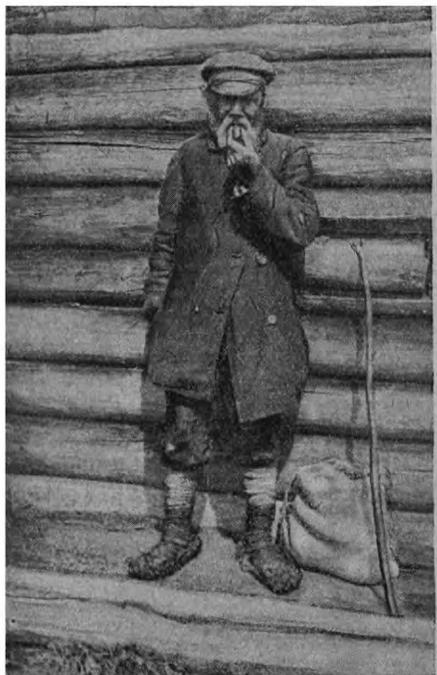
— Паншинский мужик на горе стоит, — говорят о нем, допустим, иловцы или липенцы, которым целый день скакать через болото до железного полотна. — Паншинский мужик на все стороны скат имеет, и всюду ему податься можно. Направо поедешь — Ленинград, налево — в Москву, а прямо — в Вышний-Волочок или Тверь. Позади — Бежецк. Тут тебе и станция, а в старое время дачники. Тут паровоз пытит, и железо. А где железо гремит, там и серебро звенит. На юру живут. А издавна известно, что ветром не только тепло из избы выдувает, но и карман парусом держит.

И действительно, паншинские крестьяне отпластовались явственными социальными пластами. Богатей с бедняком навстречу дороги не переходили и кланялись издали. Из колхоза вон зажиточная часть деревни рванула дружно, с гоготом, «что-де, наша взяла», с таким куражем, что местные партийцы только диву давались: какой чорт прорвал эти собственнические плотины, эту захлебывающуюся жажду обновления, семейственного форсу, отлежанные своими, непременно своими лично, боками домовности. «Наша взяла» — загоготало, захрюкало это собственническое, прижимистое нутро, эта сундучья плоть, которая вдруг поперла и потекла из всех щелей и в преогромном количестве.

И все же колхоз в Паншине образовался. При чем образовался довольно любопытным образом. В колхоз сошлись люди с дальних краев самой различной марки и положения. Но все же народ получился как бы в одну масть, хотя собрались тут седобородые старцы, вдовы-бобылки, да самая молодежь, или как ее в здешних местах

называют, «холостежь», у которой еще спина по горюшку тоскует. Короче говоря, из 22 хозяйств, вошедших в паншинский колхоз «Сельхозартель имени тов. Ленина», 18 хозяйств было чисто бедняцких и только 4 середняцких. Но швы этого колхоза особенно обозначились и бросились всем в глаза вследствие того, что в колхозе по преимуществу оказались только стар да млад, т. е., по понятиям паншинских самостоятельных мужиков, получилась чистая богадельня: «Сосунки, жеребята необхоженные, еще и в работе настоящей-то не были, а уж понабрали себе стариков-то старше старых, печных сторожей, тараканьих пугал. А все кругом голь, шмоль и компания. Лапоть на образа, а заплаты на ордена».

И вот в Удомле началось переселение. Сосунки, действительно, потянулись к колхозу со всяких дальних деревень и по самым «неведомым» причинам. Выделялись из семейства, разругивались иногда начисто с отцом, с матерью и уходили в Паншино. Вот, например, Крылов, из деревни Ватутино (однофамилец нашего Самсона Михайловича). Ушел из вполне середняцкой, крепкой семьи, где всего было достаток, а лен—так считался лучшим в округе. Я говорил с этим человеком и «пытал» его по поводу решения уйти из семьи. Крылов не мог этого толком объяснить. С семьей Крылов не порвал. Он комсомолец и был однажды избран председателем сельсовета. Книг читал немного, не особенно даже грамотен и не особо разбирается во всяких политических гонкостях. Но такая в нем неслыханная тяга ко всему новому, такая вера в социалистическое будущее деревни, что не мог он оставаться на месте, сосредоточивать интересы и прилагать свои силы на единоличном кутке. Крестьянин, потерявший убеждение в необходимости быть крестьянином, земледельцем старого образца, отдающим себя земле до последнего остатка, может пойти или в вольные захребетники (раньше были лакеи, номерные и прочие неприятные типы), или в таком крестьянине освободится огромная масса всяких неприкаянных сил и возможностей. Если обручу, плотно охватывающему бочку, прибавить длины на какую-нибудь самую малую величину, на пяток миллиметров, обруч сразу станет свободным, и кажется, палец просунешь между ним и бочкой. Так и с крестьянином, чуть освобожденным в мыслях от земледельческих интересов, от знаменитой «власти земли». Революция удлинила горизонт крестьянина не то что на эти полсантиметра, а на городской аршин, на ленинскую всемирную мерку. Наступающая революция, а еще более прокатившаяся зимой и весной 1930 года волна сплошной коллективизации, несмотря на все свои перехлесты и перегибы и всякие отрицательные стороны, вместе с тем снова высвободила в крестьянине колоссальное



Самсон Михайлович Крылов, 80 лет—искатель крестьянской гондваны.

количество готовой вылиться в действие силы. Пройдет год, два, три, как они ринутся в новые колхозные русла. Ощущение вековой собственности подорвано. Нету «смаку», утети и чувства непреложности в ведении единоличного хозяйства, в накоплении «своего дома». Те, что остались держаться за старое, выйдя в этом году из колхоза, ведут свое дело с какой-то злостью, с насадой. Кулацкий корешок облили хлорной известью. Он пожух, свернул усы и ежится теперь в земле, глотая сок пополам со слезой. И всякий живет теперь в деревне с оглядкой на колхоз: «Как там, как у них», «Ишь, бесстыжие, летом лампу запалили, считают все, небось, дыры-то свои». Зато те, что почувствовали себя отрезанными от старой деревни, а особенно молодежь (о стариках скажу особо), чувствуют себя на белом свете, как есть жеребята на выгоне. Сочная и манящая даль расстилается впереди, и готовы они впрягаться в любой хомут и плясать, задрав хвост.

Комсомолец Крылов составлял себе понятие хорошей жизни. Он старался изо всех сил. Он видел дом. Это не его дом. Он видел кобылу. Это не его кобыла. Он видел клуб. Он слышал радио. Его трясла лихорадка и захватывало дух от ощущения бега жизни. Деревня плыла в его глазах. Она казалась ему не настоящей жизнью. Настоящая жизнь рвалась оттуда, из города. Там говорили: «Это ваше, это для вас, мы, мы нажмем, мы добьемся». Крылову подкатывало к горлу чувство множества, коллектива, люда. Он говорил о себе, думая о всех: «Мы». Крылов ярился на тех, кто шел против, кто за не настоящую, за сволочную жизнь.

Комсомолец Крылов — строитель большевистской гондваны в деревне. Нет, не гондваны. У него это не «убежище». Это окоп, это война, настоящая жизнь, чорт возьми. Есть в нем один элемент, один оттенок в характере, который резко отличает его от всяких деревенских мечтателей, Касьянов и Калинычей. Есть в нем великолепная лютость ко всему старью-корью. Это вовсе не знакомое нам «ненавистничество», которым жила прежняя деревня. Это горящая ровным пламенем классово-оформленная ненависть к кулацкому катехизису, ко всему деревенскому укладу. Вряд ли эти ребята объяснят ее, да и где им было дать правильное экономическое объяснение или формулу. По верному чутью, по большевистскому прицелу выбрали точку и ударили.

Холостежь поселилась артелью в одной избе. Семейные по своим домам. И так здорово получилось, что паншинский колхоз сразу привлек к себе внимание всего окрестного крестьянства. Образовался он 1 апреля, и вначале на него смотрели, как на первоапрельскую шутку. Но ребята взялись сразу и скопом, горячо, прямо со спортивным задором. Председателем колхоза избрали тоже молодого, недавно женившегося парня, Александра Ивановича Бойцова. Об этом Бойцове стоит сказать два слова. Он единственный из всей колхозной артели в 113 человек происходит из крепкой середняцкой семьи. Хотя отец его рано погиб на империалистической войне, но дружная семья Бойцовых не только не захирела, но пошла в гору. Сейчас один брат Александра Ивановича работает в Животноводсоюзе в Архангельске, другой брат, две сестры и мать пошли в колхоз. Было у них 3 лошади, были даже машины. Избрание Бойцова сыграло, пожалуй, немалую роль в укреплении колхоза. Бойцов — живая иллюстрация к лозунгу о руководстве середняка в колхозе. Пребывание бойцовой семьи в колхозе дало окончательную уверенность тем, кто вначале вышел, повинувшись решению общего схода.

— Нам без мира никак нельзя. Нам без народу пути нет. Нам от общества отделяться никак невозможно.

— Бойцовы плохо жить не привыкли, — сказал бедняк Рыбаков. — Чать не мы. На квасе сидеть не будут. Не из таких.

Убеждение в «хитрости» Бойцовых потянуло в колхоз даже тех, кто ожглись на «гиганте». А ведь Санька Бойцов был одним из главных коллективизаторов Удомельского района и членом правления этого самого «гиганта».

Поразили мужиков колхозники, как сказано, с самого начала. При чем поразили делом не то чтобы непонятым с крестьянской точки зрения, а уже больно вызывающе-отвратным, делом черным, т.-е. как раз таким, каким они друг друга пугают, когда говорят о колхозной жизни. А именно, начали колхозники свою деятельность с чистки нужников всей Удомли. Раньше за это дело жители Удомельского поселка специально платили золоторотцам. У крестьян это было не принято, чтобы чистить чужие нужники. Снаружи вышло у колхозников очень задиристо, а по существу весьма хозяйственно: овес-то у них получился почти в два раза больше, чем у единоличников. И вообще пошли удивлять они всякими новшествами и комбинациями. Тут бы мне надо размотать целую повесть о их хозяйственных достижениях всего за одно лето. Повесть эта, как льняное полотно, что прядут в этих местах, узка в ширине, т.-е. в масштабе, но велика в длине. Но придется, пожалуй, для этой большевистской повести о деревне перевернуть старую манеру русского сказа наоборот. Тут скорее дело делалось, чем сказка рассказывалась. Получили колхозники всего 3.000 рублей кредита (2.000 на свиней да 1.000 — на двор). Завели они свиначник. Обзавелись они сразу 56 коровами, 18 телятами, 26 лошадьми. Запахали 70 гектаров на семипольный манер, а бредят ребята — тыщами, не меньше. Погрузка леса на станции — колхозу наряд сдают. В город молоко отсылают. Но, главное, за что ни возьмись, везде эта самая задиристость: работают, а на сторону мигают. Пойдут на пустошь косить, так рукой машут, будто всю деревню подрезают. Не работа, а война какая-то. Землю-то не просто ковыряют, а ковыряют с умыслом. А с каким умыслом — про себя знают. Что-то кому-то доказать и досадить. А «те», кому доказывают, тоже это прекрасно понимают и тоже с противоположных позиций расценивают работу колхоза.

Следующий случай позволил мне самому почувствовать эту негласную борьбу. Отправился я фотографировать одно из колхозных достижений по людской части. «Достижение» это заключается в двух стариках: Рыбакове, Тестове и бабке Устинье. Сколько им в отдельности лет — установить в точности, как и многое в деревне, невозможно. Но что им вместе больше 200 лет — это уже доказано. Эти «собезники» и «нахлебники» тоже весьма ловко и весьма хозяйственно были определены в колхозе к делу. Рыбакову и Тестову дадено было в полное владение свинячье царство, а бабка Устинья была назначена телятной кормилицей. День был покосный, ведреной. Мне пришлось дожидаться у колхозного дома, пока придет проводник. Напротив под'ехала лошадь с кладью. Служащий кооператива, снимавший «квартиру» в избе, купил на торгах мебель. Толстая баба в одной рубахе, оттопыренной рыхлыми тыквами, сбежала с крыльца и тотчас скрылась обратно. Но я был уже замечен. И через минуту ко мне уже подошла черная бабенка, сама хозяйка дома.

— А вы мово мальчонку не снимете? Я могу яйцами зацлатить.

Я об'яснил свои намерения, отклонил яйца и сослался на недостаток пластинок.

— У-у, — протянула баба насмешливо, — дерьмо-то такое снимать. Уж истинно что дерьмо, смотреть не на что. — А потом, видно, спохватившись и поняв смысл сказанного, добавила:

— Ты бы молодых-то снимал, а уж нас-то, стариков, чаво. На погост бы нас.

И уже визгливо крикнула через улицу:

— Раздевай обратно мальчонку-то, не будет он сниматься.

Александра Ивановна Смородина (как я узнал о ней впоследствии) была той женщиной, которая первая схватила Бойцова за горло во время весеннего «бабьего бунта».

* * *

В ту же пору по Паншину прошел слух, что об'явился Самсон Михайлович. Что будто бы приехал он из Сибири нищей нищего со своей бабкой Агафьей Ефимовной. И что живут они где-то за станцией Еремково, километрах в двадцати от Удошли. Бабка в няньках, а дед побирается. К себе в родную деревню их не пустил стыд. В паншинском колхозе ребята, добрые успехом и особой какой-то веселостью военного похода, решили не дать погибнуть старику. Когда бойцовский шарабан остановился у последнего еремковского «убежища жизни» Самсона Михайловича, дед тербил лыко на завалинке, весь охваченный солнечными лучами. Беспросветная голь под самую кость обглодала его. Древняя домотканная рубаха, порты и валенки дотлевали и, казалось, дымили на нем. Слаб он был и худ до чрезвычайности. Великое путешествие Самсона Михайловича было произведено с поразительной при крестьянской практичности неосновательностью. Точно слепая рыба, спавшая семь десятилетий, он, внезапно проснувшись, поплыл метать свои фантазии на неведомую сибирскую станцию Каргат. Там семейству Крыловых земли не было нарезано, так как никаких причин к этой нарезке Самсон Михайлович представить не мог. Купил он там себе дом, точь-в-точь какой у него был в Паншине и даже хуже. Прожил три года, изо всех сил стараясь удержать привезенные деньги. И потом лег под железнодорожную лавку, как в колоду на реке в большую воду, предавшись движению и судьбе.

— Ну, собирайся, Самсон Михайлович, пойдём к нам, колхозником будешь, — сказал Бойцов прямо, без всяких околичностей.

Слезы ударили у Самсона Михайловича вниз по морщинам, вымывая пыль Каргата, бесприютных сибирских полустанков, чужих вокзалов и переселенческих пунктов. Самсон Михайлович погрузился в шарабан, преодолевая старчество, слабость и едкий стыд. Он долго и подробно все рассказывал и рассказывал колхозному п о в о д ы р ю свои причины и случаи, как плохо живут люди в Каргате, что окна там вровень с землей, что если бы его бабка, поступившая в няньки, его не кормила, он бы помер. Но Бойцов, весь поглощенный трудами лошади на невозможной удомельской дороге, отвечал через пятое в десятое, но весьма успокоительно:

— Погоди, дед. Вот мы все молоко сдадим по контрактации, тогда и сапоги тебе справим. Вообще насчет работы не беспокойся. Жизнь мы тебе придумаем. Одним стариком больше, другим стариком меньше.

Хотел еще Самсон Михайлович напомнить Бойцову его отца, Ивана, которого он знал еще ребенком. «Какой это был мечтательный человек». Но, как раньше, так и на последних ступенях своей жизни, все-

гда, когда Самсон Михайлович оглядывался назад, жизнь казалась ему однообразным и темным коридором или лесной дорогой в ночную пору. И всегда, когда он смотрел вперед, то видел перед собой светлое пятнышко, до которого ну прямо рукой подать, ну стоит только два шага сделать, как выйдешь на прогалину. И вот он сделал этот шаг. Этот шаг был маленьким, совершенно ничтожным ответвлением от большой и тяжелой эпохи, оставшейся позади. Мог ли он объяснить себе в целом и подвязать все многочисленные путаные веревочки своей жизни. Ученые до сих пор не могут сойтись на причинах переселения кочевых народов с азиатских просторов в Европу два тысячелетия тому назад. Изменения в климате, экономике, распад империй повлекли десятки миллионов людей вдоль земной суши. Так и теперь работа новых сил готовит новое переселение народов, которое вот уже совершается на наших глазах, но не вдоль, а в в е р х, в в ы с ш и й э т а ж ж и з н и. Самсон Михайлович совершил оба движения. И вот теперь он ступил на порог новой Гондваны, рассчитавшись всеми своими костями и молекулами, всеми своими восемьюдесятью годами рассчитавшись с прошлым, т.-е. со всей своей жизнью.

Остров песцов

Рассказ

СЕРГЕЙ СПАССКИЙ

Первая попытка

Яшел по берегу океана. Ночь, но окрестность ясна без границ. Только горы сделались легче. Слово палатки из синего бархата. И будто внутри они пусты. Пожалуй, если ветер усилится, он продавит новые впадины в склонах. В его власти вылепить горы по-своему. И вытряхнуть залежавшийся снег из ложбин.

Эта светоносная ночь — признак севера. Собственно, день никуда не ушел. Он только затих, не утратив окраски. И говорит приглушенным голосом. Может быть, шопотом. Или совсем онемел.

Слева от меня — Могильное озеро. Овальное и небольшое, оно примыкает к легендам. Говорят, здесь стоял монастырь. И некогда чье-то нашествие с моря разгромило монахов. Их бросили в озеро. С тех пор (впрочем, с каких это пор?) в озере ничего не живет.

То-есть, действительно, на определенной глубине и независимо от преданий озеро пропитали ядовитые газы.

Я иду к маяку. Светлая башенка с остренькой крышей. Как деревянный зуб на вершине холма.

И тогда к Могильному озеру с берега, подсакивая на камнях и потом по ослепительным пористым льдинам, еще не размытым водой, сбегает фигурка песка. На фоне камней — это быстрая бурая тень. Льдина ей сообщает рельефность. Льдина подносит песка (как на белой тарелке) с короткими цепкими лапами, с грузным шлейфом хвоста. Он резвится на льдине, тяжело подпрыгивает — ржавый пушистый комок — и сует мордочку в проруби.

Место действия — остров Кильдин. Время — 26 мая.

Вторая попытка

Дни Соловьева, заведывающего пушным заповедником, похожи один на другой. Это, конечно, неверно. В жизни нет одинаковых дней. Разны направления ветра на острове («подвижная струйчатость» — говорят звероводы), изменчива облачность, в бухту внедряются боты, рыбаки снаряжаются к лову.

Но дни Соловьева роднит непрерывность заботы.

Если б Соловьеву сказали, что в голове его только и бродят песцы, он, пожалуй, обиделся б. Мысли о песцах привычны, как собственный голос. Кстати, голос у Соловьева тонок и с присвистом. Соловьев выдувает слова, будто играет на флейте. Сам он худ, белобрыс и вполне соответствует голосу.

Правда, что в песце любопытного? Песец — это сектор хозяйства. Песцом ведает пушной синдикат. Песец — единица валюты. Госторг переправит песка за границу. И женщины с теплой блистающей кожей, чужие, враждебные женщины, возложат на мягкие плечи тонковолосые, дымчато-голубоватые, душные шкурки.

Удивиться песцу, все равно, что удивиться столу, стоящему издавна в комнате, или вдруг изумиться жене или собственным детям. Соловьев беспокоился о песцах почти инстинктивно. Вот он вышел из домика и направился к Людвигу...

...в данном случае очерк не состоится. Задание будет невыполнено. Я перебираю дневник. Страницы испаряют образы виденного. Картины вытягиваются до потолка.

А что если разрешить себе вольность и пустить материал на свободу? Пусть живет, как ему вздумается. Что-то к нему прибавилось, нечто исчезло. Это в общем близко к действительности, но она снимается с плоскости и вытянулась по спирали. Может, я сам вырабатываю новую неожиданную природу тем, что внимательно вглядываюсь в нее. А возможно — я не при чем. Тема развивается самостоятельно.

И добавлю в свое оправдание. Я люблю добросортные точные очерки и питаю пристрастие к цифрам. Но на этот единственный раз я ушел в противоположную сторону. И наблюдаю возникновение рассказа. Он выкарабкивается из воображения, как пловец из воды. Сначала только руки и плечи. Лицо залепили мокрые волосы. И весь он еще не просох, не одет. Назовем его предварительно —

Остров песцов

1

Врач Покровский избрал направление сам. Правда, не без подсказки знакомого карела, любившего Север. Но второе и главное — жена уехала в Крым, и этим отъездом, хотя ничего не было сказано ясно, обрывалась их совместная жизнь. Подобный разрыв Покровский не мог представить заранее. Они оба не молоды. Покровский не знал, что делать с событием, неожиданно вторгшимся. Мучительная неловкость. Будто обрушилась стена его комнаты и он ходит, ест, спит и все на виду, и соседи смеются из окон. И странно смотреть на Елену. Совсем другое лицо, говорит чужими словами, даже голос стал незнакомым. Какая-то новая женщина. Стоя рядом с женой на Курском вокзале, Покровский не верил, что провожает жену. Уезжала дальняя родственница, по какому-то старому праву называвшая Покровского уменьшительно. Имя третьего не произносилось, но Покровский знал, что тот уже в Севастополе.

— Ну, скажи мне сама до конца, — беспомощно думал Покровский.

— Поехал бы вместе со мной, — смеясь, протянула Елена. — А то — север. Зачем людям север? Я б его совсем отменила.

Почему она так говорит? Вот слова совершенно пустые. Воздух, бесцельно переработанный в звуки.

— Леночка, нам обоим стало бы легче, — запинаясь, начал Покровский.

Ему казалось, что тенистый перрон и железная стенка вагона, и прочная сцепленность, собранность поезда — все зависит от конца его фразы. Все начнется сначала и заново, в других формах, видах,

окрасках, разрешится, как арифметическая задача, стоит только добраться до правды.

— Очевидно, мне надо садиться, — потянулась Елена губами к Покровскому.

Он увидел морщинки у глаз и на лбу под клейкой сеткой пудры. Как она постарела. И зачем это все?

— Я тебе напишу, — крикнул он в вагонную дверь...

Его отпуск начался вскоре.

Он совершил последний обход по палатам. Землистые лица больных в рыхлых ямах подушек. Желтая кожа на выпирающих ребрах. Мир казался Покровскому неизлечимым. Эти ребра и позвонки. словно костям, глубоко спрятанным в человеческих телах, надоело скрываться и они выходили наружу. Кричали о своем существовании. Бунт костей — предвестие смерти.

— До чего мы все же уродливы.

Покровский изумился этой мысли, столь лишней в обиходе врача. Безошибочная, как столбик ртути в термометре, мысль показывала переутомление.

В дороге Покровский был занят собой. Хотя он не ощущал ни себя, ни дороги. Сев на диванчик купе, он понял, что может не думать. За него думал поезд, умный поезд, сознательно изворачивающийся в заграждениях сосен и гор, трогающий рельсы звонким и гладким прикосновением, во-время останавливающийся и чутко снимающийся с места. Поезд, выполняющий назначение, вобравший Покровского внутрь своей вздрагивающей оболочки.

Немыслимой красоты пейзажи катились по стеклам. В них не было места Елене. Они не соприкасались с Покровским. И в полнейшем безразличии их к телу Покровского было что-то справедливое и дающее облегчение.

— Горы, — очнулся Покровский однажды, увидев огромные снежные тени в белых начесах снегов. — Хибинский массив. Куда я попал?

На другой день, побродив по Мурманску и не сыскав ночевки, а также желая продолжить движение и вырыть между собой и тем, что считалось до сих пор его жизнью, непроходимый обрыв, он сторговался с рыбаками и выплыл на Кильдин.

2

Он добрался мокрый, замерзший, раскиданный качкой на части. Океан заглывал бот, жевал его губастыми волнами и, окончательно прожеванным, выплюнул в остров. Внутри Покровского, как в комнате во время уборки, все стояло вверх дном. Он не знал ни души. Запечатанный наглухо ветром поселок. Люди спали. Полярная ночь. Облака накрывали бледное солнце и снова освобождали его. Освещение мгновенно и беспрестанно менялось.

— Надо просохнуть. Я схвачу воспаление легких.

Скользкие камни, изумительно выточенные и влажные, зажурчали под каблуками, когда он двинулся к домикам.

И тут, пробравшись сквозь изгородь, обнесшую один из дворов, к Покровскому подкатилось животное.

Коричневый мешок свалывшейся шерсти. Зверь линял, шерсть редела с боков и была неопрятной и тусклой. Воровато крадучись, полусобака, полулиса, зверь вытянул чуткую морду. Он забавно прошелся возле Покровского, чертя неуклюжие петли. Хищные уши стояли остренькими уголками. В глазах жадная меткая зоркость. Неловкий и быстрый, домашний и настороженный, зверь ковылял, не

смущенный соседством Покровского. Драгоценный хвост, слишком пышный для недлинного тела, волочился по камням.

Этот-то хвост, великолепный и мягкий, напомнил Покровскому разговоры на боте.

— Песец! — чуть не вскрикнул Покровский. Ведь ему сообщали, что остров отведен для песцов.

Но в спотыкающемся и самодовольном появлении животного, в его самоуверенном существовании на пустынной неразбуженной улице было столько осязаемого невероятия, что Покровский почувствовал себя ребенком и на страницах Майн-Рида. Ему стало весело. Накрепко заваленная годами вера в неожиданность жизни вдруг взволновала его. И тотчас Покровский понял, что необходим собеседник, любой, кто бы он ни был, лишь бы он разделил удивленье Покровского и подтвердил, что догадка его о песце справедлива.

Словно повинувшись этой необходимости, дверь домика скрипнула. На пороге стоял человек.

— Послушайте, это песец? — шагнул сквозь ветер Покровский.

Человек смотрел и молчал. Коренастый, с плечами, широко влиатыми в куртку. Глаза светлы и серьезны. Лицо казалось и важным, и прямодушным до детскости.

— Ведь правда же? Посмотрите сюда. Вот он пробежал, — крикнул снова Покровский, невольно принимаясь жестиковать, будто он обращался к глухому.

Однако, животное скрылось. Улица в пустынной своей обнаженности осталась вновь неподвижной. Деревянные стены светились серовато-зеленым сиянием. Камни прозрачны и неестественно хрупки. Может, это от холода в камнях и стенах особенная стылость и звонкость. И Покровскому стало невыносимо мерзнуть с вещами в руках.

— Я — приезжий! — Покровский махал чемоданом. — С бота! Оттуда! Да скажите вы толком, где тут можно согреться?

Гнев Покровского не омрачил человека. Чуть подавшись назад, он кивнул пригласительно. И повернулся. Его спина погрузилась в сумрак передней. Покровский ступил на крыльцо, опасаясь отстать. И сразу же началась комната.

3

Легкая комната из узких точеных планок. Нарядно крашенная в свежую зелень. Бухта влегла в квадратные окна и оперлась о подоконники.

Вода крутилась и мыльно кипела за стеклами. Ее шум проникал сквозь стены приглушенный и шелковый. Острые мачты мигали и прыгали, напоминая черные молнии. Шторм, как он представлялся из окон, утрачивал грозность. Он превращался в щедрое зрелище. Его умеряло тепло, живущее в комнате. В низкой железной плитке копшился огонь.

Белого металла незапятнанный чайник выгнул шейку, как лебедь. Отражения сновали в его нагретой поверхности. И над входом в соседнюю комнату, обдавая пространство беззастенчиво алым пыланием, висел длинный до полу занавес.

Хозяин шагал в своем полном красок жилище. Полном света и чистом, как зеркало. Он вынул стакан из шкафа и крупно колотый сахар.

Покровский молчал, не пытаясь искать разговора. Чай желтел перед ним и пузырился. Хлеб лежал разделенный на ломти. Все спойно. Ощущение качки рассеялось. И вдруг, за неразбавленно красным занавесом раздался тоненький голос.

Он сразу нарушил молчание, прозрачно стоявшее в комнате. Это плакал ребенок сонно и горестно. Может, он продолжал еще спать и боролся со сновиденьями плачем. Голос был непонятен. Покровский вздрогнул.

Хозяин обернулся и мягкими шагами, неидушими к его прочному телу, направился к занавесу. Было что-то нарочитое и робкое в опасливой походке грузного человека.

Из-за занавеса доносились слова. К изумлению Покровского, их произносил хозяин. Напоминающие ласковое ворчание звуки. И на незнакомом Покровскому языке.

Плач прекратился так же сразу как начался. Продолжая разговаривать, хозяин вышел обратно. На этот раз он обращался к Покровскому, пытаясь ему что-то объяснить. Он касался рукою лба и качал головой. Растерянно улыбался, недоумевая, пожимал плечами. Видимо, он очень волновался, если пренебрег своей неподвижностью и не соглашался признать, что им не понять друг друга.

Покровский поднялся навстречу. Это было мучительно. Ни одного знакомого корня. Слово возникало за словом. Человек будто показывал Покровскому никогда невиданные предметы неизвестного назначения.

И тогда в комнате обнаружился еще собеседник.

4

Он вошел, видимо, несколько раньше. Его белесые прыгающие брови сливались с бледною кожей. Маленькая голова, низко обстриженная, походила на облупленное яйцо.

— Девочка у него больна, — сверкнул он золотыми зубами. — Хворает последнее время. Вот он и волнуется.

Покровский будто проснулся, выходя из своей немоты.

— Вот в чем дело! — он обрадовался понятной речи пришедшего. Доступные сознанию слова сразу сделали естественной комнату. Обстановка мгновенно нашла свои определения. И в ней нашел себя и Покровский. — Я врач. Передайте ему. Я ее осмотрую.

— Так вы значит не из Пушхоза? — огорчился в ответ новый гость. — А я решил, вы ко мне, да запутались.

— Позвольте, при чем тут Пушхоз?

— Пушхоз тут самое главное. Я заведу тут заповедником.

— Очень рад. Но давайте осмотрим ребенка. Кстати, что это за язык?

— Норвежский язык. Здесь много норвежцев. Людвиг не понимает по-русски.

Ребенок лежал, потерявшись в деревянной кровати. Розовый, жаркий. Ему было около двух. Он морщил коричневые из нежнейших шерстинок брови. И казалось, он улыбается. Но дышал громко и трудно.

Людвиг стоял за Покровским, вытянув голову. Он наклонился вперед, когда Покровский слушал ребенка. Переступал с ноги на ногу, отражая движенья Покровского. Тело Людвига все напряглось. словно усилием мускулов, он мог облегчить работу врача. Собственным вниманием сообщить Покровскому зоркость.

— Ничего, — обернулся Покровский, вспомнив, что взял аспирин.

Людвиг смотрел ему в губы.

— Ни-че-го, — произнес он с натугой.

Оба поняли впервые друг друга.

— Ничего, ничего, — засмеялся заведующий, хлопнув Людвигу по плечу.

Все направились к выходу. Все улыбались. Каждый своему и каждый по-своему.

— Где же мать девочки? — Покровского удивило это собрание рослых мужчин вокруг детской постели.

— Матери нет. Мать его бросила, — кивнул заведующий на норвежца, — да и ребенок не его. Тут целое происшествие.

5

Вечером, отоспавшись, Покровский вышел на улицу. Ветер ослаб. Бухта светло зеленела. Бота упруго касались ее неподвижной поверхности. Плоские, как лопухи, рыбы головы сохли, нанизанные на веревки. Целые рожи рыбьих голов. Редкие фигуры трудились у домиков. Где-то пилили дрова. Воздух позванивал, распиленный резким железом. Катится стадо овец. Подскакивающие серые холмики. Двое рыбаков спустились к воде. Лодка осела под их сапогами. Узкие весла раскрылись и упираются в жидкую зелень.

Покровский брел от строения к строению. Вытянутые вдоль бухты, они повторяли друг друга. Он обнаружил кооператив и зашел спросить папиросы. Приказчик отпустил ему купленное, не поинтересовавшись, откуда он взялся. Немногие покупатели бегло глянули на Покровского и вернулись к своим разговорам. Отсутствие любопытства к новому лицу слегка удивило Покровского, так как в нем самом напротив возрастал интерес и желание проникнуть внутрь окружающего. Хотя окружающее это извне не выглядело чрезвычайным.

Он вступил в избу-читальню и коснулся ветхих московских газет. Забрел в клуб и даже поднялся на сцену. Крохотный ящик в холщевых декорациях, изображавших избу, походил размерами, запахом, скрипом подмосток на тысячи однородных сооружений. Так же, как кооператив лишь мелочами отличался от своих бесчисленных сородичей. И так же, как бухта вызывала в памяти крымские бухты. Откуда ж бралась любознательность? Радостно ощущая ее толчки в теле, Покровский затруднялся определить ее настоящий характер.

Рыбак на мостках, согнувшись, катит боченок.

Песцы юлят между лодок. Один валит другого на спину. Их лай, хриплый и жалкий, похрюж на кудахтание. Рыбак закричал на песцов, и те отбежали, оглядываясь.

И вторичное появление песцов опять не вязалось ни с чем знакомым доселе. Поселок сразу вырвался из привычных представлений и занял отдельное место. Поселок требовал изучения как ни с чем, несравнимая особь. — Ведь это Ледовитый океан, — вспомнил Покровский. Ледовитый. В самом деле. Имя, сложенное из скал, восстало в душе. Роальд Амундсен. Имя, будто принадлежащее не человеку, а горному кряжу.

— Хозяйство мое наблюдаете? — сказал Соловьев, заведующий заповедником.

— Да, я еще утром заметил. Какое странное место! Собак не видать, песцы снуют на свободе.

— Собак отсюда мы вывезли. Чтобы не рвали песка. Теперь ему полная воля. Ворует в поселке, что хочет. Вот с кошкой ему не сладить. Кошка от него отбивается. А зимой у меня вдвоем жили мирно. Песец бродит по комнате, а кошка его за хвост. Раз смотрю, сидят в одном ящике вместе и ничего, не поссорились. Не зайдете ли, чаю напьемся?

Закусили сладковатой вареной треской. Пили чай с баранкой и клюквой. Жена Соловьева, большеглазая, тихая, белая, как все на этой земле, подставляла стаканы. Двое детей топтались по комнатам.

— Зачем вы приехали? — спросил Соловьев.

Покровский не знал, что сказать. Едучи сюда, он представлял Кильдин какую-то полою формой, которую он заполнит своими размышлениями. В беспрестанно вращающейся Москве север мерещился неподвижным. Покровский чувствовал себя разделенным на части Москвой. Его по частям развозили трамваи. Улицы растянули его существо до самых окраин. Даже во сне собраться не было сил. Он так и спал раскиданный по заставам. Океан должен был ограничить Покровского, как ограничивал линию берега.

Но все это теперь получалось иначе.

Остров Кильдин не пуст. Север не неподвижен.

— Впрочем, к нам иногда заезжают. Недавно писатели были. Совкино собирается. Инструктора жду из Пушхоза. Да вы, вероятно, турист?

Соловьев обрадовался, найдя обозначение гостю.

— Пожалуй, турист. У меня отпуск. Всех тянет на юг. А я Севера никогда не видал. Надо же иметь представление.

Слово юг коснулось тела иглой. Но укол был мгновенен. Острие во-время выдернуто.

— Что ж север? Чего тут особенного? Мы живем и не смотрим. Да и время сейчас еще раннее. Вот в июле и в августе трава нарастет. — Соловьев улыбнулся, припомнив траву, как редкое зрелище.

— Вы-то сами давно здесь?

— Скоро год. Жил на Новой Земле. Потом перебрался в Архангельск. Там возился с лисицами. Осторожное дело. Отличный лисий питомник. Живут они в клетках проволочных — вальерах. Следишь за ними круглые сутки. Даже ночью, и то подымался на вышку посмотреть, что они делают. А однажды случился пожар. Сбились с ног. Нужно было переводить лисиц в старый питомник. Целый месяц не спал.

— А здесь только песцы?

— Да. Сейчас они некрасивы. Их надо осенью видеть. Шерсть вырастает длинная, гладкая, голубая. Но я и белых люблю, хоть они и дешевле. Чистенький он, блестит, мордочка черная, глазки остренькие.

— Ну, а много их?

— Самое меньшее триста. Им остров очень подходит. И бежать некуда. Будь льдины зимою на море, удрали бы на материк. Тут корм подходящий. Песец не брезгливый. Ест все, что море выбрасывает. Рыбу, водоросли. Мы мясо подкладываем. Кости. Молодому песцу нужно зубы точить. Даже варим компот. Но это все больше зимой.

— А бьете?

— Нет, только чистим породу. Проводим через кормушки-ловушки, отделяем бракованные экземпляры. Белых выводим всех понемножку. Наша задача — развести голубого. С командорских островов в декабре перевезли сто голубых. Часть перетряслась в море, перепугалась, не выжила. А остальные освоились. К концу пятилетки их будет тыщи четыре. Тогда начнем продавать за границу. И шкурки пойдут, и племенной материал. Колхозам начнем раздавать. Ведь это ж какое хозяйство! Целиком себя оправдывает. Главное, пусть размножаются.

Соловьев слегка заикался. Лицо его покраснело. Негромкий голос дрожал.

— Вот сейчас — центральное время в году. Спариваются песцы. Нужно им не мешать. Не пускаю ходить поперек острова. Должны они правильно спариваться. Делаем опыты, в землю зарыли искусственные норы. Гнезда особые, ящики. А песок недоверчив. Он идет в обветренные, потерявшие запах постройки. Посмотрим, что выйдет.

Девочки Соловьева возились и вскрикивали. Покровский все время ощущал их мелькающее присутствие. Они наполняли всю комнату свежестью. Белые голые ручки, сияние маленьких лиц.

— Тише! — сказал Соловьев. — Ишь бегают в летних платьях. Они у меня как в Ленинграде на даче.

...Да, конечно. Улучшить породу песцов. Отборные голубые сорта различных расцветок. Помесь белых и голубых. Помет рождается мешаный. Часть детенышей голубая, часть белая. Но белый песец с примесью голубой крови, смешиваясь с голубым, дает чистое голубое потомство. Повышение качества материала. Чтобы нежная, тонкая шерсть. В тридцать четвертом — тридцать пятом году — 6.728 самцов, 5.611 самок. Выбраковка 979 штук. Часть на племя и около 6.000 излишка. Это значит к концу пятилетки один только Кильдин владеет количеством, которое сейчас имеется на мировом рынке.

Соловьев бросает цифры горстями.

С 31 — 32 года производить подсадку песцов в леса. Обмен экземпляров с Америкой. Цена 100 — 170 долларов штука. И совсем недавнее дело. Запрещение охоты на острове с 1925 года. С осени 1928 остров арендован Госторгом.

Вот он договор:

Февраль 1929 года. Госторг РСФСР и Мурманский Окр. Исполком. ОКРЗУ предоставляет Госторгу в арендное пользование территорию острова («заметьте, заметьте» — говорит Соловьев) со всеми находящимися зверями для развития и организации... по методам и приемам современной техники... пушного звероводства и зверопромышленного хозяйства... Сроком на 12 лет, считая от 1928 года. Предоставляемое Госторгу право на эксплуатацию территории острова является исключительным.

— ...Как в Ленинграде на даче. Эта вот родилась на Новой Земле. Я ее и назвал Поляриной. Дружат, дочки с песцами. Бывало зимой ползают по снегу перед домом, а песец сторожит. Они на него снег сыплют лопаточками. Песец отряхнется и ляжет подальше. Девчонки опять на него со снегом. Так и играют.

Родиться на Новой Земле. Тогда остров Кильдин становится югом. Особые ветры пестуют тело. Глаз развивают особой прохладности, нежности краски. Как суровы и туги зазубрины скалы! Север — верность и строгость. Север — мужество.

— Я сама не бывала южнее Архангельска, — говорит жена Соловьева. — Что такое Москва?

— Что такое Москва? — вспоминает Покровский. Как приблизить Москву к этой комнате, бухте, песцам? На острове нет соответствий Москве. Ни малейших подобий.

— Ты в Москве пропадешь и соскучишься. — Соловьев знает Москву.

Он притянут к ней перепиской. Москва — пушной синдикат и фасады зданий правительства. И друзья по гражданской войне. По борьбе с Махно и Деникиным.

— Нет работников. Малограмотность губит. Например, у меня сторожа на кормушках-ловушках рассказывают все устно. А за две недели дежурства всего не упомнить. Важно записывать, сколько пес-

цов приходило к кормушке, как относятся к человеку, как ладят друг с другом. Я и сам малограмотный. Тут бы поставить научную станцию. Изучить песца, воспитать. Звероводство — новое дело. Вот раскинем вальеры, устроим питомник, наладим песцовую амбулаторию.

— А я все же поеду в Москву. Пусть только вырастут дети. Соберусь и поеду, — отозвалась тихо жена.

6

Песец выкрал овчину у Людвиг и трепал ее за крыльцом. Людвиг стоит над песцом и внушает ему по-норвежски:

— Зачем ты стащил овчину? Овчина — нужная вещь. Вот если бы рыбу украл, ничего. Это дело другое. Взял бы рыбу, это я понимаю. Совсем испортил овчину. Ну, да коли испортил, и мне она не годится. Бери овчину себе.

Людвиг — чужак.

Покровский пишет письмо.

«На фотографии женщина в скромном платочке. Немолодая. Остренькое лицо улыбается. Белые мелкие зубы блестят, как зубы песца.

Как схожи наши обиды. Виды человеческих несчастий можно классифицировать. Определять их породы, как породы животных. Можно составить каталоги переживаний. Тут область литературы. Ей следовало бы этим заняться.

Я живу у норвежца, который разошелся с женой. Ее фотография темнеет на стенке. Он нянчит чужого ребенка. Жена издевалась над ним. — Разве мог от тебя быть красивый ребенок? Ребенок не похож на тебя. Ты здесь не при чем.

Когда к жене заявлялся матрос, норвежец выходил в соседнюю комнату. Он сидел, курил трубку и ждал. Что это? Ленивая тупость, скудость сердца, медленность крови?

Как-то в Москве я вернулся поздно домой. Двор был превращен уже в ночь. Фонари не горели. Наши окна стояли в стене двумя световыми провалами. Я различал снизу перекладины рам, слой белого занавеса. Я представил себе высоту потолка, трещины в нем, черный гвоздь, вбитый в карниз. Память одарила меня всем без задержек. Я понял произвольно, может, по беззастенчивой яркости стекол, что ты сейчас не одна. Мое возвращение было бы лишним. Окна не принимали меня. И они были правы. Я не в силах их опровергнуть. Они знали больше, чем я.

Я стоял и раздумывал. словно мне следовало представить весь потолок целиком, а я забыл, как укрепляется люстра. Наконец, удалось отвернуться и я снова вышел на улицу.

То-есть ты понимаешь, Елена, все произошло, как по-писанному. В этот момент я представил себе под'ем по темной развернутой лестнице. Беззвучный нажим французского ключа, и дверь плавно открылась.

Я разрезаю комнату шагами на две половины, как разрезают мякоть плода. Я в спелой ее сердцевине, в центре, под люстрой. И ударяю наотмашь его по лицу, твоего собеседника, косточками кулака по губам.

И тогда-то на улице мне стало противно. Я будто об'елся какого-то горького сала. Внутренности мои выворачивались. Я почувствовал отравление. Я унизил свое воображение, представляя подобную сцену. Я не смел этого делать даже ради тебя. Вряд ли это понятно тебе. Но норвежец, пожалуй, поймет, хотя мы не обменялись ни словом.

Я вернулся домой часа через два. Ты спала. Комната зябко светала. Люстра дремала висячей, стеклянную тенью. Я разобрал, наконец, каким способом она надета на крюк.

Конечно, мне следовало превратить в слова эту ночь. И вернуть ее тебе постепенно, фраза за фразой. Но ты опасалась слов. Они скатывались с тебя, будто капли по вощенной бумаге. И я потерялся, я отступил. Но теперь я пишу ясно и прямо. Может, это от воздуха, от того, что здесь нет темноты. Даже ночью все очевидно...»

7

Утром Соловьев зашел за Покровским. Оба шествовали по крайней стороне берега. Надо было добраться до кормушки-ловушки. Море шло рядом с ними. Прибой повторял форму берега. Мгновенно обводил его линию меловыми мазками пен. И снова стирал изогнутость мысов и впадин. И выдавливал наново их и подкатывал берег к ногам.

Торфяная земля мягка, как перина. Прошлогодние сохлые дерны. Камни, пестро раскрашенные изумрудными мхами. Камни были вместо цветов. Из них можно складывать клумбы.

Однако, находились и группки настоящих цветов. Розовые низкорослые крапинки. Уменьшенные подобия лепестков. Словно забавное, трогательное воспоминание о южных цветах.

Они завернули, покорно следуя берегу. Океан поднялся до неба наклонной стеной. Выпуклый, точно темный складчатый парус. И белые паруса рыбаков наколоты на морщинистую синеву, как дрожащие бабочки.

Соловьев говорил без умолку. В его мыслях бродили песцы.

— Кто их знает, откуда они появились на острове. Рассказывают, тут был монастырь, и монахи их разводили. Эриксоны утверждают, что они завезли песцов из Норвегии. Говорят, раньше пролив замерзал. Старики такие находятся, которые якобы помнят. И тогда песец переправлялся по льду. Финны издавна сюда наезжали. Травили песца стрихнином. Почти всех и повывели. А теперь песцу что? Пускай размножается. Самка приносит штук восемнадцать. Правда, только раз в году, и всех не выкармливает.

— А как относятся жители?

— Было все хорошо. Мы старались заинтересовать население. Кое-кого привлекали на службу. Электричество провели. Только два становища на всем побережье со светом. Пятьдесят рублей в месяц платим на содержание клуба. А потом пошла ерунда. Нападают песцы на овец. Рыбаки бунтуют, волнуются. Овец мы, правда, оплачиваем. Попробуем отгородить поселок и пастбища сеткой, да снегом может свалить. Ветры сильные. Пожалуй, придется выселить жителей на материк.

— Значит остров только песцам?

— Обязательно. Пусть никто не мешает. Я писателям говорил: напишите, чтоб никто не вторгался. А то путаются организации. В прошлом году хотели рвать сланец. Теперь водоросли собирают на иод. Подумайте, весь берег займут. А песцу нужно море. Он должен размножаться. Чтобы к концу пятилетки было четыре тысячи!

— Как полезно на время уехать из города, — начал было Покровский.

Соловьев посмотрел с удивлением. Покровский понял, что сказал невпопад. Между тем его мысли вытекали из фраз Соловьева. Так же, как из грохочущей декламации моря. И рассказ о песцах

удивительно важен Покровскому. Хотя соприкасается с ним иной стороной, чем мог бы представить его собеседник.

Разнородно строение жизни! Сколько слоев, образований, пород. Обилие человеческих интересов, сталкивающихся между собой, опирающихся друг на друга, по законам социальной кристаллизации.

Остров остался б совсем неизвестным Покровскому. Но во-время приходит несчастье. Оно принесло своими руками ему эту землю со всем ее населением. Или так: Покровский уперся в стену, но в стене оказалась дверь. Он прошел сквозь дверь и вот — гуляет по берегу.

На берегу приподнялась кормушка-ловушка. Деревянный крохотный домик, еще уменьшенный морем и горными скалами. Ее обступали столбами, арками, каменными ящиками слоистые здания скал. Выветренный городок из крохкого камня. Причудливые мавзолеи, надгробные памятники, словно спресованные из окаменелых бумажных листов. Так явно отделялись на глаз один от другого тончайшие сланцевые пласты.

— Сундуки, — сказал Соловьев. — Мы их так называем.

Крохотный домик необитаем и замкнут. Два чердачка чернеют под крышей. К сквозным чердачкам с двух противоположных концов приставлены лесенки-трапы.

В эти уютные чердачки по узеньким лесенкам забегают песцы на запах приманки. Там они кормятся. Когда нужно песка изловить, автоматически открывается люк. Песец проваливается внутрь избушки. Люк захлопывается. Зверь заперт.

— Посмотрите наверх, — отозвался Покровский.

По слоистым черным отвесам летят водопады. Словно тонкие шарфы. Мельчайшая водяная пыль искрится на солнце. На тропе у вершины скалы два проворных пятна.

— Белый и голубой. Ишь, бегут. — Соловьев вытянул шею. — Лесица бежит ровно, стройно. А эти, как медвежата. Только быстрые очень.

Два песца, едва отделяясь от скал, задержались на склоне. И залаяли вниз, издеваясь над путниками.

8

На обратном пути подошли к маяку. Белая башенка отперта. Людвиг с тряпкой возился в круглой внутренности помещения. Он вспомнил, взглянув на Покровского, что девочка выздоравливает. И улыбнулся деловой, спокойной улыбкой.

По красной лесенке все трое поднялись вверх. Маленькая площадка огибалась сплошным просторным стеклом. Справа светился пролив, впереди расступается море.

Чувство, будто находишься в середине широкого глаза. В центре зрачка, глядящего одновременно в разные стороны. И еще вспомнилась лаборатория, ее сосредоточенная чистота. Это впечатление, возникавшее от белой масляной краски на всех деревянных частях, подкреплялось фонарем, господствовавшим на подставке. Его массивное стекло, выпуклое посредине, ребристое сверху и снизу, вделано в желтую медь. Медь напоминала натертый блеск микроскопов. Из зеленоватой толщи стекла, вытянутые и опрокинутые, всплывали наверх отражения. Было тихо. Ветер стлался по стеклам, не вторгаясь в спокойствие башенки.

Соловьев, переговариваясь с Людвигом, давал объяснения.

Керосиновую лампу вносят в фонарь. Стекла вбирают ее неяркое свечение и сообщают лучами густоту, золотистость, насыщенность.

Фонарь оживает. Он рождает свет из себя. Он висит, как стеклянное ясное сердце. Теплый воздух стремится вверх по стеклу. Его протяжный напор вращает легкую шестеренку. К шестеренке подвешен каркасик из проволоки. В каркасик на определенном расстоянии друг от друга вставляются жестяные заслонки. Заслонки вращаются вместе с каркасиком вокруг фонаря. Они покрывают лучи, создают темные промежутки. Фонарь мигает по азбуке Морзе. Чередование миганий маяк бросает окрест, как свое световое имя. В международных судовых книгах хранится знак маяка. Любой капитан, увидев неповторимое сочетание вспышек и погасаний, определит местонахождение маяка и правильность своего направления.

— С первого мая по первое августа маяк не работает.

Людвиг подтверждает слова Соловьева.

Это важно в кромешную зимнюю ночь. Маяки здесь видят друг друга. Они передают пароход из рук в руки, кивают ему с возвышенностей. Искусственные звезды, благожелательно восходящие по своим мореходным законам.

Людвиг вслушивался, будто понимая, в речь Соловьева. Когда тот остановился, он напомнил что-то еще. Он был рад ввести Покровского в суть своего ремесла. Голос его звучал веско и связно.

— Иногда, — перевел Соловьев дополнения Людвигу, — в окна башенки вкладываются цветные стекла. Цвета тоже определенные и тоже помечены в книгах. Один цвет обозначает пролив, другой открытое море. Есть маяки, одаренные голосом. Когда свету не сладить с туманом, они посылают раскаты колоколов и бой трехдюймовок. И звоном, и выстрелами управляет азбука Морзе.

По пятилетнему плану кильдинский маяк получит свой колокол.

Экскурсанты исчертили бока башенки вязью фамилий, адресов и профессий. Людвиг указывает на отверстие в толстом стекле. От него звездой расходятся трещины. Это пьяный пройдоха пальнул из револьвера. Выстрел в мореходную солидарность жалок и отвратителен.

9

«Теперь я могу представить отчетливой. Матрос оставался с женой. Людвиг смотрел на часы. Было время подлить керосин. Он одевался с застывшим лицом и грузно шел к маяку. Ночь висела вокруг, как черный пузырь. Жестяная пурга расстилалась и складывалась. Невидное море рычало повсюду. Словно оно ворвалось внутрь острова и готово пробить его оболочку.

Людвиг шел, будто видел насквозь в темноте. Нет, он обходился без помощи зрения. Он знал остров во всех мельчайших подробностях. Лучше, чем лицо жены. Остров был ему родиной. Жена отыскалась позже. Вдавливая в снег шаг за шагом, Людвиг что-то обдумывал важное. Мысли ворочались, как жернова.

Ну, конечно, в сущности, он мог бы убить моряка. Мальчишка бы рухнул от первых толчков. Мускулы Людвигу налились злобой. Кровь становилась тяжелой, свинцовой. Он отмыкал дверь маяка и просовывал голову внутрь. Он просовывал голову внутрь, как бы спасаясь от невнятных картин, догонявших его. Картины слишком мрачны. Людвиг не хотел их разглядывать. Он стоял внутри башенки, часто дыша.

И тогда сверху доносилось металлическое жужжание. Людвиг подымал голову и различал его ясно. Да, правильное бормотание, подрагивающее повествование жести и проволоки. Поскрипывало и кружилось, порхало, как голубь. Теперь определялись тона. Неумол-

каемое перебирание одной и той же струны. Это вращается шестеренка. Теплый воздух тянет ее, играет на ней, дует в нее сквозь горло лампового стекла. Людвиг слушает, подняв широкое лицо. Мысли его расступаются и он восходит по лесенке.

И когда он в обитом стеклами шаре, ему кажется, что его место — лучшее в мире.

На фонарь трудно смотреть. Он тепел и ярк, как солнце. Тени от заслонок пролетают вокруг, разрубая башенку на неравные доли света и тьмы. Луч возникал рядом с Людвигом и уносился, рассеиваясь. Узкий световой коридор, пробуравленный в сумраке. И Людвигу представлялось, что это он сам, его угрюмая жизнь, преобразованная в блеск и полет, разбрасывается в ночи. Его жизнь отыскивают пароходы; капитаны правят по ней. Люди, ничего не зная о Людвиге, все же нуждаются в нем. Он оправдает доверие. И ему становилось спокойно, Елена...»

10

Отъезд наступил неожиданно. Рейсы совершались случайно, и прохожий бот брал Покровского на борт. Опасаясь бессрочно застрять, Покровский решил отправляться.

Он прощался с Людвигом. Соловьев стоял на мостках.

Туман волочился вдоль острова, убирая из глаз склон за склоном. Мутное небо опустилось в пролив.

Люди готовы расстаться. Их мысли соприкасались в тумане более различные, чем их внешние облики. Если б пересадить одну только мысль любого из них в череп другого, он не знал бы, как с ней обращаться. Может, он просто не перенес бы этой мысли в себе и ощутил бы себя сумасшедшим.

И, однако, Покровский нес в своем существе и Соловьева с песцами и судьбу норвежца-маячника. Он погрузил их в себя столь глубоко, что они вытеснили его собственные огорчения. Да и есть ли такие отдельные боли? Покровскому представлялось, что Людвиг, изживая свои неурядицы, прожил их и за него, за Покровского. Так что на долю Покровского остались сущие пустяки.

И вот Соловьев — воспитатель песцов, обогатитель природы, добытчик пушного золота.

У каждого свой маяк. Главное, что б отдельные жизни, как маяки, перебрасывали друг другу свои световые названия.

— Ну, товарищи, — сказал Покровский. Соловьев протянул ему руку. Людвиг медленно поднял фуражку.

Письмо

АЛЕКСАНДР ГИТОВИЧ

Привычным порядком плывут вечера,
И я не приеду,

не жди...

Здесь те же туманы, что были вчера,
И те же косые дожди.

И я,

не скрывая дрожанья руки,

Держащей страницы письма, —

От каждого слова,

От каждой строки

Схожу понемногу с ума.

Тут всякий исписанный мелко листок

Таит ветровой аромат, —

Я вижу далекий, песчаный Восток,

Уступы скалистых громад.

Где глинянный город,

чалма и халат,

Сияющий, старый базар.

Персидские ткани,

дамасский булат,

Толпа,

серебро

и азарт.

И желтых, скуластых людей не поймешь,

И медленна поступь арбы...

Но в чащах плантаций берутся за нож

Недавно немые рабы.

И я, понимая холодным умом,

Великою силой любви, —

Мой друг!

Не отвечу бездушным письмом

На вольные строки твои.

Я просто и радостно кинусь вперед,

Навстречу прекрасной судьбе...

А письма белеют,

А ветер зовет,

И я —

Уезжаю к тебе!

Люди и факты

1. Лев АЛПАТОВ. Старым следом. — 2. Ник. АССАНОВ. Производственные портреты. — 3. Дан. ФИБИХ. Окопы пятилетки.

1. СТАРЫМ СЛЕДОМ

Байкальские очерки

Лев Алпатов

Белый отряд спасался от смерти, и тогда невозможное становится возможным. Да, они совершили немислимый, невероятный поход, перевалив через хребет с Лены к Байкалу.

Их путь усеян телами. Спасаясь от партизанских пуль, они несли смерть коммунистам не саблей, а тупым обухом топора. Озверелые, они залили свой снежный путь чужой кровью, сами ж гибли от мороза.

К Байкалу банда вышла близ селения Тья; там было первое кровавое дело, затем она поднялась по замерз-

шей Верхней Ангаре, через хребет прошла к Баргузину, и, кажется, несколько человек из нее спаслись в Монголии.

Восемь лет спустя, мой путь частично совпал с ихним. Что видел и слышал на берегах реки Ангары, хочу рассказать здесь.

Безногий

Вечером, если сел человек на скамеечку, он, значит, свободен и расположен в беседе. В такой именно час я разговаривался со стариком Левиным.

Сын его вернулся в Нижне-Ангарское на костылях, ногу оставил на фронте, но привез с собой свою старую гармонь и много новых песен, за это девки любили безногого гармониста.

Прямо с вечеринки взяли гармониста и повели в дом местного кулака, где уже было около двадцати арестованных. Прибежал старик и стал уверять, что сын его не коммунист.

— Если не коммунист, то отпустим.

— Паланька, возьми гармошку, как бы не сломать.

Ушел старик с гармонью, а сына увели.

Ночью мела метель, и выли собаки. Не спалось старику, и он пошел мимо дома с арестованными.

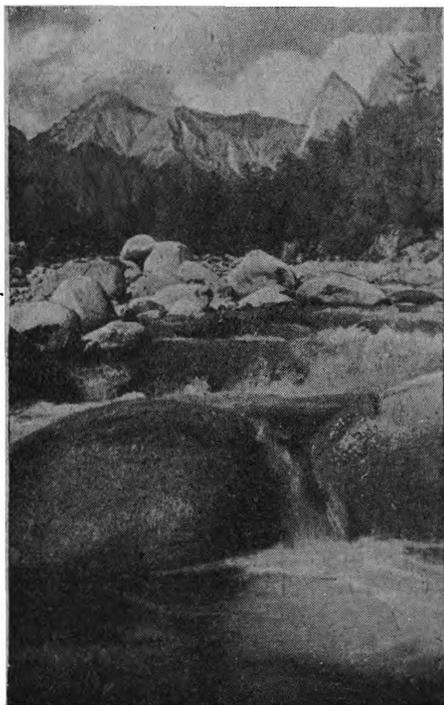
Около баркаса он споткнулся о бревно. Бревно оказалось человеком в одной нижней рубашке.

«Не сын ли?» — старик ощупал лицо.

За баркасом старик нашел еще десять трупов, и среди них не узнал старик своего сына. Он обрадовался и подумал, что сын его, безногий сын, убежал. Он пошел домой. Около первого трупа собрались собаки. Для голодных байкальских лаек мертвые люди были лакомым мясом. Старик отпугнул их и вспомнил: ног у мертвецов он не смотрел.

Старик провел по телу рукой.

Нога у трупа была искусственной.



Левин не дал собакам есть своего сына. Ввалил на сиину и понес огородами в баню.

Отец похоронил сына в отдельной могиле. Сын его был не коммунист.

Рассказал мне это Левин, сидя рядом на завалинке, я передал его рассказ своими словами, потому что неудобно было вынимать блокнот, видя такие грустные глаза старика, но я хорошо помню его заключительную фразу.

Он долго молчал, смотрел на Байкал и, наконец, сказал:

— А на гармошке теперь играет счетовод кооператива.

Протокол

...Секретарь исполкома силится вспомнить.

— Эй, бабушка, как фамилия того, что бомбы бросал?

— Забыла, — отвечает бабушка.

— Помнишь, который хотел жениться на Цевелевой.

— Как-то не находит на память, фамилия ловкая такая, в роде как Иванов?

— Арестовали их, а тот сохранил в рукаве бомбу. Бросил, четырех бандитов убил, а сам бежать, за ним еще двое. Заперлись в исполкоме, не могут их взять, зажгли дом, сгорели, даже костей потом не нашли.

Бабушка вздыхает.

— Банда была сильно варнаковатая (разбойная).

Разговор происходит в исполкоме, бабушка одна из посетительниц, а секретарь роется в папках с архивом. Он что-то находит и вскрикивает:

— Вот никак не мог вспомнить: Атаманов фамилия ему.

Бабушка:

— Берно, верно. Красивый, ловкий такой, приезжий.

Секретарь раскрывает черную книгу, и мы читаем протокол № 2 от 12 октября 1921 года.

Повестка дня—выборы исполкома.

(Первог исполкома в Северо-Байкальском районе).

Присутствовало: мужчин 100, женщин 7.

«Прошли по большинству голосов» (так в протоколе) Атаманов — 9. Кононенко — 10. Хамоганов — 9.

Значит за трех кандидатов голосовало десять человек и все-таки исполком был избран «большинством», при 97 воздержавшихся.

Приходит председатель т. Назаров, читает, за ним счетовод кооператива, и все мы удивляемся смелости тех людей, пришедших с фронта устанавливать на севере Байкала советскую власть.

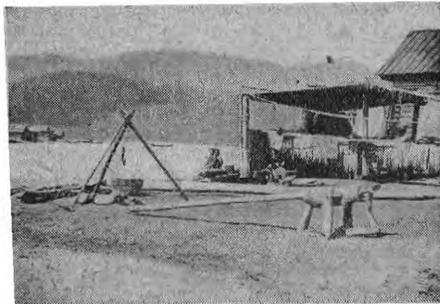
Чей то голос:

— Атаманов погиб, как герой.

...Брожу по кладбищу, среди размытых крестов нахожу высокий вось-

мигранный столб с пятиконечной звездой наверху. Столб стоит на квадратной братской могиле, с середины его свешивается грязное, когда-то красное знамя. Загородка кругом могилы сломана, и на глинистом холме видны следы скота и людей.

Могилы заброшенная, и имена зарытых в ней забыты, а ведь из них многие умерли геройской смертью. Но что ж поделаешь, человеческая память коротка, на смену погибшим приходят другие. Все же странно, что исполком, служащие интегрального кооператива, да и большинство работников района, продолжающих дело тех, что лежат в



истоптанной могиле, забыли и не чтут их памяти

Никто в исполкоме не мог вспомнить не только имен, но даже не могли назвать количества убитых, а ведь это было всего восемь лет тому назад.

Оставив исполком, я пошел к вдове рыбацке Вере. Руки ее грубы, как мужские рыбацкие руки, она работает в артели наравне с мужчинами. Вера кормит двух девочек и старика отца. За эти восемь лет, борясь за кусок хлеба, она закалилась, глаза ее не знают слез; и тонкие губы крепко сжаты, хотя голосок все-таки бабий.

— У мужчин сердце крепкое, баба больше горя хватает, особенно вдова. Вся щепа лишняя на нее летит.

Вера подает на стол соленого омуля, хлеб, чай. Дверь в ее доме покосилась вместе с притолокой, окна побиты, вид, но сразу—живет здесь вдова.

Старик рассказывает:

— Открыли дверь не спросясь. Ввалили с винтовками. Спрашивают: «Шипин здесь живет?»—а он сидит на твоем месте. «Здесь»—отвечает. «Коммунист?»—«Коммунист»—говорит. «Ну, идем с нами».

И увели.

Смерть Петра Шипина была самой тяжелой. Недалеко от этого маленького домика ему вывернули руки и ноги. Его долго мучили, и стоны слышали старик и Вера.

— Мне некогда стало после того по улице спокойно пройти. Зимой промышляю, летом тоже, света белого не

вижу. Дров надо, сена надо, обушки надо, себе и ребятишкам, а ведь под лежачий камень вода не течет... ему что, помучили да убили, а мне вот весь век мучаться.

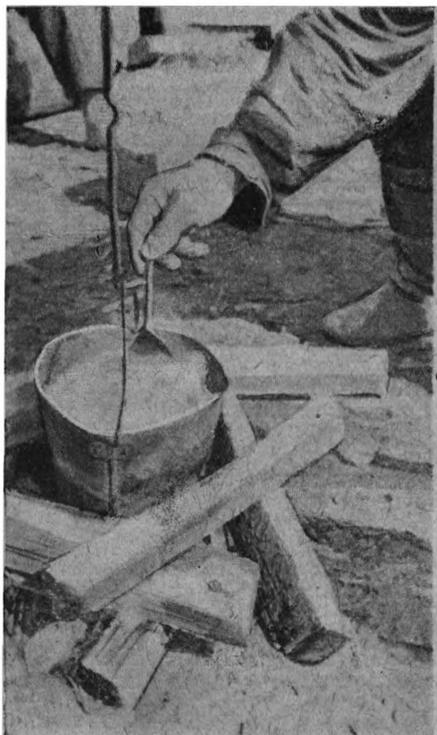
Рыбаки

Люди живут здесь по рыбному расписанию, к определенным берегам в определенное время приходят руна рыб, и путь их подобен эллиптическим движениям комет.

Так близки горы и ослепительны их снеговые вершины, но идти туда надо три-четыре или больше дней. Бело-снежные снеговые вершины, я уверен, полны каких-то первобытных тунгусских тайн, но для рыбаков они как бы не существуют. Рыбаков кормит Байкал.

Нашла туча, все стало серым,—скрылись снега.

Мы вытащили мореходку на берег и



пошли пить чай в дом старшего рыбака артели башлыка.

— Жизнь наша чаечная.

Критичли у воды чайки.

— Как чайки, рыбой живете?

— Чаёк любим пить и дома и в пути, костер разведешь, да и сварить, так вот и живем на чаю да на омуле.

Движенья рыбаков медлительны и

степенны, словно рассчитаны на то, чтобы на всю человеческую жизнь хватило, например, вот этих сапогов или по крайней мере на много лет.

Пятнадцатилетний Егорша именно так ступает своими молодыми и резвыми ногами, очевидно, в угоду башлыку.

Он присел ко мне, взял в руки кусочек соленого омуля, разжевывая его и тяжело посмотрев на меня, сказал:

— Сколько! будет стоять?

Я его не понял.

— Сколько будет стоять карточка?

Он помолчал, потом ответил:

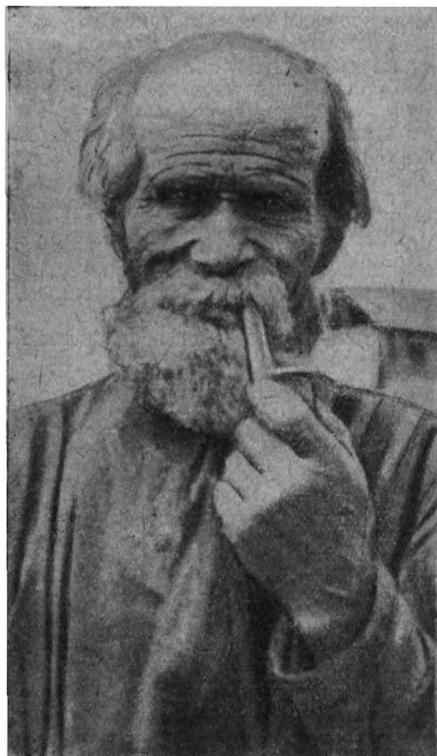
— Во весь рост.

И добавил:

— Хорошо, пока молодой.

Егорша все продумал, как старый мужик. Его мечта быть башлыком; слово которого веско и неоспоримо. Он не думает о голубых горах и проживет жизнь, не побывав там.

Не спеша прожевывают мои прияте-



ли омуля и зашнуровывают его чаем без сахара. Я среди них несколько дней, но все уже привыкли и, право ж, ничего здесь нет удивительного, что московский человек ловит с ними рыбу, записывает песни и фотографирует.

...Иван Васильевич Лихалов, старик 87 лет, сидит на завалинке в рыбацкой деревне Тые и жалуется.

— То ли родимец тряхнул меня, то ли ревматиз. Половина головы ладна, половина словно не моя, язык помешался.

На руках он держит внука.

— Ой, много у меня их было: годовичков, маленьких, больших хоронил, теперь не пересчитаешь.

Затем он говорит о своей старухе, что жил он с ней 55 лет, теперь она уж 14 лет как умерла, и он «до сих пор не женат». Как-то незаметно от болезней и семейных дел переходит к вопросам творения мира.

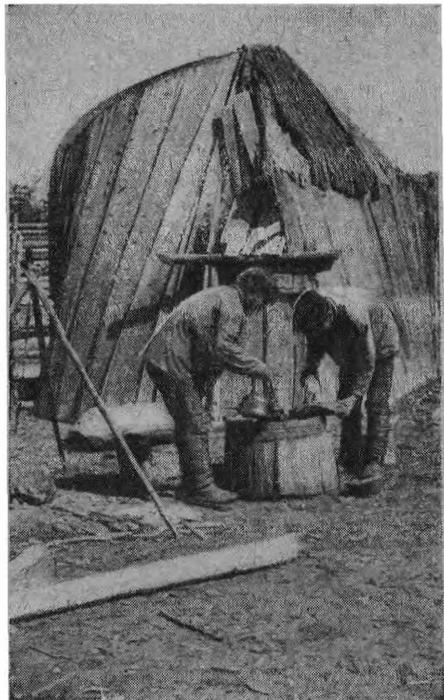
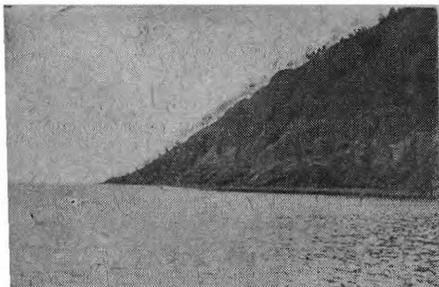
— Мамонт хвастался: сорок дней буду плавать, на двадцатый день птицы его задавили, — такая тьма налетела. Ной звал его к себе в ковчег—не пошел, так и утонул... Такое мамонтово место мы находили. Шли по озеру, в море вышли, остановились чай варить. Семен Иванович Попов пошел по воду, да на кость и наткнулся. Как бревно, восемь сажень длиною. Кричит: ребята, колудайте—кость и кость.

Ребенок на руках старика задремал, а он без всякой связи с творением вселенной и мамонтом вдруг стал рассказывать о разбойнике Капустине.

— Двум верам веровал: настоящей и остяцкой, с магией был знаком. Сначала разбойничал в Забайкалье, потом перешел на Иркутский тракт. Раз бабу беременную ноймал, увел в лес, зако-

Я шел по берегу, песок засыпался в штiblеты, я думал о том, что непременно надо побывать в гольцах у снеговых вершин, там есть какая-то тайна, которую надо разгадать. Иногда я задаю себе холодный, разумный вопрос: какие нищешь ты тайны? и не отвечаю. Надо увидеть горы, и тогда встанет, я думаю, перед всяким загадка хотя бы образования этих скалистых вершин.

В таких размышлениях я подошел к странному жилищу. Оно было сделано из распиленной мореходки; около него, расставив на боченке посуду, пили чай отец и сын Больишиановы.



дол, ребенка вырезал, надругался, за это ему был и конец.

Старик задремал с ребенком на руках, и я его оставил.

Вышла молодка, у ней было задумчивое и немного грустное лицо. Наконец, не все же я спросил, о чем она грустит.

Она захохотала и не ответила на вопрос.

— Эй, дед, заснул, мальчонку уронишь.

О чем могла грустить молодка, имеющая мужем всеми уважаемого башлыка, не видевшая других, южных берегов, не знающая другой жизни. Может быть, об этом и грустила она.

...Это, конечно, странно и немного смешно: у меня определенная обида и досада на то, что эти люди не замечают таких прекрасных гор.

На костре варилась уха. Больишианов задумчивыми глазами смотрел на противоположный голубой берег. Разговор о горах завел я, и оказалось, оп там бывал.

— Там высоко-высоко, целый день надо подниматься, есть озера и в них много хариусов. Скажите, — задал он мне вопрос,—как могла забраться туда рыба из Байкала?

Он отказался поверить моему предположению, что когда-то уровень Байкала доходил до этих вершин. Сам он думает, что икру рыбы запесели в горное озеро птицы.

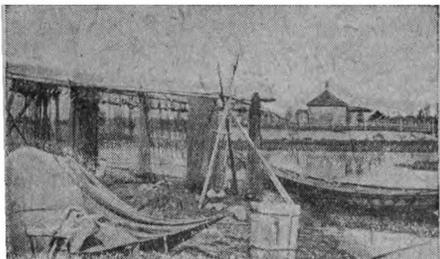
Лет тридцать тому назад сюда приехал отец Больишианова и выстроил в тайге, на берегу Байкала, дом, похожий на корабль. Больишиановы жили не только рыбной ловлей, но в значительной степени и охотой. В этом им

помогли тунгусы, прекрасные охотники, знающие все места.

С годами с южных берегов приехали еще рыбаки и поселились около Большишапова. Так выросла деревня Тья.

Умер дед, умерла жена Большишапова, и остался он один с мальчиком. Корабль, дом его отца, развалился, и он поселился в старой мореходке.

Большишапов настоящий пролетарий,



презираемый деревней за то, что не имеет «справного» хозяйства. Тья—деревня крепких рыбаков, не пошедших в коллектив и прозванных за это дикарями.

Крест и звезда

Сроду первый раз случилось такое... Слыхали раньше, убийства где-то есть, а у нас никогда не было.

В деревню Тью военные приехали совершенно неожиданно и назначили партийное собрание. Собралась вся ячейка, не было только Конева, его ждали, но пришел сын, очевидно, сказать, что отца нет дома.

Сидевший за столом военный спросил:

— Партийный?

Парень замялся. За него вступился коммунист Хамчук.

— Отец его партиец.

— А ты сочувствующий?

— Сочувствую вам,—ответил парень.

— Ну, тогда оставайся.

Военный встал.

— Присутствует вся ячейка селения Тья, кроме товарища Конева?.. Собрание считаю открытым. Председателя выбирать не требуется... Вы, сукины дети, коммунисты, все арестованы.

Собрание коммунистической ячейки открыл прапорщик, начальник передовой банды полковника Дуганова, 26 ноября 1921 года. На следующий день они ушли по направлению к Нижне-Ангарскому, не взяв с собой пленных.

— Где ж их расстреляли,—спросил я рыбака.

— Их не стреляли... обухом били... Да и посейчас там стоит крест.

— Как крест?

— Раньше был крестом,—поправился рыбак,—теперь в роде как с звездой.

В один из майских праздников из северо-байкальского райисполкома приехала комиссия, обрела крестовины и

прибила наверх пятиконечную красную звезду.

— А кто ж поставил крест на могиле коммунистов?

— Конев.

Потрясенный смертью сына, товарищ Конев вышел из партии и поставил на могиле крест. Я видел эту могилу, сделал фотографию креста и списал вырезанную ножом на дереве надпись:

«От роду 22 лет рожден в 1897 году февраля 3 дня убит злодеями бандистами в 1921 году ноября 27 дня. Но клевете беспричинно сказали, что был он тайный коммунист, а он в комуцу не вписывался. Сутки был арестован на 2 привели сюда, заставили раздеваться, приказали прощаться. Поднявши голову кверху возгласил: прощай, белый свет, родимая мать, отец. Злодей нанес обухом два раза, а другой в заде стоял и стрелил в за-



тылок. Погиб раб божий невинно: Боже душа моя в руцах твоих...»

Верхняя Ангара

Подняться на лодке против течения трудно и дорого, хотя во все времена это был единственный способ передвижения вплоть до прошлого года, когда здесь начал ходить моторный катер кооператива. В ожидании катера я про-

жил в нижнеангарских селениях около недели.

Буксирный канат от кормы катера, похожего на ядро, идет к неводнику, поднимающему около 80 тонн груза. На нем же поверх мешков расположились и мы, пассажиры,—восемь девушек, возвращающихся с рыбных промыслов домой, и я.

Только тронулись вверх, девушки пропели мне песню.

«Две деревни, два села, восемь девок, один я...»



Наш кормщик Михаил, прозванный за какие-то любовные дела Коровым, перебил девушек криком с кормы:

— А меня не считаете?

Неводник с трудом подчиняется кормовому веслу, Михаил наваливается на него всем телом, тяжело сопит и грызет клочок своей рыжей бороды.

Девушки изредка спускаются к борту, мочат платки и повязывают ими головы, спасаясь от палящих лучей, и, несмотря на жару, неумоимо поют свои бесчисленные частушки.

На моторе на каюте
Золотые буквы.
К нам приехали сваты,
Я играла в куклы.

Поют в Забайкалье многие наши песни на другие мотивы, более спокойные и протяжные, соответствующие здешнему быту. Даже частушки здесь поют по-другому, чем у нас.

...Натянут канат, трещит мотор, у борта вода покрыта радужным слоем нефти. Мы настолько медленно двигаемся вперед, что наше победоносное все-таки движение кажется жалким.

В конце первого дня мы приехали к горному узлу, ставшему для меня некоторой разгадкой образования Байкала.

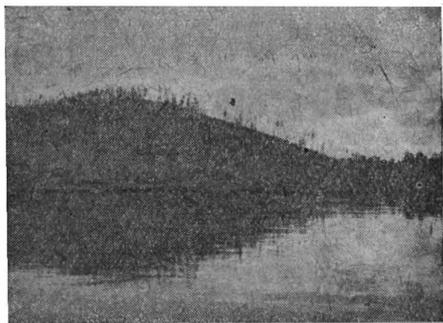
Здесь стоят три горы: Кирекей, Акули и Кирен. Акули—значит гора водопада, Кирен—лысья, а Кирекей—вонючая.

Подножья гор покрыты тайгой, чем ближе к вершине—тем реже лес, и не даром гора названа Киреном—там не растет лес, вершина ее лысая.

Гора Кирекей не так высока, вся покрыта лесом, но все же на хребте ее лес редок и похож на щетину рассерженного зверя. Вонючей эта гора прозвана за то, что когда-то здесь нашли разложившийся труп. Тунгусы подошли к нему, зажали носы и сказали:

— Киреке (что значит по-тунгусски—воняет).

Если нет ветра, то можно слышать с реки далекий рев водопада, по которому прозвана снежная гора Акули. Она очень похожа на вулкан, с ее конической вершины по расселинам спускаются белые хвосты. Хвосты эти—громоздкие снеговые поля, но отсюда



они кажутся узенькими полосками, будто ползут по ущельям горностаи. Акули русские охотники называют Соболюм Дедушкой за то, что водилось на ней очень много соболей.

Очень простые, но неприступные и каменные, стоят эти горы. Они похожи на пальцы гигантского кулака, сжавшего Ангару. Но ведь никакой кулак, хотя бы и каменный, не удержит воды, и она просочится сквозь пальцы. Так и Ангара прорвалась через каменные преграды.

Стремительный бег реки никогда не утихаёт, словно хранит память о тех временах, когда подземные силы представляли ему преграды; молчаливо стоят невозмутимые свидетели и участники геологических катастроф, покрытые снегами.

Я не геолог и не претендую на построение гипотез, имеющих какое-либо научное значение, но все ж я скажу: кажется мне, что в этом горном узле хранится разгадка образования Байкала. Когда увидишь эти три горы, то невольно рождается представление, что весь Байкал есть собственно как бы разлив реки Ангары и здесь его восточный и западный берега—два хребта—тесно сходятся. Словно здесь была первая схватка воды и камня. вода прорвалась, и горы упали двумя хребтами, образовав берега Байкала.

...У моториста свои соображения, и он совершенно не считается с Михаилом Коровым, с тем, что он выбился из сил и на крутых поворотах не справляется с неводником, который задевает берега. Уже ночь, в темноте можем налететь на корягу и потопить неводник.

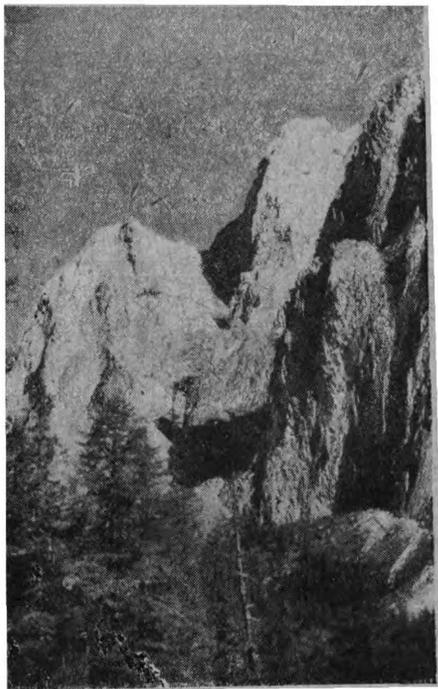
Плывут черные почные берега реки, покрытые тайгой, и хотя трещит мотор и эхо отдается в горах, все-таки мне кажется, тайга попрежнему остается таинственной и тихой, полной дикого зверья. Им такой редкий в этих местах треск мотора так же заметен, как метеор нам. Прочертит метеор по небу огненную черту, рассыпется и сгорит. Словно подтверждая мои мысли, мотор начинает делать перебой, и моторист принужден, наконец, остановиться.



Тогда особенным контрастом пошелось в тайгу пение девушек:

Ой-ей-ей како висока
Крута каменна гожа.
Ой-ей-ей како далеко
Мой миленок от меня.

...Мне не спалось под звездами, я думал о гигантском каменном кулаке, я слушал озлобленный бег реки, и он—странно—казался топотом безумной



конницы. Безумные кони, озверелые люди?—я вспомнил о конном отряде полковника Дуганова. Сжигаемые морозом, они бежали здесь, и коченеющие их трупы оставались в снегах.

Это был 1921 год, когда над головами белых сжались железные пальцы и они бежали, бежали замерзшими реками, застывшей тайгой.

...Весь следующий день никак не могли уехать от Кирепа—лысой горы. Уж кое-кто стал называть ее проклятой, но кормщик предупредил, что ругаться не стоит, так как гора эта сердитая, и когда вернулись по зигзагам реки к подножью горы, в пятый раз он вынул из кнзета табак и, бросив щепотку его в воду, сказал:

— Кирен, батюшка, пропусти.

Но все ж мы скоро сели на мель и провозились несколько часов, стадинаясь.

Поднялся ветер. Снежный Акули закрылся облаками.

Старик нажимает на кормовое весло и посматривает на Кирепа.

над вершиной горы плывёт золотое облако.

...За этим горным узлом, где так круты сжатые камнем изгибы реки, начнется новая долина, похожая по своему рельефу на Байкал, только не водой, а лесом покрыта она, и среди тайги пробиваются многочисленные ручейки, речки, протоки и реки, берущие начало у снеговых вершин.

После диких берегов ржаные поля верхнеангарских селений кажутся громадным культурным завоеванием человека, и для меня было новым сообщением, что эта долина славится своими урожаями.

В этой долине живут светловолосые и голубоглазые потомки казаков — завоеватели Сибири. Безмятежно и спокойно жили они многие годы, счетчиком жизни служили поздние седины людей.

Мотор остановился у низменного берега, какие-то пареньки схватили мои вещи и поволокли их в определенное обычное место.

— Здесь все и инженеры останавливаются, — так заявил один из посыльщиков, подтверждая мою догадку.

По дороге узнаю, что инженеры бывали здесь очень редко. Инженер — это человек из центра.

На дворе меня встречает молодка и проводит в темную пристройку, где можно положить вещи.

Послышалось кряхтение, затем кто-то долго поворачивался и, наконец, из темноты показалась седая голова.

— Издалека приехал?.. Из Москвы? Как же тебя звать?

Повторяет:

— Михайлович?.. К нам залетел, вот ведь как... Стало быть, и отец есть?

— Стало быть.

— Ну-у! — произносит он удивленно, словно у меня не должно быть отца.

— Мать есть?

— Есть.

— Да-а!

Он думает, как может думать человек с почтенной седой головой.

— И брат есть?

— Есть.

— Ну-у-у!

Затем у нас начинается разговор о кино, наконец, говорим о аэропланнх высотах.

— И на версту взберется?

— И на две.

— И на три?

— И на три.

Потом он задает вопросы о лошадях, много ли их в Москве, о комарах, и уж поздно вечером, когда я заснул, старик разбудил вопросом:

— Парень, а ты в веселых домах бывал?

И он рассказал свое единственное путешествие в Иркутск. Было это пятьдесят лет тому назад и в памяти его

самым ярким осталось воспоминание о «веселом доме».

Рассказ про смерть отца

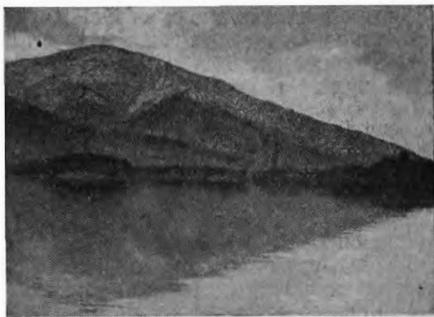
Банда Дуганова прошла и через эти селения. Здесь захватили пять коммунистов и повели в поле.

Рассказывает мне это комсомолец Миша. Он по-военному резко отчеканивает каждое слово и крепко сжимает челюсти.

— Про папаньку говорю, герой он был... повели их пять человек, я мальчишкой был, побежал за ними. Вывели в поле, вытащили из изгороди жердину и говорят: «Ну, коммунисты, переходите к нам».

Все нятеро стояли около изгороди, связанные одной веревкой.

Ударил жердиной. Заплакали четверо, и вместе с кровью, хлынувшей из



глоток, вырвалось согласие у одного, другого, третьего... только отец Миши Малыгина молчал.

Четверо плакали и просили пощады, а пятый, привязанный к ним веревкой, сказал:

— Отрубите веревку, отведите меня в сторону.

— Так и сказал?

— Хорошо помню, именно так.

— Ах, собака! — воскликнул один из банды.

— Нос ему надо отрубить, а не веревку.

— Руби, только поскорей кончай.

Около лица Малыгина блеснула шашка и разрубила веревку.

Плачущих четверых прикончили без выстрела, так же, как и в Тые, обухом топора, а пятого, отошедшего в сторону, раздели и погнали голого по снегу.

Отец шел голый, связанный, а сынишка бежал за ним следом.

Три веревы так гнали его и, наконец, обессиленный он упал.

— Переходи к нам, оденем, оружие дадим.

Такой пыткой хотели сломить его волю.

— Все пули вам скоромно.

Миша Малыгин видел смерть своего отца, я понял, где он научился так сжимать челюсти и говорить резким голосом. Он получил незабываемый урок героизма и толчок к борьбе.

Над отцом замахнулись топором. «Сейчас убьют» — подумал сын, но топор лишь слегка коснулся шеи, — брызнула кровь.

Малыгин прижал рану головой, кто-то крикнул: «Бойсься!» Тогда комиссар выпрямил голову, и кровь брызнула фонтаном, и снег кругом раненого обарился.

— Убить не можете, — сказал паланька, — я сволочей, как вы, может быть, сотни отправил на тот свет, а пули никогда не жалел.

Бандиты смеялись, и только один лет 16 подскочил и, крикнув «на!», выстрелил ему в рот.

Офицер выхватил шашку.

— Как смел тратить пулю на такую собаку.

Тогда парнишка взвел курок. Офицер вскочил на коня и ускакал в деревню.

— Чуть разложения между ними не произошло, — сказал комсомолец Миша.

Так умер Малыгин, получивший пулю как подарок.

Причина моего путешествия для местных жителей, очевидно, непостижима. Они считают меня за какого-то «начальника».

Сегодня приходил ко мне Петр Шимарев, хозяева называют его дядя Петя. У него неприятное лицо с беспокойными, мутными глазами. Он говорит, что имел много приключений, был партизаном и может много рассказать интересного. Просил меня заходить к нему, вызываясь свести на хорошую утиную охоту. Предложения были все приятные, но в его заискивающем голосе пробились нотки большого беспокойства.

По его уходе Миша Малыгин предупредил:

— Вы с дядей Петей поаккуратней, — и больше ничего не сказал, я не обратил внимания на его слова.

Потом меня пригласили в один дом, заперли двери, и один из молодых людей прямо сказал:

— Вот говорят война...

— Войны еще нет, — перебил я его.

— Как только объявят мобилизацию, — продолжал он, — так у нас своя война пойдет.

Вслед за молодым человеком старуха и старик, да и все присутствовавшие в избе уверяли меня, что перед тем, как резать косы китайцам, они оторвут головы Комарицыным.

Многочисленный род Комарицыных населяет деревню Ченчу. Один из них просил сфотографировать его как тунгуса, но, к сожалению, я воспротивился его желанию и вот у меня нет теперь

фотографии. Но все же я помню, что в типе Комарицына не было тунгусских черт, и сейчас меня уверяют жители Каморы, что все Комарицыны таковы, у них только в «десятом колене» была тунгусская кровь.

Официально Комарицыны считаются тунгусами, живущими охотничьим промыслом, и благодаря этому получают ряд преимуществ перед русским населением. Им, как туземцам, отведены лучшие охотничьи угодья, они освобождены от налогов и воинской повинности.

На самом деле они занимаются главным образом земледелием, имеют много коров и лошадей, живут в русских домах и промышляют охотой только в самых лучших местах, снимают, так сказать, сливки охотничьей добычи района.

И все-таки самое главное в настоящий момент — это воинская повинность: действительно, мобилизация может вызвать в районе вооруженное столкновение.

Во время войны Комарицыны скрывались за тунгусскими плечами, а у нас только одни матери да старики дома были.

Много раз отправляли в Верхнеудинск делегатов, чтобы «тунгусов Комарицыных перевести в русских»; но все поездки оказались безуспешными, и все это объясняют тем, что в комитете севера сидит один из Комарицыных, по имени Федор.

Комарицыны не удовлетворялись годами, получаемыми от охоты, они занимались еще скупой пушнина. «Комарицына» на собольих шкурках выстроила дом. Она пользовалась наемным трудом, имея до 6—7 работников.

Считая меня за «большого начальника», жители деревни Каморы просили немедленно «перевести» этих потомков казаков, покоривших тунгусов, в русские.

— Случись война, мы первым делом пойдем на Комарицыных, если вы не переведете их в русских — мы сами с ними справимся.

Спал я в амбаре, выходящем глухой стеной на улицу. Там я услышал шорох и заглушенные стоны. Босиком вышел к воротам и увидел ползущего человека, силившегося открыть калитку.

Это был комсомолец Миша Малыгин.

— Что с тобой?

— Помоги пробраться в амбар, — простонал он.

Когда он устроился на постели и боль в пояснице немного утихла, то повернул свое худое лицо ко мне и сказал:

— Жизнь мне опротивела на все сто процентов.

— Что случилось?

— Сам не знаю чем, наверно, оглоблей хватил.

И на вопрос «кто» коротко:

— Дядя Петя.

Тут он застонал и схватился за поясницу, потом сквозь зубы выдавил:

— Мамке не говори.

...На утро Миша с трудом но все-таки поднялся. Рассказ его был короток: со «шмарой» (возлюбленной) он шел по переулку, и вдруг кто-то из темноты ударил его по спине, вероятно, оглоблей.

— Почему ж ты думаешь на дядю Петю?

— Я знаю. Кому ж еще?—ответил он вопросом.

Нападение дядюшки на племянника осталось для меня непонятным, и уж никак я не думал, что это связано с моим приездом в эти глухие места, но это было именно так.

Командир Круглов

Мне, московскому человеку, Миша безгранично доверяет все деревенские тайны. Через него я узнал то, чего не знают до сих пор соответственные следственные органы и чего не скажет ни один житель верхнеангарских селений, боясь суровой, бандитской руки дяди Пети.

— Пойдемте, посмотрим на их кости,—сказал мне Миша.

Мы сели в берестяную лодку и отправились, подгребаясь двухлопастными веслами.

— Неужели с тех пор они открыто лежали?

— Вот увидите.

Рассказ я его передам своими словами.

У той женщины было красное коротенькое платьице. Таких коротких не видели в этих краях, об этом много говорили. Волосы женщины были золотистые. Женщина эта приехала неизвестно откуда, но волосы у ней были такие же, как у верхнеангарцев. Она ехала с мужем своим, высоким, рыжеусым, сильнейшим человеком. На зеленом френче у него был приколот орден Красного Знамени. Военный был известный в Забайкальи командир Круглов, а женщина в красном его жена.

Командир вез беременную жену в нижнеангарскую больницу. Ему никто не дал лодки, тогда они поехали на плоту.

Около высокого берега, на одной из крутых извилин реки они развели костер и стали варить кашу, но есть ее им не пришлось, потому что вслед на легкой берестяной лодке выехали три дезертира, ненавидевших товарища Круглова за «коварную», жесткую дисциплину.

На одной из многочисленных излучин реки Миша сказал мне:

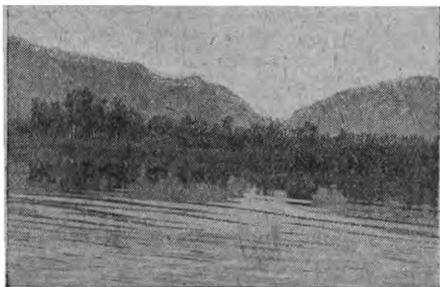
— Давайте пристанем к бережку, может, чего-нибудь найдем здесь.

Мы привязали лодку за корень, торчавший из песка, затем взобрались на обрыв, на краю которого лежит черный вывороченный пенёк. Шагах в десяти от пня Миша нашел незаросшее травой место, где когда-то горел костер.

Он показал рукой на начало излучины.

— Там они увидели костер, двое остались в лодке, а один пополз берегом. Стрелял вот из-за этого пня.

Командир Круглов наклонился к котелку, чтобы посмотреть, сварилась ли каша, и когда его голова оказалась на уровне груди женщины, дядя Петя (это был он) спустил курок. Он «сдово-



ил» людей, словно охотник сплывшихся уток. Командир Круглов не пелохнулся, а женщина вскрикнула.

Тогда приехали на лодках и стоявшие в стороне. Взяли командира, потом его жену и из-под юбки у той вывалился родившийся в момент выстрела ребенок. Таким образом одним выстрелом было уничтожено целое семейство.

На месте смерти Кругловых еще раньше всегда останавливались «чай варить» проезжающие с верховья реки к устью; вот именно на этом месте раз остановился и Миша и нашел около костра орден Красного Знамени. Он привез его в Верхне-Ангарское и по-мальчишески хвастался своей находкой. Один из ездивших с дядей Петей увидел этот знак, узнал его и сообщил убийце, тот пришел к племяннику и отобрал находку. В деревне ничего не утаишь, тем более, что на месте убийства было три человека. Скоро распространился слух, что командир Круглов не доехал до больницы и, наконец, комсомолец Миша догадался, какую он сделал находку. Тогда он взял своего товарища и поехал на это место, где мы сейчас с ним стоим, поискать еще каких-либо вещей,—по правде сказать, они надеялись отыскать маузер командира.

Мы пролезли через заросли кустарников и направились к видневшейся рябине, покрытой красными ягодами.

Увидев размытый водой обрыв, Миша сказал:

— Вот здесь.

Продравшись через кустарник волчьей ягоды, мы выбрались к рябине.

— Смотрите, смотрите! — вскрикнул комсомолец.

Костей мы там не нашли, кости были совсем недавно убраны, но, присмотревшись, я увидел, как здесь они лежали, по естественному узору травы. Это была довольно жуткая картина, я увидел на траве очертание человеческого скелета, словно сделал его садовник, в роде того, как у нас из цветов делают портреты вождей.

На обратном пути все разъяснилось, и не скажу, чтобы мне это было приятно. Здесь никто не верит, что я просто фотограф, особенно дядя Петя, он считает меня агентом ОГПУ, приехавшим

разузнать кое-что о смерти командира Круглова, так как известно, что командир где-то пропал безвестно, а личность эта была приметная.

Боясь, что Миша Малыгин проболтается, Петр Шишмарев сделал на него нападение ночью.

— Жлзнь здесь, я говорю, падоела мне на все сто процентов. Ведь промышляют меня здесь, как утку.

Но мне-то жизнь не падоела, и потому рано утром я отправился из этих опасных мест в дальнейшее путешествие к вершинам снеговых гор.

Я бродил у подножья гор, где так много бывает человеческих страшных смертей. Сегодня я улываю на лодочке по Верхней Ангаре к тунгусским стойбищам. Потом пойду к вершинам, где пасутся стада оленей, и там, за облаками, я думаю, должны жить другие люди.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОРТРЕТЫ

Ник. Ассанов

I. Человек с запада

«Темнокостюмен, как редут,
Сосредоточен, как скелет,
Идет. Ему коня ведут,
Но он берет мотоциклет».

I

— Хау ду ю ду, мистер де-Вульф!
— Дзэри ден!

Он сосредоточенно трясет руку. Пожатие тренированных мускулов угрожает жизни. Кстати, почему мы, замечая вытренированные тела иностранцев, почти не видим, что паши спортсмены — кружковцы, молодежь — обладают такими же мускулами.

Он чрезвычайно молод, хотя ему около пятидесяти. Идя по цеху и объясняя устройство завода, он танцует. Каждая его поза несет эти движения заядлого боксера-любителя и профессионала фокстротера.

Ровно в двенадцать дня он небрежным движением руки (Ало, Рой, алло, Джо!) прощается со своими переводчиком и корреспондентом, мистерами Брикнер и Попандаки, упруго сбегает по широкой лестнице серого бетонного здания и легкими шагами идет, скорее бежит, перерезая полотно железной дороги, к красному дому, где его ждет завтрак и мистрис де-Вульф, выписывающая печатными буквами па ключках бумаги:

«АГУРЕЦЬ... КАРТОФИЛ. МАСЬ».

Это для объяснения с домашней работницей. Кроме того, много помогает засовывание пальца в рот, чмоканье, глотательные движения и т. д.

А в час пунктуальный, как вселенная, мистер де-Вульф перебегает полотно обратно. Легкие шаги неслышны, он молчит.

Управление Сельмашстроа плывет в душном воздухе, подобно невиданному кораблю. Штиль. Флаг па верхушке дома висит подстреленным голубем.

Де-Вульф совещается. В его комнате сидят начальники цехов, и тов. Бриккер — переводчик — не успевает отгирать пот. Вентилятор жужжит как погибающая муха.

Должно быть, де-Вульф смеется про себя при каркающих звуках нашего языка. Начальники цехов тоже прислушиваются к лающим звукам чужой речи. Однако, услышав: «Plan, programm — плаи, программа», они одинаково улыбаются. В конце концов язык техники интернационален. Это блестяще доказал Негг Мюльк, немецкий инженер, немного позже.

— Мистер де-Вульф может дать интервью. Совещание уже окончилось, — почти торжественно говорит Бриккер.

Интервью — так интервью. Можете называть нашу беседу как вам угодно, но ручаюсь, что я выпытаю вашу «подготовку», как говорят в России.

Де-Вульф улыбается. Мы уже знакомы. Но тогда беседа не состоялась из-за неимения переводчика. Я сумел отметить только грустное лицо мистрис де-Вульф, бумажки ее «картофильные», обилие словарей и чистоту. Сегодня я паверстаю упущенное.

Из первого вопроса явственно вытекает, что интервью с американцем как раз противоположно разговору с нашими работниками. Видно, что мистер де-

Вульф привык. Ответ обрастает туманными ассоциациями, отсгуплениями. Микрофоном служит все тот же Бриггер. Зевающий корреспондент мистера де-Вульфа тов. Попандаки через минуту настраивает свой приемник на короткую волну, протекающую между столбами. Я тороплюсь записать.

— Я свободомыслящий, — громко произносит микрофон. — Я не принадлежу ни к какой партии. В церкви я не верю, моя церковь — природа.

— Передайте мистеру де-Вульфу, что между партией и церковью очень мало связи.

— Уэс, уэс. Девяносто восемь процентов деловых людей мыслят так же. Церковь должна быть отделена от государства.

— На земле в мире так много дела, что некогда думать о потустороннем. И если бы все думали именно так, работы бы в этом мире, то остальное было бы просто ненужно. Оно бы умерло.

— Передайте мистеру де-Вульфу, что меня интересует его биография...

II

Ночь не приприсит покоя. К тому же ночь абсолютно одинаковы. Пусть эта ночь падает на Ростов или Флориду.

Разница только в звездах. На родине они ясней и ярче. Матери обеих стран одинаково говорят детям: — Смотри, это ангелы зажгли свечи божепшке...

Да вот еще. Над Ростовом особенные молнии. Они падают кругами и полусариями. От них дочки еще душей.

Когда рядом спит мистрис де-Вульф, изученная, как геометрия, и когда тебе все-таки пятьдесят лет, а дневные налеты на завод утомляют, тогда начинаешь понимать, что заводы везде одинаковы и их надо только пустить в ход.

Скажем, штат Иллинойс. В переводе на язык всех штатов Соединенной Америки — это «фермерский рай». Однако, никому не интересно, что там жил мальчик Рой.

— Отец моего отца был убит, когда думал, что он освобождает негров...

— Ку-Клукс-Клан организована для борьбы с римским папой. Если бы папа сумел завоевать для католицизма негров, у нас был бы президент католик, и мы находились бы под протекторатом Ватикана...

— В Америке нет классов. Мы все равны. А если у него нет автомобиля — значит он не сумел заработать.

— Классовая борьба — мистификация.

— Докажите нам, что существующий порядок не верен, и мы изменим его. Необходимо одно. Чтобы все думали так же.

Большинство «бизнесменов»¹⁾ смотрят

на СССР с дружелюбным интересом. Это место для новой Америки...

— Только машина может переделать мир. И потому членство в «Корпорации Индустриальных Инженеров» — цель каждого истинного американца...

Бумага, на которой мы пишем свои дневники, везде одинакова. В России она немного хуже, но у русских так мало машин, что это не понятно. А писать дневник под старость необходимо. Снова переживаешь день, когда мальчик Рой де-Вульф писал на плохой бумаге плохие буквы.

Пусть штат Иллинойс — «рай фермеров», но в нем есть и шахты. На шахтах педовольные шахтеры. Отец устраивал забастовки, а Рюю падо было учиться. И он учился своим трудом. Затем он выучился...

«В Америке нет классов». Молодой инженер Рой де-Вульф работает на заводе «Джон Дир». Отцу надоело быть недовольным, а может быть, денег уже хватало, но у отца есть своя ферма в «раю».

Инженер де-Вульф талантлив и честолюбив. «Только машина может переделать мир». И он член «Корпорации Индустриальных Инженеров». Отец не платит аренду, ферма уже принадлежит ему, и «докажите нам, что существующий порядок не верен»...

Дед Роя думал, что освобождает негров. Нет, человечество освободит хорошо организованная машина. На земном шаре есть еще место для одной Америки. Пусть она строится по другим принципам, но машины одни. Инженер все-таки стареет, жена изучена, как геометрия, а на востоке есть интересная земля.

К тому же «деловые люди» смотрят на СССР «с дружелюбным интересом». Именно там можно применить с наибольшим успехом для освобождения человечества все свои знания, свою любовь к хрупким организациям машин...

III

В конце концов ночи везде одинаковы. Только в Ростове они душей, и молнии похожи на изломанные в мольбе руки.

В последнюю ночь мисс В. спрашивала:

— Неужели вы не боитесь ехать в Россию?..

Мистер Д. то же самое спрашивал у его жены...

— Но ведь машины везде одинаковы!

Ночь у Курильских островов пахла эфиром. Танцевали чарльстон. У мисс (.) обжигавший попот:

— Неужели вы не боитесь ехать к большевикам? Какой вы большой и храбрый!

Мистер Э. говорил то же самое жене.

— Но большевики строят новые заводы. Они организуют труд. Я должен помочь им. Чего же бояться?..

1) Бизнесмен — деловой человек.

В Лувре прекрасные картины. Особенно запомнилась «Труд»... Согбенный человек среди поля опирается на заступ. Один американец написал изумительную поэму. Он помнит ее и иногда читает.

Согбенный веками и вздымающий их...
На своих плечах ты держишь землю.

В Москве столь же прекрасна опера «Борис Годунов». А всю жизнь можно разделить между Шекспиром и Виктором Гюго... Есть еще прекрасный реаллист, чьи сочинения он чтит наравне с Виктором Гюго. Его имя:

Карл Маркс.

IV

Инженер де-Вульф осматривает цехи. Он осматривает заводской город. Ему говорили, что Сельмашстрой — большой завод, однако, это действительно гигант. И инженер рад, что его сила, знания будут приложены к прекрасному заводу.

Но он не восхищается. Нет, он упорно ищет недостатки. Восхищаться может турист, а на памяти мистера де-Вульфа было уже много заводов и так мало без недостатков. Не даром владельцы отдавали их «Корпорации Индустриальных Инженеров». «Корпорация» умеет устранить все недочеты, и завод начинает давать прибыль...

И мистер де-Вульф нашел основной недостаток гиганта. По существу, это недостаток страны.

— Сделано удивительное начало. Огромное. Ваше движение вперед — это движение новой силы. Машины, построенные на Сельмашстрое, двинут прогресс страны с еще большей силой. Но вам нужны учителя. Вам нужны люди, которые сами могли бы не только работать на этих машинах, производящих машины, но и учить других...

— Меня интересует, как относится мистер де-Вульф к бригадам и социалистическому соревнованию?..

— Мы, американцы, такие же люди, как и вы. Если бы вы были ближе к нам, то не так восхищались нами...

— Мы восхищаемся не американцами, а их развитой техникой. Мы хотим на основе их опыта выковать новый технический мир, диаметрально противоположный по целям и качеству американскому...

— Нам надо соединиться вместе. Ибо у вас нет американского духа. Вот пример. Ваш рабочий подожил доску для своей тачки. Когда рядом работающий повез свою тачку по его доске, первый не дал. Он говорил: это эксплуатация, положи себе такую же...

У нас он был бы рад тому, что его маленькая сметка может принести пользу общему делу...

— Я согласен, что это плохо, но ведь это единично?..

— Сегодня я заметил, что группа рабочих человек в двадцать сидит и курит. Я спросил у них, что это за пикник? Они отвечали: мы отдыхаем. И это в рабочее время полчаса сиденья и ничего неделания...

— Опыт ваших бригад хорош. Но нужно, чтобы их не было. Нужно, чтобы была одна бригада, в которой работали бы вы, я, он и эти ленивые рабочие... Только так можно строить.

— Я говорю, что вам нужны квалифицированные рабочие. Вы пригласили, чтобы за свои деньги получить мой опыт. Но почему мой проект об организации завода-училища лежит в ОТЭ?

— Я не знаю системы вашего управления, но я не сдаюсь. Я могу пойти к Сталину и сказать: вот моя система. Она спасла Америку во время войны, она дает Форду славу «короля рационализации», разве она не может спасти вашу страну от беспокойства за кадры? Вышлите меня или скажите, что я не прав, тогда я буду работать по вашей системе... Могу ли я пойти к Сталину?

— Конечно, да. Ваша система действительно заслуживает внимания. Более того — она единственная.

Мистер де-Вульф улыбается. Бритые щеки покрываются морщинами. Он трясет мою руку. Конечно, он дойдет до Сталина, раз он прав и это поможет делу.

— «Только машина может переделать мир». У вас нет рабочих. Дайте каждому квалифицированному рабочему пять учеников, и через месяц Сельмашстрой сможет не только обеспечить себя, но и перебросить на другие гиганты вашей пятилетней программы тысячи квалифицированных организаторов машины. А ОТЭ говорит, что обслуживающий персонал должен быть не более 11 проц. к общему количеству рабочих. Разве не смешно? Портится оборудование, стоящее 70.000.000 долларов, а они говорят: «накладные расходы». Вам надо поучиться не бояться ответственности. Только тогда ваш завод оправдает себя. Одиннадцать процентов!

— А где вы возьмете квалификацию? Через три года у вас не останется ни одной сложной машины. Это значит десять миллионов долларов в год, а вы говорите «накладные расходы»...

V

Цехи говорят грубыми голосами. Они ведут перекличку.

Цехи слушают друг друга. Они подгоняют себя.

— Мы играем в футбол, — устало хрипит микрофон. — нам важно выиграть. Предположим, что мы в одном экипаже. Мы сооримся между собой...

Микрофон задыхается от жары, а мистер де-Вульф подтанцовывает в такт

своему голосу и ритму завода. Он не устает. Ночи везде одинаковы. Хорошо, что имеется слушатель, который слушает добросовестно. Все, что говорится, нужно как жена. Отдыхать можно ночью...

— Мы поссорились, но мы не будем драться или диспутировать на поле. Нет! Нам важно, чтобы наш экипаж победил.

— Зачем же вы заседаете и ссоритесь? Ну, хорошо, пятилетний план будет выполнен! Ну, хорошо, пятилетний план не будет выполнен! Зачем дебатировать этот вопрос? Давайте сначала попробуем!

— Я с вами согласен, мистер де-Вульф. И мы пробуем, не только пробуем, но и делаем всерьез. Но нам надо учитывать опыт и мнение каждого строителя. Это своеобразное социалистическое соревнование на подыскание лучшего метода...

— А, социалистическое соревнование! — кажется, что цветы на шелковой рубашке мистера вянут. — Вам нужно не социалистическое соревнование, а американский «бонус». Вы знаете, что такое «бонус»? Нет?

— Мы истратили миллионы долларов на пропаганду. И мы добились, что рабочий не только любит станок, но и считает его своим. Он не позволит всем работать на нем. Ибо он хозяин этого станка.

— Да, но он не хозяин производства? И лучшая часть из них думает именно об этом. Ваши забастовки...

— Этого мало. Мы доказали ему, что наилучшая производительность труда именно в его интересах. Так родился «бонус».

Мистер де-Вульф стоит на корточках. На песке в пустом цехе он пишет формулу «бонуса», которая заменяет социальное соревнование...

Похожий на цаплю хронометрист стоит у болторезного станка. Он следит за движением Мак-Кейля. Мак-Кейль — лучший рабочий, обученный в специальной школе, чтобы служить примером. Хронометрист спокоен. Он знает, что Мак-Кейль не сдаст. Мак-Кейль работает только один час, чтоб дать рекорд. За час он получит заработок, а потом, когда рабочие разойдутся, он пройдет черным ходом в кабинет директора и получит дружественное похлопывание по плечу и запечатанный пакет. Пакет будет хрустеть и издавать приятный запах долларов, данных в награду.

Мак-Кейль старается. Он работает один час. Станок предназначен для другого. Какое ему дело до других...

Мастер стоит около рабочего. Рабочие свободных смен стоят около станка. Станок приходит в движение.

Передачики движут вагонетку с болтами, как молнию. Болты летят в ста-

нок подобно граду. Мак-Кейль похож на бурю.

— Пить, — хрипит Мак-Кейль, и стакан плывет в воздухе. Мастер мохнатым полотенцем стирает пот, заливающий глаза. Вагонетка с болтами летит, как молния.

Мак-Кейль — это призер на состязании. И стакан воды со льдом плывет в воздухе одну секунду. И болты скользят, как пули... В час рекордная цифра — тысяча штук.

— Мистер де-Вульф, вы называете это идеальным условием работы, а мы провокацией! Разница небольшая, не правда ли?

Целая комиссия калькулирует рекордную цифру и говорит:

— Каждый рабочий должен отныне давать не менее 600 штук.

А на следующий день все рабочие, которые не могут дать 600 штук, ибо у них нет вентиляторов, полотенец, тренеров и других условий идеальной работы, — такие рабочие увольняются. Отныне есть новая норма.

За шестьсот болтов в час Гирш Словацкий получает 60 копеек. Если он сделает больше, он получает «бонус».

И Гирш Словацкий получает до 800 штук. Он получает 75 копеек, но если Гирш Словацкий сделает больше, то мастер, инженер, подручные, вплоть для уборщиц получают «бонус». И Гиршу Словацкому созданы идеальные условия работы.

Пить! — хрипит машина, именуемая Гиршем Словацким, и стакан воды плывет через головы. Уборщица вытирает его пот, мастер меняет полотенце. Вагонетка летит, как молния.

Чем больше у мастера рабочих, получающих «бонус», тем больший «бонус» имеет мастер. И чем больше мастеров имеют «бонус», тем больший «бонус» имеет инженер. И так до директора.

Кому какое дело, что Гирш Словацкий начал кашлять кровью через месяц после первого «бонуса»? На его станке работает другой, а «бонус» не изменился. Подручные так же гонят вагонетки, мастер так же хвалит работу, а если рабочий проработает столько же, сколько Гирш, то есть уже другой...

— Мистер де-Вульф, вы говорите, что «бонус» лучше социалистического соревнования и ведет к одной цели — повышению производительности труда. Мы думаем немного иначе. По-нашему вся система «бонуса» — гениальная провокация, основанная на эксплуатации и заботе об эксплуатируемом до тех пор, пока он может работать. А потом...

Вы же сами сравнили эту систему с ульем. По-вашему рабочие заботятся о рабочем, как пчелы о матке... Но пчелы выгоняют матку, когда она бесплодна!

Изучите социальное соревнование, мистер де-Вульф, и вы поймете, чем мы сильнее и «бонуса» и Америки...

VI

Внезапно де-Вульф бросается вперед. Кусок фразы проглочен им, как груша. Он отталкивает рабочего, и засученные рукава его рубашки кружатся около станка. Рабочий внимательно следит за их движениями, затем решительно берется за рычаг и, пока мистер де-Вульф смотрит на часы, он повторяет движения. Инженер одобрительно кричит что-то, и мы уходим. Резкий погост де-Вульфа отчеркивает одну секунду.

— Он отстал на одну секунду...

Лица бессемеровских печей похожи на гангренозные. Температура внутри 1.800°. Мистер де-Вульф недоверчиво смотрит на мое изумление. Он привлек к звуку, одинаковому на всех языках:

— Ах!

— Где вы видели что-нибудь подобное?

— Я работал на домашних печах одного из крупнейших заводов Урала. Кроме того, я имею специальность по горячей прокатке и железа и сталя. Я резчик.

— ?!

— Когда вы говорили о равенстве, вы забыли, что у вас оно «надклассовое». Иными словами -- его нет! Наше равенство классовое, и мы знаем друг друга по производству...

— Но вы писатель?

— Я им стал.

— А Сталин, Рыков и другие?

— Они тоже знают, что такое работа. Они работают.

На нас валетает циклоп. Из циклона слышно...

— Ширехен зи дойтш?

Мы не говорим по-немецки. И Herr Мюльк тащит двух рабочих. Он ведет одного за плечо, другого за руку. Третий идет сам.

Как объяснить ему, что смена их кончилась и что через пятнадцать минут придет четвертый рабочий, и что эти имеют право уйти?

Мистер де-Вульф качает головой, прыгает, чмокает, и, наконец, освобожденные рабочие уходят.

— Четырьюртыи?

Дальше они обойдутся вообще без переводчика. И на международном языке техники мистер де-Вульф слушает доклад Herr Мюлька. Оба довольны.

Прощаясь, они вспоминают. Мистер де-Вульф поднимает обе руки с растопыренными пальцами. Затем вытягивает руку, закрывает глаза и кричит:

— Пиф! Паф!

Herr Мюльк понимает. Он падает и тоже вытягивает руку. Затем мы прощаемся.

— Двенадцать лет тому назад мы все стремились как можно больше разрушить. Теперь мы сошлись сюда и стре-

мились во всем мире построить как можно больше...

Мы прощаемся, сердечно пожимая руки. Он уходит в свой кабинет, высокий и стройный, именно такой, со всеми достоинствами и недостатками. Уходит строить.

II. Человек от станка

I

С чего начались удачи Петра Халанского?

Может быть, считать за удачу день, когда хозяйка кустарной мастерской дала Петрушке свой примус, чтоб переменить горелку.

Старая горелка была начищена так ярко, что сошла за новую, а данную для перемены Петрушка загнал на черном рынке.

Кино было изумительно. Живые люди бежали по полотну.

Было непонятно, почему они не спускаются в зал. Однако, хозяйка и хозяин одинаково упорно били Петрушку за обман и кражу. «Не все то золото, что блестит».

Старая горелка блеснула, но осталась испорченной.

Глаза людей в 1921 году были похожи на рыбы. Такие же красные и обветренные черной каймой.

Когда человеку тринадцать лет и ему нечего есть, он легче начинает воровать.

Но дядя Петра Халанского, слесарь Куликов, был дважды под расстрелом за время революции. Он большевик. Такого нельзя не слушать. Осенью он вспомнил о маленьком оборванце и сказал ему, что надо учиться работать. Затем он умер. Зря тетка дважды спасала его от расстрела, если он прожил всего один год. Однако, Петр запомнил непримиримые глаза и сухой голос дяди.

Тут начинается абзац трудовой жизни Петра Халанского.

Вот он сидит прямо против меня. Электрический свет делает его похожим на скульптуру. Волосы, сырые после душа, гладко зачесаны назад. Лицо освещено резким блеском зававших глаз. Нос тонкий и сухой. Все его тело броско и стремительно.

Он не сразу стал таинм. Три года работал в кустарной мастерской, пока улицы Ростова не насытились электричеством, пока в витринах не заблестали чудовищными цветами галстуки, пока толпы альфонсов не зашевелились снова на улице, переименованной в Энгельсову.

Но Петр работал не для этого. Он учился держать зубило и стоять у тисов. Пока другие смотрели на цветистые галстуки и запонки, Петро увидел, как расцветают вывески:

«Профтехшкола».

«Индустриальный техникум».

Их было много — этих вывесок с разными названиями, но дядя Куликов был слесарем в железнодорожных мастерских, и Петро помнит его непримиримые глаза.

И так он получает квалификацию. Он ушел от хозяйчика, платившего тумачами, и сейчас он учится в «Профтехшколе». Ему уже шестнадцать лет...

II

...Ровно в шесть с половиной часов утра Халанский подымается. Он прыжок к этому часу.

Жена лежит на спине. Ее утомленное лицо вытягивается в тени занавесок. Оно некрасиво. Одеваясь, Петр решает попутно задачу: почему буржуи спали в отдельных спальнях? И, глядя на вытянутое лицо жены, которую всю ночь мучил больной ребенок, Петр находит правдоподобный ответ.

Они видели друг друга только в «форме». Вот почему их жизнь всегда описывается красивой.

Однако, надо самому войти в «форму». Тихо, чтоб не разбудить жену и большого ребенка, идет в ванну.

Принимая па вялые после сна плечи тучу капель, звенящих, как серебро, он приплясывает на кафели.

Он в «форме».

Легко шагая босыми ногами, он начинает одеваться. Душ 10 минут. Одеться 10 минут. Путь 10 минут.

Рубашка-блуза вымазана в масле, в стальной и железной пыли, но ощущение привычной легкости охватывает Петра, когда он застегивает ремень. Он в «форме». Остальное остается за стенами завода.

В цех он уносит только свежесть и быстроту движения. Однако, уходя, он не забывает оставить на столе деньги и тихо поцеловать жену.

Улица составлена из солнца, пыли и движения.

Бессеменные грузовики и тяжело дышащие автобусы приходят из города. Трамваи двигаются, подобно красным гусеницам.

Люди стремятся к проходной одноцветным тесным потоком. Потом через тоннель в цехи.

III

Вступление в завод сопровождается звоном. Сначала звенит латунный помер, ударяющийся о тысячи других. Затем цех встречает звоном зубил и металла, звенящими приветствиями.

Молоденко машет издали как бы обрубленной короткой рукой, комсомольцы здороваются через цех. Станки еще не пушены в ход, и человеческий голос слышен.

Моншкин торопится навстречу. Вот это человек, это парень.

Почему мы так редко отмечаем хороших ребят? И Петр крепко сжимает протянутую руку.

Моншкин на два года старше, а имеет пятнадцатилетний стаж. Ему двадцать четыре года!

Вот подходит второй.

— Ну, как дела, «старик»?

— Ничего, Петр. Сегодня сдаем партию инструмента в цех саялок. Как твоё «сквозное» здоровье? — шутит старик.

«Старику», как и Петру, двадцать два года. Но он работает на производстве одиннадцать лет. Сейчас его выдвигают в сменные инженеры (мастером цеха).

Такого надо звать стариком. Сам Петр работает только девять лет.

Все в порядке, и ребята в «форме». Молоденко больше пятидесяти, — стаж сорок лет, — а он крутит как фабзайчик.

Не даром комсомольская ячейка выдвигает его в старшие мастера цеха. Обидно только, что старик не поехал на курорт, когда ячейка выхлопотала ему место.

Хотя причина отказа уважительная:

«Как в заводах и в частности в цеху нашем рабочих квалифицированных не хватает, то я останусь на своем посту с молодежью...»

Тут начинается сирена. Все движение становится закономерным. Люди и станки превращаются в одно целое.

Петр Халанский, бригадир ударной комсомольской, бригадир сквозной, секретарь комсомольской ячейки, стоит у станка. Пока обрабатывается деталь, можно думать о многом. Например, о плохих рабочих.

Например, «летун» Монсеев поставил станок и ушел гулять. Фрез подымался до тех пор, пока не в'елся в станину. Или Гольман, Яркин. Бывшие коммуны. Когда зарабатывали по пятидесяти рублей, так и коммуна и цех были дороги. А дали ребятам квалификацию, — они из коммуны долой, из завода долой. Хочется ребятам лучше место пайты, а о заводе забыли...

Яркин писал, как только получил квалификацию:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вас предоставить мне квартиру в рабочем поселке... непредоставление квартиры повлечет мой уход с завода.

Член ВЛКСМ Яркин.

Правда, теперь он не подпишется: «член ВЛКСМ», но тем не менее ясно, что среди ребят есть нездоровые явления. Однако, все уладится. Не даром...

И Петр начинает вспоминать.

В январе были сухие от холода дни. В один день по цеху объявили, что на инструментальный возложены надежды Сельмаша. Нужно приготовить тысячу четырехста единиц запасных частей к тракторам в течение тридцати пяти дней.

Эти детали шли сверх плана. Ударная комсомольская бригада уже имела стаж.

Весь инструментальный цех был ударным. Части к тракторам шли по слесарному отделу. В слесарном работала молодежь.

Простояв у станков 16—18 часов, ребята шли в столовую и засыпали на лавках, на столах, чтобы по первому зову снова подняться и итти к тисам.

Многие из них не выходили из цеха.

Тяжелое электричество плавало над головами. От станции в степи шли поезда для посевной большевистской. Тракторы двигались пассажирской скоростью. Их нехватало. Тем ценнее были запасные части...

Страна держала на своей ладони успех коллективизации. Страну надо было разбудить. И ребята спали по три часа в сутки, а на двадцать шестые не спали совсем, и тысяча пятьсот запасных частей выпустили на девять суток раньше.

— Да, — произносит Петр Халанский и меняет деталь. Мошкин удивленно оглядывается.

— Я говорю, что выдержим.

— Конечно, — отвечает Мошкин...

IV

Для того чтобы научиться читать мысли мастера о рационализации производства или отдельного процесса, надо прожить упорную жизнь. Пионер Халанский работал в коллективе безработных. Через год комсомолец Халанский работал на «Красном Кроватнике».

Через год, т.-е. в 1926 году, он поступил на курсы по повышению квалификации. После работы, когда его сверстники, восемнадцатилетние юнцы, уходили в киношку или целоваться под воротами, когда вечер пахнул одеколоном, лаской и отдыхом, Петр бежал на курсы.

Инженер Фейгин довольно улыбался из-под очков.

Он любил ученика, который был не в меру худ и долговяз, всегда таскался с книгами и все разговоры переводил на профессиональные темы.

Этого было мало. Он становился слесарем, но все еще туманными теоретические формулы. И в 1927 году в школе повышенного типа появился худой и быстрый в движениях ученик Петр Халанский.

День делился на три части: сон — работа — учеба. До трех часов он —

слесарь на «Красном Кроватнике». С четырех до восьми — он курсант. С восьми до двенадцати — он ученик школы повышенного типа.

Иногда занятия совпадали. Тогда ночью он крал время сна, засунув в карман усталость, и решал задачи, беря их у товарища.

Он не закончил последнего семестра. Он перешел работать на Сельмаш, комсомольская ячейка предъявила свои права на развитого парня. Петр с обычной энергией берется за работу ЭКправа ячейки...

Инженер Фейгин нашел его на Сельмаше и предложил бесплатно подготовиться в высшее учебное заведение. Но Петр уже знал главное и отказался.

Он научился читать мысли мастера. Это главное. Когда он сдавал квалификацию, мастер Сафошкин, может быть, из злой шутки, дал ему пробу не на слесаря, а на мастера. Он дал ему сделать расчет шестеренки и количества зубьев, дав размер половины зуба. Кроме того, предложил сделать приспособление для работы над шестеренкой.

Он не знал, что новый слесарь пришел на завод с книгами, бумагой и решительным лицом.

Мастеру Сафошкину дали выговор, потому что рабочие взвыли, узнав о такой «пробе», но Петра больше удивило изумленное лицо мастера, когда он через четыре часа принес готовый расчет.

Он научился читать мысли. Когда на цех дали заказ сделать широкие болты, он вместе с Мошкиным смотрел карточку заказа. На каждый болт давали 18 минут.

Он прочел мысли Мошкина, и в два с половиной часа они приготовили приспособление для зажимов болтов, которое дало возможность и неквалифицированным делать болт в восемь минут.

И теперь, когда ставят новый станок, он, глядя на инженера, мастера, может перебить их мысли и дать такую конструкцию, что Молоденко хлопнет его по плечу и скажет:

— Здорово!

Командир бригады, ударник, он, пожалуй, лучше знает требования и жизнь металла, чем свою жену. Не поэтому ли его больше тянет в завод на работу, чем на отдых домой. Не поэтому ли в выходные дни он часто работает сверхурочно. И, наконец, не поэтому ли жена ревнует его к заводу.

Ночами она плачет.

V

Человеку двадцать два года. Он стремится понять жизнь. Мир наступает на человека, размахнув широкие и теплые объятия.

Петру один за другим говорят:

— Поезжай учиться. Будешь инженером.

Как объяснить этим хорошим ребятам, что мир широк и он нашел в нем свое место.

— Поезжай учиться. Будешь инженером.

Как объяснить им, что учиться можно и не на инженера, что он тратит деньги на книги и любит их, что он не просто слесарь, а слесарь с квалификацией всесторонне образованного человека. Как доказать им, что место Петра Халанского за станком, где он и будет стоять.

Однако, металл имеет свою особую жизнь. Например, чугун. Он выходит из домны с хрупким телом, в котором чуть слышно бьется углерод. Положим, неслышно.

А вот из печей Бессмера тот же чугун выходит мягким. Он перерождается под давлением человеческих знаний. Именно эти знания и надо копить Халанскому.

Чудак! Они думают, что Халанский изменится, если его сфотографировать и поместить в газету. Или наградить значком. Нет же! Он будет работать так же, как и вчера. Вот если он еще рационализировать деталь, тогда, понятно, он будет работать быстрее...

Нет. Работа одинаковая. Техника разная — это да.

Техника социалистического ударничества — вот форма работы. Только благодаря ей, когда перед XVI Партс'ездом Сельмаш обязался выпустить подарок, смог инструментальный выполнить обещание. Тогда тоже не спали сутками. Молоденко вечером старел. У него рождались морщины, и тяжелый сон падал на старые плечи...

Но Петр Халанский твердо знает, что он не один. Таких, как он, по одному инструментальному цеху рассыпаны сотни, и если они не заметны на вид, то и не «все то золото, что блестит».

А сколько их на всем Сельмашстрое.

— Почему, почему меня, Петра Халанского, выдвинули в список ходатайства о награждении орденом. Почему я попал в число девяти лучших?

Вот они лучшие рядом со мной, они передо мной, за моими плечами. Их держит страна. Они держат страну.

Разве к лицу мне, молодому рабочему Сельмашстройа, орден Трудового Знамени?

Петр Халанский болен. У него выходной день и незачем идти на завод. Он просыпается в 6 ч. 30 мин. и думает. Думает о вузе, о том, как он почувствует себя перед профессорами, книги которых он привык любить. Думает о том, как будет инженером, будет знать весь завод и не иметь своего станка. Он еще молод. Он успеет выучиться, придет на Сельмашстрой. Старые друзья будут удивляться, и когда он встанет на свое старое место, то другой Петр, Иван, Сергей скажут:

— Товарищ, это мой станок.

И Петр Халанский срывается с постели под душ, одевается и бежит в двери, не слушая слов жены. Он еще не опоздал. Молоденко закричит, увидев его: — Не вытерпел? Пришел! — улыбнется, потому что старый Молоденко понимает его и сочувствует, потому что он тоже приходит сюда в неурочное время, чтобы посмотреть на своих ребят...

— А в вуз я все-таки не пойду, — бросает он на ходу, озадачив Молоденко...

И добавляет про себя:

— Я и так инженером от станка стану... Весь завод узнаю и буду иметь свое место. Это лучше.

Может быть, это и действительно лучше.

3. ОКОПЫ ПЯТИЛЕТКИ

Очерк

Даниил Фибих

Камень, графы и Данилыч

На моем письменном столе лежит камень. Небольшого размера, он все же очень увесист. Он синий, с красноватым палетом присохшей кое-где глины. Слоист. Края четкие, ломаные, острые. Камень этот — кусок породы. В нем — свыше шестидесяти процентов железа и память о больших днях.

Я привез его с Высокой Горы.

Выписка из старого энциклопедического словаря:

«Новый Мир», № 11

«Демидов. 1. Никита, род. около 1665, умер 1725. Был первоначально кузнецом, во времена шведской войны поставлял оружие, 1699, под его руководством устроен первый чугунолитейный завод (Невьянский). Вел так хорошо дела, что Петр подарил ему весь завод. По случаю, нашел Колыванский рудник, ставший источником его колоссального богатства. Из потомков его:

2. внук Прокофий Акинфиевич, известный чудак и благотворитель. Чтобы наказать англичан, продававших ему дорого разные вещи в Лондоне, скупил однажды в СПб всю пеньку. Пожертво-

вал свыше миллиона рублей на основание Московского воспитательного дома и 250 тыс. на Петр. комм. училище, им же основанное.

3. Павел Григ., внук Никиты, 1738—1821, получил образование в Геттингене и Фрейбурге. Переписывался с Линнеем и Бюффеном. Громадную коллекцию и библиотеку завещал Моск. унив. Основал Демидовское высших наук училище, теперь Демидовский лицей.

4. Анат. Никол., 1812—70, жил почти всю жизнь за границей. Основал Демидовский дом призрения трудящихся в СПб и с братом Павлом — Николаевскую детскую больницу. Был женат на Матильде, племяннице Наполеона III, и купил в Италии княжество Сан-Дonato. На его счет была снаряжена экспедиция в южную Россию. Издал книгу: «Письма о русской империи» на французском языке. В начале крымской войны подарил казне миллион рублей сер.

Его картинная галерея одна из лучших в Европе...»

Заметки из рудничной газеты «Голос Горняка» от 26 сентября 1930 года.

СТАРИК ДАНИЛЫЧ С НОВА С НАМИ

Я — большевик с 1906 года. До революции на Медном руднике «воевал» с Башкировым — слугой Демидова. В 1911 году за руководство забастовкой попал в Сибирь — 6 лет ссылки. В 1917 г. председатель первого делового совета на руднике. В 1918 г. рудник останавливается, — эвакуирую рудничные ценности. В это же время иду добровольцем в Красную гвардию и увожу за собой весь рудник. В 1919 г. винтовку сменяю на трудовые оковы. Рудник стоял. Нажали—дело пошло, рудник ожил.

В 1928 г. ВЦИК присваивает мне звание героя труда. За плечами 50 лет работы на рудниках. В 1927 г. зашалило здоровье, пошел на пенсию...

Знаю, вижу, что на руднике неладно: 75.000 тонн недоданной руды — большой долг пятилетке. Не могу безучастно смотреть на этот прорыв.

Накануне «дня ударника» объявляю себя ударником и иду снова на Высокую, по силе-возможности буду работать, до тех пор, пока рудник не возвратит пятилетке последнюю тонну руды.

Старый горняк Ф. Д. Козьмин.

ДАНИЛЫЧ ЗАСЛУЖИЛ ОРДЕН ЛЕНИНА

Федора Данилыча Козьмина знают поголовно все тагильские рабочие. Они 50 лет проработали на тагильских рудниках. Вчера Федор Данилыч пришел на рудник и снова стал на работу.

За большие революционные и произ-

водственные заслуги мы накануне «дня ударника» предлагаем представить Федора Данилыча к награждению трудовым орденом Ленина.

Просим райпрофсовет и уралпрофсовет поддержать наше ходатайство.

«Рабочий» и «Голос Горняка».

О Демидовых, сообщает энциклопедический словарь, существует целая литература. Блистательные потомки кузнеца, основатели горнозаводского дела в России, короли Урала, владельцы невероятных богатств, швырявшие миллионными подарками, величавые меценаты — покровители наук, просвещения и искусств, коллекционеры и знатоки живописи, вступавшие в родство с императорскими фамилиями Европы, они, конечно, просятся в литературу. Происхождение, жизнь и дела каждого из позднейших Демидовых известны, прославлены, записаны.

Предки Данилыча вряд ли кому известны. Полувековую, трудовую и славную жизнь его знают немногие из стариков-тагильцев. Знают по себе. В общем, она ведь немногим отличается от ихней. Пот, разрушаемое здоровье, сбавляя жизнь — те дрожжи, на которых взбухали сумасшедшие демидовские богатства.

И все же не Демидовы, а Данилычи теперь хозяева Урала. Полноправные хозяева неисчислимых кладов, что схоронены в горных породах, под елью, сосной и лиственницей.

Тот железняк, кусок которого лежит передо мной, заваливал графа Демидова, маркиза Сан-Дonato, миллионами, которых некуда было девать, которые душили, как астма, на которые покупались итальянские, ненужные новому их владельцу княжества и рафаэлевские Мадонны. Спустя много лет революция отыскала Рафаэлей где-то в уральском захолустье среди пыльного, обросшего паутиной чердачного барахла и водворила в музей.

Сейчас в этом тяжелом, синем куске породы блеск частей будущих машин, ворчание тракторов, сверканье новых гидростанций, богатство и слава страны.

В з е м л е

— Осталось девять дней до конца хозяйственного года.

— Перелома на Высокой нет.

Тагильская газета тревожится, кричит, хватает за шиворот:

— Высокогорские рудники позорно сдают темпы!

«Сводка за 15 дней сентября работы Высокогорских рудников показывает тревожные цифры. Из пятидневки в пятидневку добыча руды и вскрыша не увеличивается, а, наоборот, снижается.

В первую пятидневку добыто руды 6.677 тонн, во вторую 6.548 тонн, в третью 6.889 тонн, что составляет к программе штурма только 34,3 процента.

Все рудники работают слабо, но хуже всех Лебяжинский.

...Скользя и оступаясь в разноцветной жирной грязи, мы бродим по руднику. Мы — московские, новые люди. Нашу бригаду послали литературные организации и Рабис, мы, как принято говорить, люди искусства, и это искусство должны применить так, чтобы Высокгорский рудник дал государству больше железа и меди.

О том, что на Урале прорыв, что с 20 августа здесь объявлен социалистический штурм, что пульс этих дней колотится в жару — нам известно. Но, Фомы неверные, своими пальцами хотим мы ощупать кровоточащую рану прорыва.

Пока-что та картина, те краски, что заполнили глаз, нас оглушают, подавляют.

— Какое богатство!

Вот здесь, в этих фиолетово-синих кручах, запрятаны девятнадцать миллионов тонн руды. Там, подалеже, — тринадцать миллионов.

Маргит.

Железняк.

Чистосортная, драгоценная руда, содержащая от шестидесяти и свыше процентов железа.

Громадный, неправильной формы котлован, глубокий провал уходит из-под наших ног. Плоть земли вскрыта анатомическим ножом разработок. Древнейшие силлурийские пласты оголены и горят своей раскраской даже в этот кислый, хмурый, с перепадающим дождем денек. Там — глинистые, песчаные породы Большой Выработки, желтые, всех оттенков желтого: от недозрелого лимона до черноватого, густого золота. Тут лезут багровые, точно бычья кровь, уступы.

Здесь взвилась, нависла богатырской грудью сумрачная Граневая, сине-фиолетовая, вся в сыпи прожилок и пятен, бирюзовых, сиреневых, иззелена-голубых.

Террасы. Карьеры. Уступы. Спирали дорог. Они опоясывают котлован, сползая ниже и ниже, на самое дно, где бродят, копошатся крошечные желтые человечки и стоят на рельсах, как разорванные бусинки, вагонетки с породой.

— Круги Дантова ада! — скажет человек, отравленный классиками.

— Баррикады! — подумает революционер.

И в самом деле, разноцветные и пологие эти откосы, петли дорог на склонах, рабочий беспорядок — будто внутренность титанической траншеи. В несверху заглядывают прожекторы, стоящие на вышках. Ночью в их свете, го-

лубом и дымном, продолжается бессонная работа.

Свистки. Лязг. Дробный перестук перфораторов, которыми сверлят скалы для закладки динамита. Невнятные, смазанные расстоянием голоса. Вышки шахт и крыши тепляков. Грязь и в грязи навалены цветные камни: осколки малахита, яшмы.

Так обширно пространство, что рудник кажется почти безлюдным. Люди теряются, распылены.

Навстречу, трудолюбиво меня желтую слякоть дороги, подымается лошаденка, везущая одноколку. В одноколке, попярая тяжелыми сапогами груды породы, стоит здоровая, коренастая девка, обмотанная теплым платком. Правит, стоя в своей одноколке, как гладиатор на конных ристалищах. Еще недавно эти одноколки, вызволяющие породу на поверхность земли, шли непрерывно, лошадиным конвейером, одна за другой. Теперь вводится механизация. В 1930—1931 году на капитальное строительство Высокой будет затрачено 20 млн., — увеличится стоимость оборудования рудника вдесятеро.

Вагонетки отвозятся к под'емным площадкам двух бремсбергов. Стальной трос тянет площадку наверх, метр за метром, на поверхность земли, на деревянные пересечения длинной и легкой эстакады. Оттуда, по желобам, в сухом рассыпчатом грохоте, порода вываливается в подставленные вагоны. Страшно деловитые, прокопченные паровозики отвозят их по железнодорожной ветке за несколько километров к Тагильскому металлургическому заводу.

Завод строил еще Никита Демидов, при Петре. Завод притаился в пади у реки, меж рудником и городком Н. Тагилем, ворчит, ухает, лакает зубами, — сердитое, работающее зверище. По ночам над заводом шум тревожнее, и розовый, лихорадочный туман от доми, прокатных станов, мартефов. Со склона холма, где белеет лишенная крестов церковь, Ленин, стоя на земном шаре, властно простирает руку над заводом, над домами, над лесистыми, драгоценными уральскими увалами.

— Семерка-а! — летит протяжно с противоположного уступа. По уступу карабкается человек в желтом брезенте. Сумка, где белые тубики динамита, висит на его боку. Это запальщик. Закладывает шпурь. Сейчас будет «палка» (от слова «палить»).

— Пойдем в закладку, — советует проводник наш, горняк, крепкий молодой парень с зорким и холодным лицом. Доброволец Красной армии, в свое время он пешком прошел Урал, Сибирь, от Волги до Байкала, наступая на пятки бегущих волчаковцев.

Закрадки разбросаны, как грибы, всюду. Две бревенчатых стенки сложены крест-на-крест и сверху прикрыты толстой крышей. От камней. Мы прячемся, наблюдая бойницу, как поджигает фитили заложённых шпуров желтый человек, как с раздражающей, заставляющей сжиматься сердце неторопливостью ходит он среди белых, дымящихся эмеек. Но время рассчитано: фитиль горит пятьдесят восемь секунд, точно, и запальщик успеет поджечь все семь заложённых им патронов.

«Вот он скрылся куда-то. День зажмурился, притаил дыханье и напряженно ждет. На склоне горы извиваются, бегут, дымясь, белые черви. Уходят в глубь скалы один за другим. И вдруг лохматый черно-сизый тяжкий букет поднятой земли буйно вырывается. Оглушительный, торжественный удар в барабанные перепонки и в дальние скалы. Где-то далеко стучат о крышу переброшенные через пропасть камни. Еще взрыв. Еще... еще... Сизые, желтые, голубые. То звонкие, стреляющие, — кажется, глазу заметны стремительные, прямые линии их сокрушительного взлета, — то мягкие, глухие, от которых рушатся целые пласты скал, с шорохом сползая под откос.

Экскаватор работает как разумное, теплокровное, вполне осознающее свои поступки животное. Можно часами наблюдать и не надоест. Здесь их два. Есть третий, о нем потом.

Экскаватор голубой и большой. Он стоит на гусеничных лапах, увязнувших в мокрой глине, перед рыжим откосом, где малоценная (меньше 60 процентов) порода, с лязгом и металлическим журчаньем опускает свою тупорылую рогатую голову на длинной, прямой шее. Он готовится боднуть скалу. Вот поддал, резко вздернул морду, — целый пласт, снятый стальными его рогами, обрушивается в полую голову, насыпая до краев. Тут, в лязге и грохоте, неожиданно легкий и плавный поворот всем грузным туловом, крутой размах на девяносто градусов. Поворачивается на могучем стержне вся тяжелая кабина, где в окошечки видны головы машинистов и механиков, в руках которых жизнь этого сложного, чудесного организма. Тупорылая морда, покачиваясь, остаивается под порожней подкаченной вагонеткой. Лицо экскаватора унылое, обиженное, точно надоела ему работа чорт знает как, железная губа брезгливо отвисла. Челюсть отваливается под ярым углом, свисла — и машину мучительно тошнит звонко хрохочущей о дно вагонетки породой. Затем челюсть захлопывается. Снова крутой поворот, скрип, журчанье, снова пригибается к земле, готовясь боднуть, рогатая голова.

...Я пишу стихи. Их будут читать и петь артисты нашей бригады с крошечной сцены рудничного красного уголка. Я не поэт, стихи немудреные, но в них то, чем болеет рудник.

Зот собрали экскаватор в ударном порядке. На славу поработал! Митинг... Парад... И стоит без движения на той же площадке, Пьет воду из лужи... А дни летят...

Это о третьем экскаваторе. Привезли его на рудник. Администрация сказала:

— К 25 сентября надо собрать и пустить.

Ударники-рабочие ответили:

— Соберем не к 25, а к 9 сентября.

Слово сдержали. За пятнадцать дней раньше срока «Менк» был собран, заклепан, налажен, — хоть сейчас в работу! Созвали торжественный митинг. Бухал литаврами и барабанами рабочий оркестрик, летели над рудником звонкие, лозунговые слова. Затем произошла какая-то незначительная поломка в механизме, и две недели — две недели — экскаватор стоит на месте, безжизненно и жалко уткнувшись рылом в рыжую глинистую лужу. Это — когда взвешен и рассчитан каждый день, когда часы горят!

Приведенный случай — один из многих образчиков той каменной стены бюрократического прекрасного, преступной беззаботности, неумения и нежелания распорядиться, о которую разбивается горячая волна рудничного ударничества.

Местная газета указывает:

«Основные причины прорыва — отсутствие твердого единоначалия, четкой работы административно-технического персонала, нераспорядительность.

Недостаточная организационно-массовая работа парт- и профорганизаций...»

За руду

В народных старинных песнях, в сказках руда означает кровь. Руда — кровь земли. Самое основное, жизненное, без чего не может ничто существовать.

Руда — кровь.

Кровь — руда.

Молодая художница, бригадница, склонив лохматую голову, вырисовывает на бумаге тоненькой красной кисточкой веселые стройные буквы:

Цека призывает к труду,

Товарищи! В бой за руду!..

Лучшая, передовая часть тагильских шахтеров спустилась в «яму» самоотверженно биться за руду. Дралась с кровью. Себя не щадила. Ударные бригады перевыполняли задание. Сформировался Железный полк. В его батальоны пошла молодежь, комсомольцы и комсомолки. В забоях, с кайлом в руках, на воротке (подъемнике), на рудопрывательных фабриках, в сырых и мрач-

ных подземных штреках ударники не щадили сил и здоровья. Забывали об отдыхе. Дружно, споро работали на суб-ботниках.

БОЛЬШАЯ ВЫРАБОТКА

В июле 1 смена перевыполнила задание на 43 проц.

II смена — на 48 проц.

В августе: 1 смена перевыполнила на 32 проц.

II смена — на 53 проц.

ГРАНЕВАЯ ВЫРАБОТКА

В июле перевыполнила на 30 проц.

В августе — на 41 проц.

Волна ударничества все более и более охватывает горняцкую массу, захлестывает и увлекает с собой самые отсталые слои. Число ударников растет месяц от месяца.

В июле было	305 человек.
В августе	» 505
В сентябре	» 629

Объявленный с 20 августа штурм, массовый, энергичный нажим на прорыв, вызвал резкий подъем производительности труда. Кривая скакнула вверх. В первые же дни штурма продуктивность труда горняка поднялась почти вдвое — на 85 процентов.

На конференции ударников собрались горняки шахт №№ 3, 31 и 32, работающие под землей. Всего восемьдесят пять человек.

Они вылезли из своих глубоких кротовых нор, из подземных лабиринтов штреков, где от тяжелого, промозглого, могильного воздуха, точно под водой, шумит в ушах, сонно гудит вентилятор, журчит подземная капель, и в забоях, скупо освещенные электрическим пузырьком, забойщики в широкополых, желтых зюйд-вестках долбят породу железными клювами своих кайлов. По деревянным вертикальным лестницам, цепляясь за железные скобы, на которых налипла холодная грязь, вылезли на поверхность земли и заявили:

— Закрепляем себя на работе в шахтах до конца великих работ.

...И все же, несмотря на сквозные бригады и железные батальоны, на самоотверженный, героический подчас груд, на сильно возросший процент добычи, на Высокой Горе лежит темное пятно неликвидированного прорыва. Годовой план невыполнен на 83 процента.

Рудник еще не додал тех 75.000 тонн железа, что обязался сдать до первого октября.

Китайская стена бюрократизма, которую не так-то легко прошибить. Общая бесплановость, хаос, неразбериха, работа по-старинке, демидовскими методами.

Прежде всего простои. Подъемник № 1 за одиннадцать месяцев простоял 200 часов. 26 процентов рабочего времени улетело в трубу, в воздух. Подъемник № 2 простоял 44 процента своего рабочего времени.

Не лучше с экскаваторами. Стоят без дела 55—60 процентов трудового дня.

Часами бездействуют вагонетки. А тем самым часами, в ожидании вагонеток, везущих породу, стоят рудопромывочные фабрики.

Ребята-ударники в ожидании, пока подадут вагонетки, вынуждены болтаться без дела, точить лясы, покури-вать и крыть забористыми словами тех, по вине которых их ударная работа теряет всякий смысл.

— Да кто же виноват, что не подают вагонеток?

— А кто его знает. Вот стоим...

Рудопромывочная фабрика им. Тимошенко. Деревянное — все из балок, стоек, навесов — гремящее, содрагающее сооружение. Вверху — грохот вращающихся дырчатых барабанов, бутар и классификаторов, где перемывается и сортируется руда, внизу — стынущие, желтые, глубокие болота, сплошь залившие рельсы. Разбрызгивая жижу, щлепают, выбиваясь из сил, толкают тяжелые вагонетки парнишки в желтом же — под цвет всей мойке — брезенте и в рваных ботинках. Из бутар, из экскаваторов, поднимающих прикрепленные к бесконечной ленте ковши с водой, брызжут рыжеватые струйки. Низкорослый малый — щеки и заданный нос его, точно опаловыми веснушками, осыпаны пятнышками полузасохшей грязи — подходит к моему спутнику. Перекрикивает гам пляшущих в бутарах камней и пенящейся воды:

— Ты посмотри, без сапог робим. Видишь?..

Поднимает ногу в облепленном желтой грязью ботинке.

— В воде. Один у нас уж свалился. Заболел... Ребята уж бузить начали. Ежели б не комсомол — все четыре сме-ны стояли, не робили.

— С заведующим говорил?

— Да что! — Парнишка с сердцем отмахнулся. — Кроет матом и никаких. Перед ним вопрос надо вот так ставить.

Решительным движением складывает указательные пальцы крест-на-крест.

Еще недавно были на руднике сапоги. Рудоуправление их разбазарило. Куда выдали, кому — неизвестно. Сейчас работает специальная бригада, выясняющая этот вопрос.

При Демидове рудопромывательной фабрики не существовало. Демидов брал только руду высоких сортов. Та, что содержала менее шестидесяти процентов металла, шла в отвалы, в сброс. Мы не хищники. Мы промываем эти отвалы, выбирая все ценное, сор-

тируем на три сорта — самый крупный, помельче и совсем мелкий — и тогда направляем в домны завода. Переплавливать в чугуна. Но бывает и так. Уже отсортированную породу кто-то где-то снова сваливает в общую кучу.

Получается так называемый «вине-грет». Вся работа — прахом. Начиная сызнова.

— Пошто мыли? — негодуют ударники.

Корни азиатчины

Живем на руднике уже несколько дней. Освоились. Работаем. У нас уже есть знакомые. Когда мы приходим в столовку, где за длинными столами забойщики и откатчики в брезенте глинистого цвета жадно едят постные, из одной капусты, щи и кашу, политую конопляным маслом, нас встречают как своих, привычных.

В горячке и спешке мастерим мы стенгазету, чуть ли не первую стенгазету на руднике. Художница, ползая на коленях по разостланному листу александрийской бумаги, старательно выводит название, алое по серому полю:

— «БЕЙ!»

Особенным успехом пользуется «местный материал». Прогульщики. Пьяницы. Лжеударники. Систематические обсчеты рабочих...

Займемся и другими.

Корюкин, технорук,
Запомним это имя,
Оно не только звук.
Вот алмазное бурение.

Под его началом
Пять денечков без движения
Скважина стояла.

Мы надрываем в работе нервы и руки.
Мы горим, не сгорая, в огне

Как назвать вот это, технорук Корюкин?
Что вы скажете нам, дорогой товарищ?

Или:

А вот пневматическое бурение.
Большое терпение
Имеют рабочие,
До работы охочие.
Стоят, покуривают,
Падают: с какой дури вот
Загнали их сюда без поры?..
Где буры?.. Где буры?..
Про то знает начальство...

Это только отдельные образчики «деятельности» местных головотяпов.

Сейчас здесь работает приехавший из Москвы член ЦК горняков, знакомится с положением дела на Высокой. Организованы рабочие бригады. Обследуют: как проводится механизация, почему администрация систематически обсчитывает горняков, куда девалась спецобувь и одежда.

Только недавно был распущен областной комитет горняков за искривление партийной линии. Снято прежнее руководство и партруководство. Новые люди, пришедшие на смену, еще сами

не разобрались в наследии прошлого, беспомощно барахтаются, плавают, не могут наладить дело.

А порядки такие, что, действительно, свежий человек только за голову хватается.

— Сколько лет живу — таких дикарей не видал, — говорит мне член ЦК горняков.

1. Нет учета рабочего времени и затраченного труда. Администрация не имеет сведений, сколько именно рабочих занято в данный момент на той или другой работе, сколько тонн руды нагрузил такой-то — имя рек — горняк.

Десятник верит забойщику по старинке, на слово. Записывает те сведения, которые ему сообщили. В результате получается, что Иванову записано три рубля, когда он выработал на пять, Петрову — четыре рубля, в то время, как он выработал на два. Обсчет, недобровольство рабочих, неразбериха, выяснение настоящего положения дела... Никто из местных хозяйственников не додумается до того простейшего правила, которое введено на всех рудниках: нумерация разрабатываемых забойщиками уступов и точный учет работы.

2. Рабочая сила расходуется зря, бесполезно, по-азиатски. Особенно у вагонеток. Если трудно сдвинуть с места грузную полную породой вагонетку — зови на подмогу товарища, другого, третьего... Тужась и пыхтя, толпой катят забойщики вагонетку. Проще, казалось бы, смазать маслом колеса вагонетки, чтобы при меньшей затрате мускульной силы ходить шла она.

Однако, попробуйте предложить техническому персоналу сделать это. Наготове стандартный, категорический ответ:

— Нельзя. По техническим расчетам смазка вагонеток производится раз в год.

3. Узаконенные простои. Администрация оплачивает каждому рабочему два лишних часа в день на «непредвиденные простои». Тем самым убивается всякий стимул к уплотнению рабочего дня, к большей продуктивности труда. В корне расшатывается трудовая дисциплина.

Горняк-массовик покуривает, сидя у забоя, посживает, балгурит с товарищем. Чего торопиться?.. Все равно у него законных два часа бездельничания. Их ему оплатят.

4. Плохое обеспечение рабочих питанием, спецодеждой, жилищем. Не даром конференция ударников указала на необходимость улучшить работу Церабкапа.

5. Отсутствие всякой культработы. В этой области — застой, тишина, мертвечина.

Главная беда Высокой Горы — текучесть рабочей силы. Кривая движения рабсилы бешено скачет, вычерчивая острые и тревожные зигзаги. В феврале поступило 615 человек, ушло с рудника 174. В марте пришло 146, убыло 517... С августа кривая круто пошла на снижение. В августе ушло 382 горняка. В сентябре 121...

Причины?

Низкая оплата труда, плохое снабжение рабочих на руднике, неразбериха. И вот забойщик идет копать канавы для комхоза. Там он за день зарабатывает двадцать пять рублей, в то время, как на руднике — только четыре.

Надо знать социально-экономическую физиономию уральского шахтера, чтобы понять, почему тут сильно развиты врачешские и летунские настроения.

Шахтер еще не оторвался от своего земельного надела, от избыт, хозяйства. Долгие годы демидовских порядков вросли в его быт и психологию. До революции он тесно был связан с помещиком, с кулаком, которые снабжали его, когда он работал на руднике, лошадью и таратайкой для отвоза породы. «На первом месте у него — кобыла, хозяйство, урожай. Конец лета, — все грознее намечается надвигающийся дрорыв промфинплана, а шахтер бросает кайло и забой, уходит с рудника: — Страда!.. Надо хлеб убирать.

Да что говорить о массовике-рудкопке, когда даже заведующий разработками в самый разгар штурма носа не показывает на рудник. Как же, помидуйте!.. Надо сено косить, убирать!..

Тем ярче, тем разительнее работа тех полуголодных, в развалившихся сапогах, самоотверженных, что, забывая себя, перевыполняют намеченные цифры промфинплана. Тем выше облик старого горняка Данилыча.

Новая психология.

Буксир

Ребята приехали сюда с Бакала. Всего десять человек.

Ребята степенны, приветливы, трудолюбивы, как муравьи, и бесхитростно-жизнерадостны. Когда в коридоре раздается грохот грузных, заскоружлых, облепленных глиной и землей сапогов и башмаков, — это значит, вернулись с работы бакальцы. Они умоют черные руки и лица, раззуются, на столе появится фырчащий, горячий самовар, сборная посуда, большие куски кое-как накроманного хлеба и сахарный песок. Они едят степенно, истово, шумно схлебывая с блюдцев желтую, горячую водичку, сквозь которую просвечивают красные лепестки незатейливых розанов, и дружным, раскатистым хохотом встречают нехитрые остроты то-варища. Рубахи расправлены, ворота ко-сороголок расстегнуты, лбы унизаны

теплым бисером пота. Заслуженный от-дых!..

Вот Сахаров, ласковый, деликатный, улыбочивый. Смоченные водой светлые волосы слиплись на макушке и на шее и торчат перьями, височки приглажены, залізаны. Он сладко жмурится, поглаживает двумя пальцами белокурые усики и посмеивается деликатно, тихонечко: в горле перекатывается глухаватый бубенчик. Когда он закончит чаепитие — усядется на продавленной койке, в руках его очутится дешевая маленькая гармонь. Гармонь, раздуваясь красными мехами, будет выскрипывать, выговаривать несложные и унылые такты деревенских мелодий.

Вот Денисов, парень с обезьяньим, долгоруким, приземистым, на коротких, кривых ногах туловищем. У него неправдоподобно-густые, чернейшие, буд-то сапожным варом наведенные брови, взгляд широкий и прямой, вливающийся в людей, предметы, чужие мысли. Вот мучающийся грыжей и все-таки приехавший сюда, на тяжелую ударную шахтерскую работу, Роман Сажин. Волосы на четырехугольном, неправильной формы черепе острижены коротко, щетинкой, беспокройные, пытливые глаза глубоко засели в орбитах. Улыбка почти не освещает его тревожного и измученного лица. Он жаден к знанию и, не стесняясь, с подкупающей прямо-той спрашивает значение того или ино-го слова, ему непонятного. Только не давно он узнал, что означает «оппорту-нист».

В разговоре с нами уловил он другое непонятное слово.

— Что такое фашизм?

И выслушав объяснение, облегченно выпускает затаенный в легких воз-дух:

— Тга-аак...

Вот Борков, — бордатый, узенькие китайские глазки в морщинах, искрив-ленные, узловатые пальцы рук, похо-жих на клешни, — тридцать пять лет жизни отдавший рудникам. Трина-дцатилетним мальчишкой впервые стал Борков к вагонетке.

Вот молчаливый, стройный, черново-лосый парень, у которого необычайные для этого «скуластого» пермяцкого края тонкие, строгие черты. Вот Лена, ляхая в работе и пляске.

— Первая на селе озорница, — гово-рит про себя.

Широкоскулое деревенское лицо ее открыто и весело. Движения могучего тела неожиданно легкие, играющие, как у сильной молодой птицы, и когда она, топая пятками в красных шерстяных чулках, ходит по комнатам, чувствуешь, как переполняет ее веселая, бесхитро-стная жизнь!

Эти восемь мужчин и две женщины — буксир. Они приехали с Бакальского рудника сюда, в Тагил, приехали под-

тянуть, показать: можно и надо работать лучше!

Отношение к ним высокогорцев — неприветливое, хмурое. Косые взгляды. В них видят не только чужаков, но и живой укор, назойливо, ежедневно мольбящий глаза.

— Как звери глядят, — сумрачно отзывается вожак бакальцев, комсомолец Шабельник.

И бакальцы всюду — в «яме», куда спускаются в свой забой, в столовке, в клубе — держатся вместе, косячком. Так, толпой, и ходят.

А работают, надо признаться, на совесть.

— Ну, как поработали? — встречаем мы их, когда возвращаются со смены.

— Ничего. Сто пятьдесят четыре тонны нынче нагрузили. Двести процентов задания!

Бакальская бригада не только работает образцово, но и тормозит косную Высокую Гору. Предлагает новые способы улучшения отдельных трудовых процессов. Вносит дельные предложения на производственных совещаниях.

Они первые предложили, например, ввести взрывной метод в Большой Выработке. До них здесь «палка» не применялась. Как и полагается, сперва технико-административный персонал отнесся скептически. Однако, попробовали. Оказалось — с успехом можно применять тут динамит.

Поставили бакальцев на подъемник. И здесь четыре человека успешно справились с той работой, которую обычно выполняли семь-восемь рабочих.

Они не имеют партийных и комсомольских билетов. Один только Илья Шабельник, их политрук и вожак, — комсомолец. Илья — не уралец, пришлый человек. Украинец. С Донбасса. У него ни семьи, ни племени. Перелетная птица. Надоело сидеть в донбассовских шахтах. Шабельник ударился по советской стране искать новых мест, новых людей. Так вот и попал сюда, в глухую уральскую дебрь.

В безумном лице, в широкой медлительной улыбке у него много еще детского, но когда, переодеваясь после смены, стягивает он пропотелую, грязную рубаху, — обнажается высокая атлетически развитая грудная клетка, тугие бугры бицепсов, упруго движущиеся сплетения мышц под белой, нежной кожей. Он наполнен самоуважением до краев, и столько солидности в неторопливом его говоре, в развалистой, грузноватой походке, в манере держать себя, будто боятся Илья расплескать свое достоинство. Слова у него обдуманные, добытые терпением и трудом, на вес золота. Не даром всегда при себе толстенный карманный словарь ино-

странных слов. Чуть-что, раскрывает его, ищет нужное. На подоконнике, возле его койки, в ворохе старых газет, политических брошюр, полужасохших кусков хлеба — горка разноцветных веселых уральских минералов.

— Вот интересный кусок, — тяжело-весело говорит Шабельник, взвешивая на бугристой ладони пахнущий землей один из камней, — вулканического происхождения.

...В Свердловске в «день ударника» Илью Шабельника наградили орденом Ленина.

Из обращения общественного буксера Бакала к горнякам Высокой:

— Под руководством партийной организации горняки Высокой прекратили позорное отступление и за 30 дней социалистического штурма имеют определенные успехи, которые при дальнейшем усилении обеспечат нормальную работу рудника. Гора Высокая выпрямляется. Мы рады этим успехам и передадим о них горнякам Бакала.

Заявляем о том, что до конца пятилетки закрепляемся на производстве и вызываем последовать этому всех горняков Высокой.

РАПОРТ

Областному слету ударников железных рудников Урала.

Рудники гора Высокая и Лебяжка на 25 сентября, т.-е. за пять дней до окончания операционного года, дают стране прорыв в 75.000 тонн недобытой руды и удорожание себестоимости против сметы на 30 процентов. Этот прорыв ничем не оправдываем. Рудник мог выполнить промфинплан. Об этом свидетельствуют следующие яркие факты:

1. Граневая выработка свою производственную программу закончила раньше срока — к 15 сентября. Через два дня, 27 сентября, заканчивает выполнение своего годового плана шахта № 3.

2. 30 дней социалистического штурма дали рекордную цифру добычи в 42.630 тонн руды.

Эти же факты свидетельствуют и о том, что прорыв может быть ликвидирован. Поэтому рудник 75.000 тонн недобытой руды включает в производственную программу на октябрь—ноябрь—декабрь месяцы.

Директор рудоуправления Давылов.

Секретарь парткома Горы Высокой
Потаскуев

Председатель рудкома

Козюб

Октябрь, 1930 г.

За рубежом

ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

С. Гальперин

Свастика против серпа и молота. — Международный переполох. — Пилсудский делает выборы. — Хорзасчет по-австрийски. — „Демпинг“ и пан-Европа. — Британская имперская конференция.

Свастика против серпа и молота

Состоявшиеся 14 сентября выборы в германский рейхстаг лишь формально могут быть названы парламентскими выборами, — по их политическому значению правильнее было бы назвать их антипарламентскими. И по-своему прав был орган английских дельцов «Journal of Commerce», когда писал, что выборы 14 сентября подрывают веру в парламентаризм, по крайней мере, в германский парламентаризм.

Когда канцлер Брюнинг распустил рейхстаг, буржуазия отдавала себе отчет в том, что образование в будущем рейхстаге прочного буржуазного большинства, которое могло бы управлять страной без поддержки социал-демократов, представляет собой трудную задачу. Недовольство планом Юнга, экономический кризис, наличие в стране свыше 3 миллионов безработных — все это заставляло предвидеть усиление крайних партий рейхстага — коммунистов, с одной стороны, и национал-социалистов (фашистов) — с другой. В условиях ожесточенной классовой борьбы срединные партии как левого, так и правого оттенка неизбежно терпят поражение, уступая место боевым классовым группировкам.

И все же результаты выборов как громом поразили буржуазные политические круги как в самой Германии, так и за ее пределами. Все ожидали, что 14 сентября германская компартия потеснит социал-демократию, но мало кто мог думать, что при 5 миллионах новых избирателей с.-д. партия потеряет 600.000 голосов и 10 парламентских мандатов, а компартия увеличит по сравнению с выборами 1928 г. число своих голосов на 40 проц. и проведет

в рейхстаг вместо 53 депутатов 77. Предвидены были успехи фашистов, которые вели демагогическую агитацию против плана Юнга и закрепощения Германии международному капиталу, но никто не мог думать, что гитлеровцы наберут 6.400.000 голосов и станут сильнейшей буржуазной партией рейхстага, в котором они будут располагать 107 мандатами.

Победа коммунистов в стране, которая должна платить ежегодно полтора миллиардную дань, в стране, где царит еще небывалая в истории Германии безработица и где буржуазия открыто готовит бичи и скорпионы против рабочего класса, понятна сама собой. Мы не станем поэтому останавливаться на значении этой победы, тем более, что вопрос этот получил уже достаточное освещение на страницах ежедневной советской прессы. Следует лишь подчеркнуть, что результаты выборов лишним раз подтвердили правильность того анализа третьего периода послевоенного капитализма, который был дан Коминтерном и положен в основу революционной линии германской компартии. В избирательную кампанию германская компартия вошла с развернутыми знаменами, на которых было написано: «Да здравствует советская Германия», компартия бросила вызов всем предрассудкам буржуазии и самым беспощадным образом клеймила соглашательскую политику социал-демократии. Свыше 4 ½ миллионов пролетариев своими избирательными бюллетенями ответили на революционный призыв компартии: всегда готовы. Этот массовый вотум был настолько внушительным, что даже с.-д. «Forwärts» должен был задним числом признать, что его утверждения о люмпен-пролетар-

ском характере компартии попросту вздорны и что коммунизм стал знаменем огромных рабочих масс.

Но то, что является откровением для германского с.-д. официоза, менее всего может поразить советского читателя. Более необходимым представляется выяснение причин, приведших к избирательным успехам национал-социалистов, не только потому, что деятельность фашистов недостаточно освещалась в нашей печати, но и потому, что борьба против фашизма становится в настоящее время одной из центральных задач германской компартии.

Национал-социалистическая партия была основана Гитлером в Мюнхене в 1919 г. После путча 1921 г. и осуждения ее вождя партия пережила некоторый упадок. Она сохранилась лишь в Баварии, Тюрингии и некоторых городах центральной Германии. На севере существовала другая фашистская партия — фелькише. Но выборы 1924 г., на которых фелькише понесли крупное поражение, привели к их упадку. Это открыло поле деятельности для Гитлера на севере. В 1927 г. он образует в Берлине, Мекленбурге, Руре спортивные общества, носящие характер ударных колонн с бывшими офицерами во главе. Общества эти были организованы по военному, но они не ставили себе целью устройство путча против рейхсвера и вооруженных сил республики. Ставка фашистов была на устройство ячеек в рейхсвере. Ячейки национал-социалистов создавались не только в армии, но и в административных учреждениях, предприятиях, университетах и даже в средней школе. Кроме того, в Берлине национал-социалисты имели свыше 1.200 ячеек территориального характера (по улицам и группам домов), целью которых было выяснение политической физиономии жильцов и вербовка сторонников. В некоторых университетах к фашистам примыкает от $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ студентов. Кое-какие связи фашистам удалось установить даже с рабочими. Так, на заводах Сименса кандидаты национал-социалистов собрали при выборах фабзавкома 1.120 голосов.

На ряду с этой организационной работой национал-социалисты развивают и усиленную агитационную деятельность. Благодаря финансовой поддержке крупного капитала фашисты располагают целой сетью газет и журналов. Они имеют три ежедневных газеты: «Nationale Sozialist» в Берлине, «Sächsische Beobachter» и «Märkische Beobachter», два еженедельника: «Reinlich Westfälische Arbeiter Zeitung» и «Berliner Arbeiter Zeitung» и выходящий 2 раза в месяц журнал: «National-Sozialistische Korrespondenz». Общее количество периодических изданий гитлеровской партии доходит до 60, и, кроме того, гитлеровцы выпускают массу

брошюр, из которых «Азбука национал-социализма» разошлась в 100.000 экземпляров.

Субсидии банкиров объясняют организационно-агитационный размах работы национал-социалистов, но это объяснение все же недостаточно, чтобы понять, почему свыше 6 миллионов избирателей, принадлежащих по большей части к мелкобуржуазным слоям населения, отдали свои голоса фашистам. Социально-политические корни этого явления, несомненно, глубже.

В ночь с 15 на 16 сентября, когда вся Германия лихорадочно ожидала выяснения окончательных итогов выборов, корреспондент крупнейшей итальянской газеты «Corriere della Sera» имел беседу с двумя наиболее видными лейтенантами Гитлера: Германом Герингом и д-ром Геббельсом. Оба они признали, что победа превзошла все их ожидания: максимум, на что они рассчитывали — 60 — 70 депутатских мандатов. На вопрос о причинах этой победы Геринг ответил: «Народ осточертели старые программы... Избирательные воззвания средних партий были полны вопросов: кто спасет народ? кто спасет государство? Избиратели ответили, что они не могут более питать доверия к тем партиям, которые в течение 12 лет стояли в Германии у власти и привели ее к тому положению, в котором она сейчас находится... Неправильно было бы думать, что мы выиграли за счет националистов. По существу они вместе с отколовшимися от них группами сохранили свои позиции. За нас голосовали новые избиратели — молодежь, а также те, кто раньше воздерживались от голосования, и те, кто устали от поддержки старого правительства». («Corriere della Sera» 16 сент.).

В заявлении Геринга много правды: фашисты действительно сумели мобилизовать и привлечь на свою сторону значительную часть того политического болота, которое в «нормальных» условиях пассивно относится ко всем проявлениям политической жизни. От политической спячки их пробудили те материальные невзгоды, которые обрушились в настоящее время не только на рабочий класс, но и на мелкую буржуазию. Если пролетарии сумели сделать из переживаемого сейчас Германией хозяйственно-политического кризиса революционные выводы, то миллионные массы разоряющихся мелких лавочников, крестьян, вынужденных за отсутствием оборотных средств занимать деньги на ростовщических условиях, безработных интеллигентов и низших служащих, стоящих под бременем налогового обложения, — в значительной степени подались на удочку национал-социалистической демагогии.

Еще Бебель когда-то сказал: «Антисе-

митизм — это социализм дураков». Таков именно «национал-социализм» фашистов. Их демагогические вопли против «банды эксплуататоров, финансистов, евреев, бессовестных политиков, которые поработили Германию иностранцам на период трех поколений», естественно нашли отклик у обычно пассивного мелкобуржуазного болота.

Эта демагогическая платформа обещания национал-социалистам огромный успех на выборах, но она же является препятствием для приспособления их партии к условиям буржуазной правительственной работы. Ибо одно дело громить план Юнга на избирательных митингах и совсем иное — выступать против него в рядах правительства, которое, как и всякое буржуазное правительство, должно считаться с так называемыми международными обязательствами; одно дело кричать о засилье международного капитала и совсем иное — организация диктатуры финансового капитала, что по существу является политической задачей фашистского движения.

Проблема образования правительства после выборов 14 сентября оказалась очень трудной. С чисто парламентской точки зрения мыслимы лишь две комбинации создания правительственного большинства: либо так называемая большая коалиция (из с.-д. и всех буржуазных партий, кроме национал-социалистов и националистов), которая могла бы располагать 315 голосами против 272, либо правый блок (от национал-социалистов до центра включительно), который имел бы 333 голоса против 241.

Первая комбинация трудно осуществима, так как в условиях общего сдвига вправо центр (от которого в значительной степени зависит разрешение вопроса) вряд ли пойдет наговор с социал-демократами. Вторая комбинация трудна, так как национал-социалистам и националистам неудобно будет сразу перейти от своей избирательной демагогии к «положительной» правительственной работе, предполагающей выполнение плана Юнга со всеми вытекающими из него политическими и финансовыми последствиями.

Необходимо поэтому признать, что разрешение этой проблемы мыслимо лишь непарламентскими способами¹⁾. Это вытекает не только — и не столько — из соотношения голосов в рейхстаге, но и из соотношения тех социальных сил, которые стоят сейчас в Германии лицом к лицу. Для буржуазии в целом и для

социал-демократии задача состоит в том, чтобы организовать власть, которая могла бы так или иначе заставить широчайшие массы трудящихся идти на все жертвы, которых требует от населения Германии вся обстановка послеверсальской Европы: разногласия между фашизмом и социал-фашизмом идут лишь по линии методов осуществления этой программы, а не по самой ее сути. В противовес этому задача пролетариата и его коммунистического авангарда — сплотить вокруг себя многомиллионные массы городской и деревенской бедноты — ремесленников, кустарей, мелких крестьян, низы интеллигенции — и повести их на борьбу против устоев того порядка, при котором оказалось возможным закабаление Германии ее версальским победителям.

Германская компартия ставит перед собой задачу разоблачить демагогию националистов, вырвать из-под их влияния мелкобуржуазные массы, вскрыть классовую природу той «государственности», о которой кричат фашисты, и дать этой государственности революционный бой. Либо тевтонская свастика (крест с загнутыми концами), украшающая мундиры национал-социалистов, либо знак серпа и молота, знаменующий смычку пролетариата с деревенской беднотой, либо коммунизм, либо фашизм — такова политическая проблема современной Германии.

Международный переполох

Германские выборы имели огромный международный резонанс. В Нью-Йорке понизились курсы облигаций размещенных в Германии займов; орган английских биржевиков, как мы видели выше, потерял после выборов веру в парламентаризм; французская буржуазная и социалистическая печать дружно завонила «караул»; военщина в Польше еще выше подняла голову.

Для переполоха в лагере мировой буржуазии было достаточно оснований. Заботливо воздвигаемое усилиями французской дипломатии здание Версальской Европы дало крен. В фундаменте этого здания сразу образовалась зияющая брешь — 12 миллионов немецких избирателей громогласно заявили, что они не намерены сносить тягости нищеты и лишений во славу плана Юнга. Ибо, каковы бы ни были истинные намерения лидеров германского фашизма, не подлежит сомнению, что подавшие за них голос 6 миллионов избирателей голосовали в первую очередь против версальского мирного договора.

Верный страж французского империализма, лидер французских социалистов Лесн Блюм забил тревогу. Еще 15 сентября утром, когда были известны только частичные итоги выборов, аншлак соц. газеты «Populaire» гласил: «Соци-

¹⁾ Настоящий очерк был написан еще до забастовки берлинских металлургов. Забастовка эта, возникшая на почве отказа металлургов согласиться на снижение своей зарплаты, показала, что основная задача буржуазии выполнять план Юнга за счет рабочих имеет свой центр тяжести вне стен рейхстага.

алистический пролетариат отбил атаку буржуазных партий». Но уже вечером того же дня «Populaire» вынужден был заявить, что «результаты выборов превосходят самые пессимистические ожидания. Победа Гитлера и серьезные успехи коммунистов дали элементам смуты положение, которого они еще никогда не имели в Германии. И если вспомнить, что как фашисты, так и коммунисты вели кампанию против внешней политики Штресемана, требуя пересмотра плана Юнга, то надо признать, что дело мира в Европе внушает самые серьезные опасения».

В том же тоне написаны и статьи других французских газет, посвященные германским выборам. «Temps» торжественно вещает, что в Германии после 14 сентября родилось нечто новое и призывает Европу к бдительности. А фашистский орган известного короля парфюмерии Коти «Ami du Peuple», войдя в воинственный раж, требует отставки «пацифиста» Бриана и возвращения к традициям твердой политики по отношению к Германии.

Итальянская фашистская печать, наоборот, единодушно приветствует результаты выборов 14 сентября как потому, что они ознаменовались успехом германских фашистов, так и вследствие их отрицательного влияния на проводимый французскими дипломатами курс «версализации» Европы. Крайняя фашистская газета «Tevere» злобно указывает, что выборы 14 сентября обойдутся Франции дороже потеренного сражения, а «солидный» миланский «Corriere della Sera» пишет без обиняков: «Решительные противники германской гегемонии в прошлом, мы в настоящее время полностью и вполне сознательно приветствуем возрождение Германии, которая будет способствовать поддержанию равновесия в Европе и сделает невозможным притязания на гегемонию со стороны других держав» («Corriere della Sera» 16 сент.).

Не прошло еще 12 лет со времени заключения версальского мира, который, казалось бы, навсегда покончил с довоенными группировками европейских держав, и уже все яснее вырисовываются контуры возрождения существовавшего до войны тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии.

Сближение между фашистской Италией и Венгрией адмирала Хорти имеет уже за собой давность нескольких лет, а в прошлом году положено начало и сближению с Австрией. Несмотря на преследование немецкого населения Тироля, отошедшего от Австрии к Италии по версальскому мирному договору, недавно вышедший в отставку австрийский премьер Шобер, поспешил заключить с Италией торго-

вый договор и нанести Муссолини визит, при чем свидание этих двух виднейших представителей мировой реакции носило, как выражаются буржуазные газеты, самый сердечный характер. Теперь, когда полуфашистское правительство Шобера уступило место откровенно фашистскому кабинету Вогужа, узы между Австрией и Италией станут еще более тесными.

Для полного восстановления Тройственного союза недостает только Германии. И в эту именно сторону направлены усилия итальянской дипломатии. Уже в своем — очень ловко с дипломатической точки зрения составленном — ответе на бриановский проект пан-Европы итальянское правительство в скрытой форме допускало пересмотр версальского мира в пользу Германии: «Необходимо уничтожить, — говорилось в итальянской ноте, — сохранившиеся еще различия между странами-победительницами и странами, побежденными в мировой войне, и способствовать созданию абсолютного равенства между всеми государствами». Эта постанова вопроса находится в прямом противоречии с версальским договором, в значительной степени ограничившим суверенные права Германии хотя бы в области организации ее вооруженных сил.

Было бы преждевременно говорить сейчас о восстановлении Тройственного союза, но не подлежит сомнению, что мы присутствуем сейчас при процессе перегруппировки европейских держав, перегруппировки, которая в значительной степени колеблет основания послеверсальской Европы. И когда буржуазная и социалистическая печать Франции восприняла вотум 14 сентября как удар по лелеваемой ею идее французской гегемонии, с своей шовинистической точки зрения она была права.

Пилсудский делает выборы

Само собой разумеется, что польские шовинисты еще с большей опаской относятся к росту антиверсальских настроений в Германии, чем их французские собратья. Ибо вопрос о пересмотре установленных в Версале польскогерманских границ поставлен не только крайними партиями Германии, но почти всеми политическими группировками Германии. Совершенно определенно высказался в этом смысле даже член правительства Брюнинга Тревиранус, речь которого вызвала оживленные комментарии как во французской, так и в польской прессе.

Под этим международным углом зрения многие склоны были рассматривать образование правительства Пилсудского, получившего тем самым официальное закрепление своих диктаторских полномочий, как ответ Польши на вы-

ступление Тревируса. Правильнее, однако, подходить к назначению Пилсудского с точки зрения внутреннего положения Польши.

Общезвестно, что Пилсудский в течение долгого времени держал на посту председателя совета министров всякого рода Бартелей и Славеков только потому, что он не желал соблюдать по отношению к сейму тех минимальных официальных отношений, которых требовало бы от него положение главы правительства. Отказ от этой тактики и официальное принятие Пилсудским правительственной власти знаменовали не склонность маршала примириться с сеймом, а наоборот — решение его раз навсегда покончить даже с видимостью польского парламентаризма.

Последующие события полностью подтвердили все предположения о бесславной кончине польской «демократической республики» и окончательном завершении процесса фашизации Речи Посполитой. Разгон сейма, аресты депутатов, принадлежащих к так называемой центр-левой оппозиции, бесцеремонные и исключительные по своей наглости интервью Пилсудского — все это не оставляло никаких сомнений насчет намерений бравого маршала идти по пути итальянского «дуче» и установить под своим руководством твердую фашистскую диктатуру в Польше.

То обстоятельство, что Пилсудский все же решил произвести новые выборы в сейм, не может рассматриваться как некоторая уступка Пилсудского парламентским традициям. Тактика польского диктатора сводится к попытке заставить умирающий польский парламентаризм произвести над собой хакари. Пилсудский рассчитывает при помощи всех мер правительственного давления получить целиком состоящий из его сторонников сейм, который сам вручил бы ему власть.

Перед читателями «Нового Мира» не приходится развешивать картину того жандармско-полицейского режима, который установлен в Польше Иосифом Пилсудским. Он вытащил из архива весь тот арсенал насилий, при помощи которых держал трудящихся Польши в цепях русский царизм, и прибавил к этому воздействие вооруженных отрядов всякого рода «стрельцов» и «легионеров», организованных по лучшим фашистским образцам.

Полицейскими насилиями не исчерпывается, однако, совокупность тех мер, при помощи которых доблестный маршал готовит вполне послушный ему сейм. Не малую роль в этой подготовке играют и финансово-экономические мероприятия. Хорошо известно, что уже во время избирательной кампании 1928 г. господа пилсудчики самым широким образом пользовались ресурсами государственной казны. В настоящее

же время правительство Пилсудского широко применяет метод экспортных премий на хлеб в целях приобретения симпатий аграрных кругов. Вопли о «советском демпинге» не мешают господам пилсудчикам устанавливать экспортную премию в размере (на 100 килограммов): 4 злотых — на ячмень, 6 злотых — на пшеницу и рожь, и 12 злотых — на муку. Выплата этих премий установлена до 31 октября, выборы назначены на ноябрь. Связь между ними ясна. Обойдется эта операция польской казне, по предварительным расчетам, в 50 миллионов злотых — сумма, которую диктатор считает возможным израсходовать на подкуп избирателей в целях создания сейма, готового добровольно подписать свой смертный приговор.

Если учесть, что наряду с этим Пилсудский тратит на цели вооружения огромные суммы, доходящие до 40 проц. польского бюджета, то не приходится удивляться тому, что наличность польского казначейства тает с каждым днем. На 10 августа 1929 г. текущий счет казначейства в польском банке составлял 255 миллионов злотых, на 31 дек. 1929 г. — 260 миллионов, а на 10 августа 1930 г. уже только 114 миллионов злотых.

Запас валюты в польских банках сократился с 500 миллионов злотых, насчитывавшихся в момент стабилизационного займа, до 217 миллионов в июле этого года. Впервые после стабилизации курс доллара по отношению к злотому стал расти, свидетельствуя тем самым о неблагополучии в польских финансах. То обстоятельство, что Пилсудский при образовании своего кабинета заговорил о том, что он даст министру финансов Матушевскому директиву самым жестоким образом резать сметы всех министерств (разумеется, кроме военного), показывает, что опасность инфляции сейчас ближе, чем когда-либо.

Параллельно с финансовым кризисом усиливается и кризис экономический. 300.000 безработных, сокращение производства во всех главнейших отраслях промышленности — текстильной промышленности на 40 проц. и в угольной промышленности — на 25 проц. по сравнению с 1929 г.), сокращение на 25—30 проц. оборотов внешней торговли, наконец, огромный недобор на железных дорогах — все это дает очень печальную картину хозяйственной жизни Польши под «просвещенным» управлением господ пилсудчиков.

Все эти обстоятельства, конечно, не будут способствовать росту популярности правительственных кандидатов на новых выборах. Политика экспортных премий является по отношению к развалу народного хозяйства Польши слишком слабым противовесом даже на момент выборов. Основным козырем

Пилсудского является поэтому только режим полицейского террора. Даст ли этот режим желательный для маршала эффект на выборах или же Пилсудскому придется разгонять и новый сейм, покажет ближайшее будущее.

Хозрасчет по-австрийски

Почти одновременно с Польшей закончился процесс фашизации и в Австрии. Правительство Шобера, знаменитого усмирителя июльского восстания венских рабочих, уступило место кабинету Вогуэна. Вместо почетного председателя полицейского интернационала во главе австрийского правительства стал председатель христианско-социалистической партии — он же вождь фашистских союзов «хеймвера». Для буржуазии полиция — этот «беспартийный» страж буржуазного порядка — уже недостаточен, ей необходимы «идеологически выдержанные» в фашистском духе вожди неприкрытой классовой буржуазной диктатуры.

Смене правительства предшествовала стычка между Шобером и Вогуэном, который занимал пост вице-председателя в кабинете Шобера. Поводом к стычке был вопрос о замещении поста управляющего железными дорогами Австрии, в связи с чем разыгрался крупный железнодорожный скандал, в высшей степени характерный для облика так называемой буржуазной демократии.

В 1923 г. австрийские железные дороги (государственные) получили автономное управление или — по нашей терминологии — были переведены на хозрасчет. Во главе железных дорог был поставлен один из виднейших предпринимателей старой Австро-Венгрии, д-р Гюнтер. В помощь ему была дана административная комиссия, в которой были представлены, с одной стороны, крупные специалисты из бывших чиновников Австро-Венгерской монархии, а с другой — лидеры с.-д. союза железнодорожников.

Благодаря повышению тарифов и общему подъему народного хозяйства Австрии финансовое положение дорог улучшилось, и железнодорожная выработка привела к уменьшению дефицита. Буржуазия не могла, однако, примириться с тем фактом, что союз железнодорожников принимал непосредственное участие в управлении дорогами, в особенности по вопросам найма и увольнения персонала, а также замещения видных административных постов. Особенно злостную кампанию против существовавших на дороге порядков повели конкуренты с.-д. союза, организации, примыкавшие к христианско-социалистической и пангерманской партиям. Не без некоторого основания они подняли шум против использования «хозрасчета» для установления огромных окладов администраторам и

выдачи значительных субсидий с.-д. союзу. На ряду с этим началась «патриотическая» шумиха против передачи некоторых заказов на рельсы за границу и т. п.

Под давлением христианско-социалистической партии, которая к тому времени приняла уже вполне определенную фашистскую окраску, д-р Гюнтер вынужден был подать в отставку. После некоторого переходного периода Вогуэн, который был уже вице-председателем кабинета Шобера, выступил на сцену и потребовал назначения директора, который сумел бы установить на дорогах твердый порядок, т.-е. уничтожить последние остатки влияния с.-д. союза железнодорожников. Была выдвинута кандидатура вице-бургомистра города Граца д-ра Штраффелла, который имел за собой следующие заслуги: во-первых, он обладал значительным личным состоянием, что дает, по мнению буржуазии, гарантию неподкупности, и, во-вторых, он доказал свою твердость энергичным подавлением забастовки трамвайщиков в Граце.

Шобер воспротивился кандидатуре Штраффелла, за которым либеральные круги отрицали какую-либо компетенцию в вопросах ж.-д. хозяйства. А социал-демократическая «Arbeiter Zeitung» выступила с обвинением Штраффелла в подкупности и спекуляции, указав в то же время, что кандидатура Штраффелла поддерживается христианскими социалистами для того, чтобы он финансировал их партию на выборах из секретных ж.-д. фондов. Это обвинение привлекло к себе всеобщее внимание, ибо представлялось совершенно непонятным, в каком порядке могут существовать секретные фонды у «хозрасчетного» управления железных дорог.

Штраффелла начал против «Arbeiter Zeitung» процесс с обвинением в клевете. В процессе выяснились очень любопытные вещи. Оказалось, что на железных дорогах существовали целых четыре вида секретных фондов, по которым было израсходовано до 4 миллионов шиллингов, при чем большая часть из них попала в карманы высших чиновников железных дорог. Бывший управляющий Гюнтер получил ко дню своего 60-летия «почетный подарок» в 60 тыс. шиллингов; его заместитель Фаст внес за счет этих фондов 300.000 шиллингов Жокей-клубу на устройство крупных призов на скачках, в которых должны были принимать участие лошади из конюшни Фаста; ряд других администраторов получили за счет тех же фондов крупные «награды». Выяснилось также, что Гюнтер и некоторые его соратники были владельцами угольных копей, получавших выгодные заказы на поставку угля для жел. дорог.

Штраффелла, который еще фактически не вступил в должность, оказался незамешанным в эти злоупотребления с секретными фонами, и редакция «Arbeiter Zeitung» была приговорена к штрафу в 5 тыс. шиллингов за ложное обвинение. Суд, однако, оправдал редакцию по обвинению Штраффелла в спекуляции, ибо признал доказанным участие последнего в «неблаговидных и нечестоплющих» (термин судебного приговора) спекулятивных закупках недвижимостей в период инфляции.

Моральная физиономия «спасителей отечества» как из либерального, так и из фашистского лагеря выяснилась на суде с достаточной ясностью. Это не отразилось, однако, на дальнейших успехах фашистов, взявших в свою руки власть. Связь Вогуэна с спекулянтном Штраффелла не помешала монархической организации выступить с следующим курьезным обращением к Вогуэну: «Карл Вогуэн, ты уже приступил к великой чистке! Карл Вогуэн, следуй по этому пути, не останавливаясь ни перед чем! Карл Вогуэн, ты единственный из членов правительства, который остается австрийцем! Карл Вогуэн, к тебе одному мы питаем доверие! Карл Вогуэн, вперед за диктатуру!»

Надо полагать, что Вогуэн выполнит этот завет. Чистка правящих кругов от всех остатков буржуазной демократии и фашизация правительственного аппарата будет проведена до конца. Об этом позаботится новый министр внутренних дел, сиятельный главнокомандующий отрядов хеймвера, князь Штаремберг. Он же подготовит новые выборы, назначенные на 9 ноября.

«Демпинг» и пан-Европа

Германские выборы и наступление фашизма в целом ряде стран (Австрия, Польша, Финляндия) несколько склонили в поле общественного внимания сессию Лиги Наций, на которой обсуждался мертворожденный проект Бриана о создании федерации европейских государств, в просторечии именуемой пан-Европой. После довольно резкого выступления Гендерсона на закрытом заседании европейских правительств и дипломатически сдержанного ответа его Бриану на открытом заседании Лиги Наций предложение Бриана было принято единогласно, но в такой форме, которая лишала его всякого практического содержания.

Принятая резолюция требует передачи французского предложения в комиссию Лиги Наций, которая обсудит его в «подходящий момент», когда позиция всех держав определится совершенно ясно. Уже одна эта сдача пан-Европы в комиссию Лиги Наций является по общему признанию

похоронами детища Бриана по первому разряду. Резолюция ни слова не говорит о федерации европейских государств, заменяя его растяжимым понятием «сотрудничества», а в соответствии с этим оставлены без внимания и предложения Франции о создании тех или иных организационных органов пан-Европы. И, наконец, самое главное — резолюция допускает привлечение к переговорам о сотрудничестве европейских держав, участниц Лиги Наций, также и не европейские государства и государства, не входящие в Лигу Наций.

Все эти оговорки сводят на-нет затею Бриана, направленную на то, чтобы добиться создания коалиции континентальных европейских держав (без СССР, который не входит в Лигу Наций, и без Англии, для которой связь с ее заокеанскими доминионами важнее связи с европейскими государствами) под главенством Франции. Пан-Европа, в которую могут вступить британские доминионы и Советский Союз (предположение гипотетическое, ибо на деле никакой склонности к пан-Европе никто в СССР, разумеется, не питает), — это пустое место, ради которого не стоит отнимать времени даже у такого неделового учреждения, как Лига Наций.

Паневропейские идеи, однако, дали себя чувствовать в женевской мировой говорильне, но в несколько иной плоскости. «Европейскую» точку зрения пробовали провести в экономической комиссии Лиги Наций наши ближайшие соседи: Польша и Румыния. Под предлогом борьбы с советским «демпингом» они пытались протащить в комиссии решения августовской варшавской аграрной конференции, основной задачей которой было, как известно, закрыть дорогу вывозу с.х. продуктов из СССР.

Выступления польско-румынских аграриев сопровождался шумовым оркестром части европейской печати, поднявшей поистине исторический вопль против советского экспорта. Кампания началась дружно, напоминая в этом отношении весеннюю кампанию по поводу «религиозных преследований» в СССР.

Под аршинными заголовками сообщения «Morning Post», что в Америке обеспокоены тем, что филиал Амторга запродавал в Чикаго партию русской пшеницы, и, хотя пшеницы этой в Соединенных Штатах еще никто не видал, но ею уже объясняли падение цен на хлебном рынке в Чикаго. «Times» и с его слов правые французские газеты сообщали о сотнях судов, заарестованных советским правительством для вывоза хлеба и леса. О советском «демпинге» завопил и лидер французских радикалов Эррио. Некоторые досужие

журналисты раскрыли даже дьявольский план Коминтерна посредством советского демпинга вызвать революцию в Европе: большевики задумали, мол, наводнить весь мир своими дешевыми товарами, создать там безработицу в промышленности и разорить сельское хозяйство и тем самым толкнуть голодающие массы трудящихся капиталистических стран на путь вооруженного восстания против капитализма.

Вся эта белиберда имела успех даже у некоторых министров, собравшихся в Женеве и обсуждавших в порядке закулисных переговоров вопрос о согласованном выступлении держав всего мира против советского «демпинга». Германская делегация вынуждена была даже выступить с официальным заявлением, что она к этим закулисным переговорам не причастна, подтвердив тем самым, что кое-кем из европейских дипломатов соответствующие шаги были предприняты.

Тем любопытнее, что даже прения в экономической комиссии Лиги Наций вскрыли полную вздорность криков о советском «демпинге» и заинтересованность в этой кампании только помещиков аграрных стран Европы: Польши, Румынии, Венгрии и Югославии. При содействии Франции аграрии этих стран пытались использовать и лозунг пан-Европы и крики о советском «демпинге» для того, чтобы обделить свои собственные делишки.

В экономической комиссии Лиги Наций представители этих государств пытались фуксом провести решения варшавской конференции о создании экономического европейского блока, смысл которого сводился к тому, что промышленные страны Европы должны открыть свои границы для исключительного ввоза с.х. продуктов из аграрных стран Европы, последние же в виде компенсации должны всячески содействовать ввозу промышленных товаров из европейских индустриальных стран.

Предложение это встретило бы единодушное одобрение участников экономической комиссии Лиги Наций, если бы оно было направлено только против ввоза советского хлеба. На деле же представители европейских аграриев попросту преследовали цель монополизировать за собою весь европейский хлебный рынок. Против этой претензии выступили представители Англии и Канады, подчеркнув, что варшавская конференция имела в виду борьбу не только против советского, но и против заокеанского хлеба. А поскольку польско-румынско-венгерско-югославские аграрии пытались добиться беспощадного ввоза во все европейские страны хлеба европейского происхождения, против этой претензии выступили даже представители Франции, проводя-

щие протекционистскую политику в области сельского хозяйства.

Попутно выяснилось, что в борьбе против советского «демпинга», в сущности, кроме аграриев четырех вышеупомянутых стран, экономически никто в Европе не заинтересован. Интересно отметить, что, по признанию издаваемого французскими предпринимателями бюллетеня прессы («Bulletin Quotidien» от 20 сентября), «за исключением ввоза льна, Франция не находится под угрозой советского демпинга, а Англия заинтересована лишь в борьбе против ввоза советской нефти». И это пишется именно в статье «Советский демпинг», посвященной раздуванию бед, грозящих капиталистическому миру от советского экспорта. Если прибавить к этому, что некоторое понижение цен на лен и нефть благодаря советскому экспорту на деле является благом, а не ущербом для огромного большинства населения Франции и Англии, если сопоставить с этим заявления австрийской прессы, что она непосредственно не заинтересована в вопросе о советском экспорте, а также заявления «Berliner Tageblatt», что для Германии участие в антидемпинговой кампании значило бы лишь таскать каштаны из огня для французских политиканов, то становится очевидной полная экономическая беспочвенность с точки зрения большинства капиталистических стран с таким треском поданной кампании против советского экспорта.

Для полноты картины следует привести также мнение бывшего президента САСШ Кулиджа, которого никто не может заподозрить в нежных чувствах к Советскому Союзу. Кулидж высмеял истерику спекулянтов чикагской хлебной биржи, заявив, что таможенные пошлины на хлеб в достаточной мере охраняют интересы американского земледелия и что смешно думать, будто Советы неизвестно ради чего будут торговать хлебом в явный себе убыток. Ту же точку зрения высказывает и итальянский торгово-промышленный орган «Il Sole» (см. № от 25 сентября), который в антисоветской по общему своему характеру статье подчеркивает, однако, вздорность предложения, что русские большевики будут разорять самих себя только для того, чтобы навредить капиталистам Европы и Америки.

Однако, тот факт, что у большинства капиталистических государств нет непосредственных экономических стимулов к борьбе против нашего вывоза, не означает, что Советскому Союзу не грозит в этом отношении никакой опасности. Ибо кампания польско-румынских аграриев встречает поддержку, во-первых, со стороны Франции, которая оказывает своим союзникам поддержку в их борьбе против нашего экс-

порта по мотивам политического характера, во-вторых, со стороны отдельных групп капиталистов в других странах, которым невыгодно появление на мировом рынке той или иной категории нашего экспорта, в-третьих, со стороны той буржуазной интеллигенции во всем мире, у которой всякая антисоветская шумиха имеет большой успех.

Британская имперская конференция

В Англии шумиху по поводу советского «демпинга» поднимала главным образом «Morning Post», вся остальная часть английской печати уделяла этому вопросу сравнительно мало места. Объясняется это тем, что общественное внимание как в консервативном, так и в либеральном и лебористском лагерях было направлено на имперскую конференцию, созыв которой был назначен на 1 октября.

Длительный застой в хозяйственном развитии Англии, еще обострившийся в момент мирового экономического кризиса, создал в очень широких слоях как буржуазии, так и отсталых слоев рабочего класса настроение полной безысходности. Рабочая партия показала полную свою неспособность справиться с бичом безработицы, но ее провал мало усилил позицию противников правительств из консервативной партии и критиков из рядов либеральной партии. Ибо и конкурирующие с лебористами партии, и широкие массы избирателей отдавали себе отчет в том, что замена Макдональда Ллойд-Джорджем или Болдуином не приведет к выходу из создавшегося тупика.

Банкротство традиционных политических направлений само по себе породило тягу к поиску новых путей, заманчивых хотя бы уже потому, что они еще не испробованы на практике. В кругах передовых рабочих это настроение выразилось в усилении влияния коммунистических идей, в буржуазных кругах оно создавало почву для проводившейся лордами Ротермиром и Бивербруком кампании в пользу превращения Британской империи в единый экономический союз без всяких таможенных перегородок между Англией и всеми другими частями империи, но с протекционистским забором, отделяющим империю от всего остального мира.

Идея казалась привлекательной именно потому, что она порывала с вековыми традициями свободной торговли в Англии и тенденциями доминионов отгородиться при помощи таможенных пошлин от ввоза как из Англии, так и из других стран тех товаров, которые могут производиться в самих доминионах. Существующая система экономических взаимоотношений Англии с доминионами и с другими странами при-

ведет к застою английского капитализма и огромной безработице: быть может, радикальное изменение этой системы даст облегчение,—в этом направлении работала мысль так называемого «среднего англичанина».

В апрельской книге «Нового Мира» нам приходилось уже говорить об основных слабостях идеи, развиваемой лордом Ротермиром. Они сводятся, во-первых, к решительному нежеланию доминионов отказаться от защиты своей промышленности против наплыва английских товаров, и, во-вторых, к малой популярности в массах идеи таможенного обложения с. х. товаров, ибо это повело бы к удорожанию стоимости жизни.

Коренное значение имело первое возражение, ибо как бы ни были настроены английские избиратели, все равно отмена всяких таможенных барьеров между Англией и другими частями Британской империи никогда не была бы принята доминионами, которые скорее отделились бы от империи, чем пошли бы в этом вопросе на уступки. Этот пункт программы Ротермира был попросту плодом фантазии газетного лорда.

И тем не менее кампания Ротермира и его соратника лорда Бивербрука оказала огромное влияние на так называемое общественное мнение Англии. Это влияние сказалось в двух направлениях: в усилении внимания к вопросу об оживлении экономических связей между всеми частями Британской империи — хотя бы и не в такой форме, как это предлагал лорд Ротермир,—и в росте протекционистских настроений как в рядах значительной части рабочей партии, так и в рядах либералов, несмотря на то, что свободная торговля являлась традиционной основой программы либеральной партии.

Не останавливаясь на выступлениях отдельных либералов, отметим, что на состоявшемся в конце августа совещании Макдональда с Ллойд-Джорджем очень внимательно обсуждался выдвинутый известным либеральным экономистом Губертом Гендерсоном (не смешивать с членом раб. партии, мин. ин. дел Артуром Гендерсоном) проект установления 10-процентной пошлины на все ввозимые в Англию товары, что должно было, во-первых, дать бюджету 80 млн. фунтов стерлингов в год (покрывая тем самым расходы бюджета на пособия безработным) и, во-вторых, защитить некоторые отрасли английской промышленности от иностранной конкуренции на английском внутреннем рынке.

Переговоры эти тогда не увенчались соглашением между рабочей партией и либералами, но самые слухи о предстоящей реформе вызвали временное оживление на бирже. Для настроения

коммерческих кругов, среди которых либеральные фритредерские идеи раньше пользовались преобладающим влиянием, этот факт имеет в высшей степени показательное значение.

Не менее значительным в этом отношении событием является позиция, занятая генеральным советом трэд-юнионов и состоявшимся в сентябре конгрессом трэд-юнионов, на котором была принята резолюция о необходимости найти пути к усилению экономических связей Англии с доминионами.

И, наконец, накануне самой конференции генеральный совет трэд-юнионов представил совместно с федерацией британских предпринимателей меморандум правительству, в котором указал, что конференция должна «поставить экономическую жизнь Британского союза наций на здоровую и прочную основу». В этих целях представители трэд-юнионов и предпринимателей выдвинули на первый план необходимость создать постоянно действующий механизм для экономического сотрудничества различных частей Союза. Этот механизм должен функционировать в виде имперских экономических конференций и постоянного имперского экономического секретариата, который должен наблюдать за выполнением решений конференций и способствовать осуществлению тех общих задач, по которым достигнуто полное согласие со всеми доминионами.

Меморандум составлен в очень осторожных выражениях, он не предпринимает вопроса о тех финансово-экономических путях, при помощи которых может быть укреплено хозяйственное сотрудничество империи, но общая тенденция его достаточно ясна.

Само собой разумеется, что правительство Макдональда должно было подготовиться к конференции хотя бы некоторый остов общемперской системы экономических мероприятий, ибо одна декларация об экономическом сотрудничестве Англии и доминионов никого бы не удовлетворила. С конкретными предложениями выступили и отдельные политические деятели и группировки.

Центральное место среди возможных правительственных мероприятий занимал вопрос о регулировании хлебной торговли. Дело в том, что компенсировать доминионы за льготы для британских товаров Англии может лишь путем создания привилегированного положения на английском рынке для ввозимого из доминионов хлеба и других с.-х. товаров. Практически это достигается либо путем введения ввозных пошлин на хлеб с значительной скидкой для доминионов, либо таким регулированием импорта, которое обеспе-

чило бы за доминионами определенный контингент на английском рынке.

Выработанный лебористским правительством проект заключался в создании правительственного бюро по импорту хлеба, которое обладало бы достаточными полномочиями, чтобы защитить интересы английского и имперского сельского хозяйства от иностранной конкуренции. В противовес правительственному законопроекту, который, по мнению «Times», носит «чисто социалистический» характер, ибо расширяет прав государства в деле регулирования хлебной торговли, мукомольного дела и хлебопечения, консерватор Рэглс-Брис выдвинул свой проект, получивший поддержку «Times».

Суть этого проекта заключается в введении обязательной квоты хлеба (в зерне) английского и имперского происхождения, допускаемого к обмолоту на английских мельницах. Квота а также цены на хлеб должны устанавливаться ежегодно после выяснения сбора урожая, при чем для ближайшего периода квота английского хлеба должна быть установлена в 15% проц., с доведением ее через несколько лет до 25 проц., а для имперского хлеба квота должна постепенно повышаться с 45 проц. для настоящего года до 66 проц. в будущем. Таким образом, ввоз хлеба в зерне через несколько лет не должен превышать 10 проц. Что касается ввоза муки, то консерваторы предлагают совершенно запретить ввоз муки из других стран и ограничить ввоз муки из империи для того, чтобы дать надлежащую нагрузку английской мукомольной промышленности. В области политики цен на хлеб основная мысль проекта состоит в том, что английский фермер должен получать гарантированную цену на хлеб (выше цен мирового рынка), мукомол же будет платить ему по ценам мирового рынка, — разница будет возмещаться государством.

В настоящее время обороты торговли Англии с доминионами (по импорту и экспорту вместе) составляют 445 миллионов фунтов, а с европейскими странами — 682 млн. фун. Торговля с Европой, таким образом, в 1½ раза превышает обороты имперской торговли, что заставляет правительство Макдональда осторожно подходить ко всем предложениям, могущим подорвать англо-европейские торговые сношения. С другой стороны, консерваторы указывают, что торговля с доминионами растет быстрее внешней торговли с Англией и потому именно в сторону доминионов должна быть направлена торговая политика Англии. Как разрешит эту дилемму правительство Макдональда — покажет ближайшее будущее.

Литература и искусство

1. Ю. ДАНИЛИН. Литературная богема в эпоху французского романтизма. — 2. И. СЕРГИЕВСКИЙ. Под надежным прикрытием. — 3. К. ЛОКС. Литературные опыты Толстого.

1. ЛИТЕРАТУРНАЯ БОГЕМА В ЭПОХУ ФРАНЦУЗСКОГО РОМАНТИЗМА

Ю. Данилин

I

Некоторые события нашей литературной действительности сосредоточили одно время внимание советского общества на вопросе о богеме. И тут оказалось, что в сущности никому неизвестно, что же такое представляет собою литературная богема, какова её история, каковы тенденции ее исторического пути.

Литературно-социальное явление, известное под именем литературной богемы, теснейшими и кровными узами связано с индивидуалистическим общественным строем, обращено всею спецификой его социально-экономических условий и миропонимания. Литературная богема, какой мы ее знаем в XIX веке, не представляла собою в целом положительного социального явления. В наши дни литературная богема, объективно вызываемая к жизни противоречиями переходной эпохи, является бесспорно отрицательным социальным фактом.

Литературной молодежи всех эпох, часто увлекающейся, часто падкой на все внешне яркое, кажется, что богема — это прежде всего интересные, солнечные, привлекательные люди, бесконечная галерея изобретательных, безобидных и забавных весельчаков, страстных и преданных вассалов искусства, неумолимых пилигримов в идеальную страну Прекрасного, трогательных своей аскетической отреченностью, своим благородным презрением к погоне за материальными благами.

Нет более горшей ошибки, чем такое романтическое представление о богеме. Напряженно, настойчиво, страстно нужно разрушать эту сладкую и лживую легенду! Когда в 40-х гг. забытому ныне французскому писателю Шанфлери, одному из отцов реализма, некий критик предложил титул «короля богемы», Шанфлери поспешил резко отклонить эту честь. Не только потому, что слова «литературная богема» ассо-

цировались для него с «ленью, невежественностью и сомнительной нравственностью», но и по другой причине: — Эти два слова, — писал он, — кажутся полными юности, солнца и беззаботности, но они таят ужасную старость, вечно омраченные дни и больницу.

Печальные слова Шанфлери характеризуют ту жизнь, которую обречены вести постоянные элементы богемы, попавшие сюда поневоле, в силу давления неблагоприятных социально-экономических причин, или же опустившиеся, развращенные анархической жизнью богемы, паразитствующие, вставшие в алкоголизм. В отношении этих вот представителей богемы, обреченных жить в ее адовом кругу, неустойчивых, слабовольных, поддающихся соблазнам лести и нищего самохвальства, — нельзя испытывать ничего, кроме жалости и сострадания. Они не виноваты: надо устранить те объективные условия, которые погрязают их в богеме.

Мы останавливаемся на литературной богеме эпохи французского романтизма отчасти из желания напомнить вообще о французском романтизме, столетие которого, почти неотмеченное в нашей печати, был условно приурочено французскими литературоведами в 1927 году

* * *

Если явление, называемое литературной богемой, приобрело особенно отчетливо-видимый, массовый характер в XIX веке, то известно, что и в предшествующие эпохи французской литературы, начиная со средних веков, сплошь и рядом встречаются фигуры отдельных богемствующих поэтов, при чем вполне возможно, что эти поэты могли быть центрами некоторых кружков, роль и деятельность которых забыты.

Замечательно, что и в XIX веке история французской литературной богемы, кажется, не представляет собою пря-

мой линии: скорее это линия с разрывами. Впервые литературная богема возникает в 30-х гг. (примерно между 1833—38 гг.), затем в эпоху боев за реализм, около 1843 года (тоже в промежутке 5—6 лет вокруг этой даты), в эпоху символизма (конец 70-х и начало 80-х годов), в конце 90-х и начала 900-х годов и т. д. Эти отчетливо замечаемые узлы должны определять путь исследователя, так как они с несомненностью свидетельствуют о наличии каких-то особенно благоприятных предпосылок для расцвета богемы в указанные периоды. Последовательный анализ этих периодов позволит, в конце концов, подняться до решения общих вопросов, связанных с происхождением и сущностью богемы, затрагивать которые теперь, при неизученности последней, было бы преждевременным.

Приступая к анализу литературной богемы французского романтизма, следует поставить вопрос, почему эта богема, как массовое явление, возникла именно в 30-е гг., а не раньше? Ведь романтическая школа сформировалась уже в 20-х гг., если говорить только о писателях второго поколения и не иметь в виду стариков, как Шатобриан, Сталь, Нодье.

В 20-х годах было два крупнейших литературных центра: сенакль Нодье, где собирались все партизаны монархического и католического романтизма, и кружок Виолле-ле-Дюка, где Мериме, Стендаль, Вите и другие писатели пытались создать струю республиканско-буржуазного и атеистического романтизма. Литературная молодежь тяготела главным образом к знаменитому сенаклю, где в ту пору, в эпоху Реставрации, существовало некоторое недолгое, впрочем, единение дворянских и буржуазных писателей и где царила чинная салонная атмосфера. Говорить о богеме 20-х гг. почти не приходится: тут мы найдем только одиночек, в роде Эмбер-Галлуа, умершего в 1828 году, или Жоржа Фарси, убитого на баррикадах июльской революции.

После этой революции происходит резкая дифференциация писательской массы. Дворянские писатели, «огорченные позицией некоторых своих литературных друзей», как говорит биограф Россегье, порывают прежние дружеские связи с буржуазными писателями и образуют разрозненную, но обособленную группу (Шатобриан, Виньи, Россегье, Ламартин, Арленкур, Жюль де Сен-Феликс). Сенакль пустеет и превращается в объединение одних буржуазных писателей (Гюго, Дюма, Сент-Бев, братья Дешан и мн. др.). В свою очередь образуется несколько новых литературных объединений: аристократическая группа «золотой молодежи» (Мюссе, Альфред Таттэ, Феликс Арвер, Уль-

рик Гуттингер, Анри Терно), группа республикански настроенных мелкобуржуазных писателей, называвшихся «бузенго» (Петрюс Борель, Филоте С'Недди, Огюстус Мак-Кит, Лассайльи, Эскирос, Бушарди), кружок улицы Дуайенне (Теофиль Готье, Жерар де Нерваль, Арсен Уссей, Бовуар, Урлиак) и кружок улицы Бо з'Ар (Beaux Arts), в который входили Вейра, Берто и Эжизип Моро. Два последних кружка и промежуточная группа бузенго подлежат нашему рассмотрению.

Эпоха Реставрации (1815—1830) сдвинула французское общество железными обручами философской и политической реакции. В эту эпоху, когда философы защищали рабство и неравенство как естественный порядок вещей, когда идеальным государственным строем считался теократический строй, когда восславлялся палач, как сосуд «божественной мудрости», когда, наконец было признано, что брак должен быть основан на подчинении жены мужу, а семья на беспрекословном повиновении детей родителям, в эту подозрительную эпоху, когда расстреливали не только маршалов Наполеона, но даже солдат Великой армии, — в эту эпоху свободолобивая и разгульная литературная богема могла бы только быть объектом всевозможных репрессий.

Между тем для нее уже давно существовали многочисленные предпосылки. Вот что пишет по этому поводу А. В. Луначарский: «В начале XIX века резко заметным сделался в Париже и в других больших центрах Франции особый слой населения, представлявший собою беднейшую часть интеллигенции. Быстрое падение ремесла, разорение феодального общества вызывали тягу детей ремесленников, иногда и более или менее зажиточных крестьян, в город для получения образования, как основы заработка и карьеры. Некоторые из таких молодых людей попадали в высшие учебные заведения всякого типа, в том числе и художественные, другие оставались за порогом школы, но все были однако снedaемы желанием, приобретая необходимые знания и умения, достигнуть богатства и славы».

Таким образом, с самого начала XIX века, если не раньше, имелись в наличии значительные кадры рекрутов богемы. Потенциально богема уже существовала, хотя ей приходилось еще только томиться под колпаком реакции и выжидать какой-то перестройки социальных отношений, каких-то новых предпосылок, чтобы, наконец, занять свое место в обществе. Основную из этих предпосылок явилась июльская революция и принесенный ею воздух свободы. Но за июльской революцией последовала новая реакция, и парижанам недолго пришлось дышать этим опасным возду-

хом. Однако, как ни был краток этот период, начиненный динамитом восстаний, заговоров, социальных учений, он был значителен по своему общественному резонансу. В эти бурные годы и появилась на свет романтическая литературная богема.

В дальнейшем мы уточним анализ ее социальных предпосылок, ибо следать это можно лишь после озакомления с тем, что представляла собою романтическая литературная богема и в каком соотношении находились между собою ее различные группы. Теперь же следует остановиться на некоторых деталях, необходимых для понимания этой богемы. Общеизвестно, какую пылкую ненависть испытывали романтики к буржуа, к человеку, «поклоняющемуся только пятифранковой монете, не имеющему другого идеала кроме сохранения своей шкуры, и любящего в поэзии сентиментальный роман, а в пластических искусствах — литографию» (Т. де Банвиль). Плеханов доказал, что эта ненависть была чисто эмоциональный и отнюдь не угрожала самому существованию буржуазного строя, но что же все-таки побуждало романтиков к их яростным нападениям на «зобастых кретиннов»?

С одной стороны, большую роль играет здесь гипертрофированное представление романтиков о поэте и его назначении¹⁾. Еще в своих «Одах и Балладах» Гюго указывал, что на «высоком челе» поэта «сияет отблеск божества», что земное назначение поэта — это путь пророка. Виньи говорит в своем «Чаттертоне», что поэт «послан в мир читать по звездам путь, начертанный перстами господа». Когда поэт Берто, обвиняемый в «потрясении государственных основ», предстал 25 марта 1833 года перед лионским трибуналом, он поверг своих судей в полную ошеломленность, сообщив им с пафосом, что «поэт является неотъемлемным орудием небесного внушения», после чего растерявшиеся судьи поспешили его оправдать.

Это преувеличенное представление о задачах поэта, вообще свойственное богеме и особенно ярко расцветшее в ту чувствительную эпоху, неминуемо и самым резким образом должно было наталкиваться на контрасты окружающей действительности, на вульгарный материализм польских лавочников, с такой готовностью следовавших любезному призыву министра Гизо: «обогащайтесь, господа!» И в то время как ненавистные «буржуа» обо-

гашались, романтические поэты, за исключением, может быть, такого дельца, как Виктор Гюго, должны были владеть самым невзрачным существованием. Конечно, они тоже желали обогащаться, но отнюдь не в торговле и не в министерских канцеляриях. Между тем в литературе сидели те же самые буржуа. Издатель Рендюэль купил у голодавшего Петрусса Бореля его двухтомный роман «Мадам Пютифар» за 200 франков, при чем и из этих денег уплатил только половину. Он издал «Молодую Францию» Теофиля Готье, но совсем не заплатил поэту. Наконец, Рендюэль приобрел всего за 1.500 франков двухтомный роман Готье «Мадмуазель Молен». Столь же плачевно оплачивалось или вовсе не оплачивалось сотрудничество в журналах.

Наконец, положение усугублялось «переизбытком поэтов» и, следовательно, общей их бедностью, что охотно подчеркивают некоторые исследователи романтизма. Факт не слишком решающий — в какую эпоху не ощущалось подобного же «переизбытка»? Однако, совсем уж неправы те же исследователи, например, Анри Ларданше, когда они обвиняют Гюго и Дюма в том, что последние расплодили богему, пылко зазывая в Париж всех провинциальных поэтов и оставляя затем их без помощи на парижской мостовой. Да, Гюго и Дюма щедро раздарили направо и налево малообоснованные похвалы и туманные, заманчивые обещания. Но в том энтузиазме, которым были охвачены оба эти романтика, слишком явно чувствуется восторг победившей буржуазии. Эти энтузиасты не при чем. Богема сложилась естественным ходом вещей, и основные кадры свои она почерпнула как среди буржуазной молодежи, так и в рядах тех детей ремесленников, тех крестьянских детей, которые давно уже начали стекаться в Париж за славой и богатством и, может быть, подобно молодому Бальзаку, имели в своих мансардах такую же статуэтку Наполеона с гордой надписью: «То, что он начал шпагой, я закончу пером».

Что же представляла собою эта богема?

II

В первом томе своих «Признаний» Арсен Уссей с немалым удовольствием рассказывает о той богемной жизни, которую вели в 30-х годах он и его друзья — Теофиль Готье, Жерар де Нерваль и художник Камилл Рोजье.

Все четверо проживали в улице Дуайенне, являясь центром некоего кружка богемы, который посещали Урлиак, Бовуар, Нестор Рокплан, Гаварни и к которому временно и в некоторых отношениях тяготели пред-

¹⁾ Любопытно указать отзыв Бодлера: «Нам известны эти теории, посеивающие лени, которые, основанные единственно на метафорах, позволяют поэту, рассматривать себя как болтливого, легкомысленную, безответственную и неприкосновенную птичку, переносящую свое местопребывание с одной ветки на другую».

ставители группы бузенго — Петрус Борель, Лассайли и другие.

Богема улицы Дуайенне называла себя «bohème galante». Пьер Мартино, признавая всю правильность такого определения, полагает, что эта богема могла бы называться и «bohème dorée», «золотой богемой». Ведь названные четыре друга были, что называется, «отпрысками порядочных семейств»: Теофиль Готье происходил из почтенной семьи консервативных провинциальных буржуа; Арсен Уссэй не без кокетства упоминает, что историк Эжень де Стадлер называл его маркизом де Тришато, «потому что он нашел в архивах пергаменты моей семьи»; Жерар Лабрюни, преобразивший себя в Жерара де Нерваля, сын лекаря наполеоновской армии, не мог похвастаться такими пергаментами, но он, вечный визионер, полусерьезно считал себя сыном Наполеона. Семьи Готье и Лабрюни также проживали в Париже, но Готье жил отдельно, потому что не решался вызывать оторопь в своем патриархальном семействе, вводя туда длинноволосых и шумливых друзей, а Жерар де Нерваль поссорился со своим официальным родителем, который швырнул в огонь первые стихотворные опысы своего сына и имел неосторожность дурно отозваться о поэтах.

Из всех четверых юношей регулярный заработок имел один Рожье, иллюстратор Гофмана. Жерар де Нерваль проматывал 30.000 франков полученного им наследства. Готье зарабатывал якобы только 25 франков в месяц за статьи, помещавшиеся в «Литературной Франции»; он писал также и в «Воре», но этот журнал, оправдывая свое наименование, ограничивался высылкой авторского экземпляра. Нельзя не признаться, что пылкие излияния Арсена Уссэй насчет того, как мучительно голодал Готье, не внушают доверия, и тот случай, когда в одно прекрасное утро к Готье явилась его мать с радостным подарком в виде двух котлет и бутылки бульона, — этот случай запомнился бытописателю золотой богемы, конечно, только потому, что это был единичный и необыкновенный факт.

Действительно, как примирить с этими сентиментальными котлетами то обстоятельство, что Теофиль Готье держал чопорного лакея, что члены богемы улицы Дуайенне без конца устраивали поэтические собрания, изысканные обеды, костюмированные балы и так называемые «оргии», «сумасшедшие, растрепанные, завывающие» романтические оргии, где принято было загробным голосом рассказывать страшные истории, пока на столе в черепашьим огнем пылал пунш? Кроме того, Готье и его друзья

любили одеваться. Если в обычное время Готье эпатировал буржуа только тем, что появлялся в рединготе с бранденбурами, а дома принимал посетителей, сидя по-турецки на ковре, куря трубку и облачившись в фантастические восточные одежды, то на премьере «Эрнани» он блистал в совершенно умопомрачительном костюме: красный жилет, светло-зеленые, цвета воды, брюки, обшитые по швам шнурами из черного бархата, черный сюртук с широкими бархатными отворотами и широкое серое пальто на зеленой шелковой подкладке.

Другие представители золотой богемы тоже любили одеваться. Бовуар, Гаварни, Уссэй и Альберик Секон отличались от других романтиков тем, что их платье было всегда шито по последнему крику моды. «Мы полагали, что можно быть добрыми романтиками, одеваясь в то же время, как одеваются все» — писал Уссэй. Но, справедливости ради, он отмечал, что «абракадабры романтики смеялись над нами и называли нас мюскаденами¹⁾». В свою очередь, Жерар де Нерваль одевался под Вертера («он любил, — замечает Готье, — нежные гаммы, тонкие оттенки и жемчужные тона, свойственные прошлому веку»), Урлик сшил себе сапоги а ля Суворов, Камилл Рожье шеболял в ботфортах и в костюме алого бархата, Бовуар появлялся на маскарадах в подлинных латах рыцаря XIV века, даже у Петруса Бореля, в его лучшие дни, хватало денег на перчатки цвета королевской крови и на революционный жилет а ля Марат. Аристид Мари, автор труда о Нервале, так характеризует богему улицы Дуайенне: «Вопрос о хлебе насущном никогда не принимал здесь серьезного оборота, носить же бедную одежду было положительно запрещено... Здесь пренебрегали деньгами, но нуждались в них редко».

Таким образом, все или почти все представители золотой богемы должны были иметь нелитературные доходы для той жизни, которую они вели. Семьи поддерживали их не одними котлетами, и в этом сомневаться не приходится. И в конце 30 гг., когда богема улицы Дуайенне прекратила свое существование, бывшие путешественники по богеме стали вести чисто буржуазный — и не всегда только по внешности — образ жизни.

«Мы были похожи на дилетантов, более занятых жизненными авантюрами, чем авантюрами мысли, — пишет Уссэй, — но в сущности мы были

1) Мюскаденами называли в 1793 году франтов-роялистов. Золотая богема получала эту кличку, очевидно, также потому, что многие члены этой богемы исповедывали монархические убеждения. Под именем «абракадабры романтиков» Уссэй разумеет, по-видимому, поэтов бузенго.

прилежны, настойчивы, решительны, в литературе мы все обладали неоценимой добродетелью, — мы желали писать, сообразуясь лишь со своим вдохновением». Но, как всегда бывает в воспоминаниях представителя богемы, через несколько страниц Уссэй отметит, что «лень и поэзия — это родные сестры». Рассеянная жизнь друзей, наполнявшаяся волокиством, дурачествами, посещением театров, бесконечной толкотней посетителей, вряд ли способствовала продуктивности их творчества, хотя они регулярно садились за работу в 7—8 часов утра.

Чем же дышали представители золотой богемы? Что составляло их символ веры, идейную пищу их творчества? Тут мы, по видимости, встречаемся с подтверждением популярного обывательского мнения о том, что богеме всегда свойственна политическая оппозиционность, — мнения, основанного единственно на неумении разобратся во внутренних группировках богемы.

«Наиболее характерным для нашей богемы, — пишет Уссэй, — было наше открытое возмущение против всех предрассудков, я почти сказал бы — против всех законов». Слова сильные. Однако, при ближайшем рассмотрении оказывается, что это «открытое возмущение» было не более как безобидным желанием эпатировать буржуа. Сам Уссэй признается, что вся их жизнь состояла «из строгой любви к искусству и веселой беззаботности любовных наслаждений». При чем же тут «возмущение»? Оказывается, они «насмехались над всем». Над чем же? Уж не над религией ли? О нет, нет! Уссэй нравоучительно рассказывает об «обращении» Эдуарда Урлика и заставляет эту заблудшую овцу пылко каяться в антирелигиозном грехе его юности — в сочинении вольнодумного романа «Архиепископ и протестантка». В свою очередь, если Готье и острил порою насчет небес, это не мешало ему носить на груди какую-то богобоязненную медальку с изображением святой девы. Может быть, они вели те или иные «политические разговоры»? То же нет: можно ли! Уссэй признается, правда, что у него были когда-то «свои четверть часа революционного безумия», закрепленные в ямбах, но затем он, как добрый француз, бросил эти ямбы в огонь, где они пылали, «в виде воспоминания об ужасном дурачестве». Правда, Урлик в припадке озорства явился однажды, сопровождаемый толпой лоботрясов, распевать марсельезу под балконом Тюильрийского дворца, желая, чтобы Луи Филипп вышел на балкон и подтянул. Но этого «короля-гражданина» не раз заставляли так подпевать, и Уссэй

рассказывает о выходе Урлика без осуждения: в конце концов, кто принимал всерьез королевскую персону Луи-Филиппа, кто не издевался над этим королем-буржуа, лицо которого юмористические журналы с такой охотой превращали в грушу? Смеяться над Луи-Филиппом — это еще не была «политика». Под балконом Карла X Урлик не затянул бы свою марсельезу.

Картина еще более уяснится, если мы остановимся на двух знаменитых красных жилетах Теофиля Готье и Петрюса Бореля (третий красный жилет той эпохи принадлежал скульптору Жану Дюсенбёру, в ателье которого собирались бузено). Вот как характеризует цвет своего жилета Теофиль Готье и вот что он пренебрежительно говорит о Петрюсе, не называя по имени этого романтика-республиканца: «Чтобы избежать отвратительного красного цвета 93 года, мы допустили в тоне нашего жилета некоторый оттенок пурпура, потому что мы не желали, чтобы нам приписывали какое-нибудь политическое намерение. Мы не были дилетантами относительно Сен-Жюста и Максимилиана Робеспьера, как некоторые из наших товарищей, которые в поэзии строили из себя монтаньяров». Если вспомнить, что жилет Петрюса Бореля назывался жилетом а ля Марат, что на портрете, написанном Луи Буланже, Петрюс изображен в сюртуке а ля Робеспьер, что, наконец, Петрюс был горячий поклонник Сен-Жюста, становится очевидным, что перед нами представители двух совсем не сходных группировок богемы, из которых богемному кружку Теофиля Готье, богеме улицы Дуайенне, был свойственен совершенно очевидный политический и общественный консерватизм.

Все «возмущение» богемы улицы Дуайенне заключалось только в возгласе Теофиля Готье: «Я охотно отдал бы свои права французского гражданина, чтобы увидеть, как Джулия Гризи выходит из ванны!» Подлинный нерв жизни золотой богемы и составляла эта жажда любви и женщин. «Возмущение против предрассудков» проявлялось только в этой области. Если же прибавить сюда те дурачества, которыми золотая богема стремилась эпатировать буржуа, — круг ее существования определится почти полностью.

Перейдем к этим дурачкам. Однажды четыре друга узнали, что несколько важных провинциальных буржуа, страдаемые нездоровым любопытством, собираются посетить их непотребное жилище. Друзья пригласили трех знакомых натурщиц и составили из них античную группу граций, обильно налудрив их с головы до пят и умоляя хранить, по возможности, са-

мую мраморную неподвижность. Торжественное появление степенных буржуа. Комедия была разыграна так удачно, что посетители долгое время не могли заметить, какие это грации перед ними. Затем один из гостей начал присматриваться к ним с интересом, за ним другой, третий. Наконец, они открыли обман и оскорбленно схватились за шляпы. Кое-как их удалось удержать, но они долго еще не могли успокоиться и укоряли хозяев. «Как это вы можете играть в такие игры!»

Любовь невозбранно царил в кружке улицы Дуайенне. Камилл Рожье обзавелся голубоглазой Сидализ, в которую не замедлил пылко и мрачно влюбиться Теофиль Готье. Весельчак Рожье не возражал бы, если бы Тео захотел примкнуть к их счастью на правах итальянского чичисбея, но Готье, трагически драпировавшийся в плащ капитана Фракасса, ни с кем не желал делиться; впрочем, брака Готье тоже не признавал: однажды ему пришлось даже драться на дуэли с братом некоей «дочери порядочного семейства», которую Готье похитил, помог ей произвести на свет ребенка и после этого покинул ее, заявляя, что брак есть мещанство. Жерар де Нерваль влюбился в артистку Женни Колон, но имел якобы несчастье разбить принадлежавший ей сервиз севрского фарфора, подарок герцога д'Орлеан. «Что такое герцог д'Орлеан? Я сын Наполеона и подарю вам императорский сервиз!» — пытался он утешить артистку, но последняя настолько возненавидела его, что в конце концов, — если верить рассказчику этой истории, злоязычному Уссэю, — Жерар де Нерваль представил в Академию моральных и политических наук на предмет соискания премии трактат, озаглавленный: «О влиянии севрского фарфора на гений поэтов». Впрочем, Жерар де Нерваль утешался, как мог, и, вечно охваченный химерическими планами, объявил однажды, что уезжает в Грецию с высокой и поэтической целью «восстановить алтарь великих богов и снова собрать их на Олимпе», — для какой цели он уже занял по сто франков у двух своих друзей. Кроме того, Жерар имел в виду свергнуть греческого короля, захватить власть в Афинах и вскопать вдоль и поперек «священную землю» Греции в поисках памятников ее античного искусства. Наконец, у поэта была смутная надежда, что он сможет чеканить и собственную монету. Великолепное предприятие провалилось по той простой причине, что страсть Жерара к путешествиям часто увлекала его, как уверяет Уссэй, и на этот раз якобы увлекла к непредвиденной поездке на остров Цитеры, где он и растратил свои двести

франков, собранные было для столь великой цели.

Итак, к чертам большей или меньшей материальной обеспеченности, политического и общественного консерватизма, характеризующим богему улицы Дуайенне, прибавляются такие черты, как жадное наслаждение жизнью, сказывающееся в обильных любовных похождениях, в беззаботных забавах, в шумных и веселых гурманских пирושках, в роскоши костюмов, в разгуле фантастических замыслов. Эротическая струя была здесь сильнейшей. Арсен Уссэй и Нерваль скупали в эту пору за бесценок, за 25—30 франков, полотна Ватто, Фрагонара, Буше и украшали ими свою квартиру. Теофиль Готье расписывал стены своего салона изображениями нагих женщин, представленных в таком изобилии, что домовладелец, зашедший однажды к нему, осенил себя в испуге крестным знаменем. «Что вы делаете?» — воскликнул он потрясенно. «Мы сообщаем бессмертие вашему салону» — величественно отвечал Теофиль Готье «Сударь, вы бесчестите мой дом!» — завопил хозяин и покинул поле битвы, угрожая полицейским комиссаром.

Эротическая струя всего ярче сказалась и в творчестве богемы улицы Дуайенне. Роман Арсена Уссэй «Грешница» был внесен в индекс запрещенных книг, «Мадмуазель Мопен» Готье как произведение эротическое общеизвестна. В рисунках Камилла Рожье Уссэй отмечает его тягу к изображению одалисок «в сладострастной небрежности их поз». Эротическая струя проявилась и у Жерара де Нерваль в его «Галантной богеме». Замечательно, что еще задолго до Гонкуров поэты улицы Дуайенне сумели уловить эротическое очарование XVIII века, дворянского XVIII века, очарование, которому впоследствии будет поклоняться Мопассан, — и замечательно, что в то же время они не чувствовали буржуазного стиля XVIII века; любопытная деталь, позволяющая сблизить стиль золотой богемы со стилем дворянских писателей-романтиков, у которых тоже держалась традиция XVIII века.

Второй характерной чертой стиля золотой богемы является юмор — вещь редкая у романтиков. Наибольшего своего выражения этот юмор достигал в новеллах, — например, в сборнике Т. Готье «Молодая Франция», в первой части «Капитана Фракасса», в новеллах А. Уссэй. Тот же юмор, как и эротика, мы встретим в рисунках Гаварни. Если наличие эротической струи в творчестве золотой богемы вполне закономерно, то понятие и юмор, ибо пресловутая ненависть этих романтиков к буржуа не поднималась до сатирической насмешки, до той злости, которую, например, запечатлел

Стендаль в своем «Федере». Готье и его друзья были плоть от плоти буржуазии, и они издевались над уродливостью буржуа столь же по существу беззлобно, как насмехались друг над другом.

Третья характерная особенность стиля золотой богемы заключается в культе формы, в применении лозунга «искусство для искусства» к разработке экзотического, фантастического и исторического жанров, характерных вообще для романтизма с его уходом от окружающей действительности. Но если писатели дворянства, как Виньи, или писатели мелкой буржуазии, как Гюго, уходили в историю, чтобы искать в ней образы, вдохновлявшие к политической борьбе их класс на данной ступени его исторического пути («Сен-Марс» Виньи, «Собор Парижской Богоматери» и драмы Гюго), то богема улицы Дуаженне, не обремененная общественными и политическими интересами, настроенная консервативно, вполне приемлющая свою действительность, — если не считать протеста против мешанской морали в вопросах семьи и брака, против убогости духовного облика рантье, консьержей и лавочников, — эта богема влеклась в прошлое, в фантастику, в экзотику исключительно затем, чтобы выкапывать различные необычайные положения, полные мистической жутки, и щекотать себе нервы рассказом этих страшных происшествий, платя долг влиянию Гофмана и готических романов. Оживить мертвеца, рассказать о вампире или о любовном визите привидения, чем тешил себя Готье; визионерствовать на яву и в творчестве, как это делал Нерваль, веривший сразу в семнадцать религий, вежливо отзывавшийся об Иегове, Аллахе и Юпитере, «потому что, — озабоченно говорил он, — не знаешь ведь, что может случиться», и проводивший пять ночей в неделю в скитаниях по кабачкам ночного Парижа; ослеплять зрение читателя широкой, пестрой, вещной лавиной археологических деталей Лидии или Египта, где персонажи повести были нужны Теофилю Готье лишь как средство для описания такого-то пеплума или туники, где действие разрывалось и застывало, а новелла превращалась в своеобразный натюрморт, — вот как раскрывалась эта черта стиля золотой богемы, лишенная какой-либо социальной выразительности.

Последней чертой рассматриваемого стиля является его известный аристократизм. «Никто не обладал столь вежливыми манерами, лучшим тоном, более сдержанной речью и не казался в большей степени джентльменом» — отзывается Готье о Нервале. В другом месте он говорит: «Стиля XVIII века Нервалю было вполне достаточно для

выражения всех своих фантастических и необыкновенных идей». Последнюю фразу Готье мог бы отнести и к самому себе, ибо его гигантские, тихольющие периоды, полные жеманных псевдо-классических метафор, восходят, как слог Нерваля, как жизненный стиль и костюм Нерваля, к тому же XVIII веку; черта, достойная внимания, снова роднящая золотую богему стилем дворянского романтизма. Аристократически-сдержанный повествовательный тон и культ формы резко отличали стиль золотой богемы от стиля вишей богемы и бузенто.

III

В начале июня 1832 года, во время очередных парижских уличных беспорядков, молодой поэт-наборщик Эжзипп Моро, который, как пишет его биограф, «ничего не ведал в жизни, кроме несчасть и лишений», доведенный до отчаяния безработицей, голодом и нуждой, два дня искал на баррикадах пули, которая прервала бы его горестную жизнь. К своему огорчению, он уцелел. Осенью того же года в Париже вспыхнула эпидемия холеры. Был опубликован ряд необходимых гигиенических мер, при чем особенно запрещалось употреблять в пищу солонину. На последние гроши Моро накопил этой дешевой солонины, чтобы наесться досыта и умереть. Но и тут он не умер. Тогда он пролежал целый день в постели холерного больного. Снова напрасно. Наконец, зимою, лишенный крова и пищи, полуодетый, Моро получил тяжелое простудное заболевание, которое привело его в больницу. Но через два месяца он выздоровел и снова очутился на мостовой, попрежнему добычей голода и безработицы.

В апреле того же 1832 года, в Лионе два других молодых поэта — савойский эмигрант Вейра и сын плотника Берто — приступили к изданию журнала «Красный человек», полного пылких инвектив по адресу всех монархов Европы, не исключая Луи-Филиппа, римского папы и даже короля Сардинии. Название «Красный человек» было именем того таинственного персонажа, которого, согласно легенде, небесная юстиция посылает в качестве своего вестника к преступным королям. Лион еще недавно пережил известное восстание ткачей в ноябре 1831 г., в городе свирепствовала реакция, вызывавшая возбуждение пролетариата. Поняты первоначальный успех «Красного человека», одному из редакторов которого, именно Берто, лионские власти устроили, кроме того, шумную рекламу: против поэта было возбуждено судебное преследование за его сатиру «К королю». Оправданного Берто толпа носила па руках по улицам Лиона.

Постепенно интерес лионских читателей к «Красному человеку» начал ослабевать, и после издания двадцати двух номеров журнала Вейра и Берто, соблазненные уверениями случайно встреченного Дюма, переехали в Париж, рассчитывая найти здесь более широкую читательскую аудиторию. Они поселились в улице Бо з'Ар и возобновили издание журнала. Но их ждала неудача. Журнал не имел сбыта и после двух номеров вынужден был снова прекратиться. Вейра и Берто бесплодно искали заработка: они думали встретить радушный прием, а их принимали свысока, без какого бы то ни было уважения к их дарованию и к их прошлой деятельности, которая, как искренне верили оба редактора «Красного человека», должна была изумлять всю Европу. В одних журналах им резко и прямо отказывали, в других давали понять, что политическая муза—особа чрезвычайно скучная. Вейра ухитрился еще в 1833 г. получить 200 франков от своего отца, зажиточного крестьянина, «который знал цену деньгам», но его другу не приходилось рассчитывать на помощь домашних. Началась нищета.

Но как ни была она зловеща, Вейра и Берто не отказались братски разделить свой кров и скудную пищу с Эжезиппом Моро, буквально умиравшим с голода. Постепенно в тщетных поисках работы, где лишь Берто зарабатывал дуидор в неделю за сотню строк в «Шаривари», Вейра и Моро продали все, что могли продать, вплоть до одежды, за исключением одного единственного зеленого сюртука, «выходного» сюртука, в который облачался тот из них, чья очередь была выходить, пока другой «сторожил квартиру». По причине необыкновенного светло-зеленого цвета сюртук, переходивший с плеч на плечи, получил широкую популярность во всем квартале, а Вейра, счастливый собственник этого сюртука, был прозван «зеленым графом». В эпоху пламеннейшей ненависти романтиков к буржуа, подумайте, что должны были чувствовать эти гордые и умиравшие с голода поэты к лавочникам и консьержам, потешавшимся над их нищетой!

«Жан-Пьер Вейра и Луи-Агат Берто никогда еще не были так несчастны, как в эту эпоху, — пишет Альфред Бертье, биограф Вейра. — Но чем более они были нищи, плохо одеты, чем хуже было их жилище, чем труднее становилось для них пообедать, тем больше находили они, что общество дурно организовано, тем больше они были революционерами».

«Революционерами» — это, конечно, сильно сказано. Однако, протест нищей и голодной богемы против существующего строя, против власти сы-

рых буржуа не нуждается в доказательствах. И это уже не та безобидная и очень шумливая «ненависть к буржуа», которую манифестировала «золотая богема». Это активное социально-политическое нападение, осуществлявшееся всеми средствами: то изданием крамольного «Красного человека», то смертью Жоржа Фарси в июльских уличных боях, то появлением Эжезиппа Моро на баррикадах 1832 года. Но если в социальном бунтарстве нищей богемы и ощущается революционное брожение пролетариата, разбуженного июльской революцией и лионским восстанием, то немалое непосредственное влияние оказывали на самочувствие нищей богемы редакционные и цензурные требования, провалы их пьес, читательское непризнание, едкие насмешки критики, враждебно настроенной к романтизму (в 30-х гг. романтических критиков почти не было, за исключением Леве-Веймара и Ж. Жанена) и в особенности к начинающим поэтам «вредного» политического направления. Эжезипп Моро, стихи которого отвергались всеми редакциями, нашел однажды издателя, согласного напечатать его книгу, но при том непреклонном условии, чтобы там не было «политики». Что должен был чувствовать поэт, вынужденный изуродовать свои стихотворения, те самые, которые стали известны под меланхолическим заголовком «Незабудки»? Чем, как не демонстрацией протеста была смерть двух молодых поэтов, Эскусса и Ле Бра, покончивших с собою в феврале 1832 года, после того, как провалилась их пьеса? Соседка их по комнате, возвратившись поздно ночью, услышала странное хрипение двух человек, доносившееся из комнаты Эскусса. В испуге она разбудила отца поэта и привела его в свою комнату. Отец прислушался и усмехнулся: «Ревнивая!» — и возвратился в постель. Так ржавчина мешанской пошлости запачкала самую смерть двух юных романтиков, умиравших от угара.

Нищета богемы улицы Бо з'Ар достигла своего апогея в 1835 году. В январе этого года умерла после 14-месячной болезни, вызванной голодом и нуждой, поэтесса Элиза Меркёр, «кроткая Сафо из Нанта», бесплодно искавшая материальной поддержки, трагившая свои силы на грошево оплачиваемые переводы, тщетно пытавшаяся добиться пенсии от правительства. «Спасите меня! — писала она министру Гизо. — Спасите меня ради моей матери!» Гизо дал ей 200 франков.

12 февраля 1835 года состоялась премьера «Чаттертона». Вся богема нищеты собралась на этой премьере. Здесь были и Вейра в своем легендарном сюртуке, и Эжезипп Моро, который вынужден был продать для этого за

три франка на Мон-де-Пьете свой последний жилет. И когда бледный, худой, страстный юноша Чаттертон так проникновенно заговорил со сцены устами актера Жоффюра «об их пылких стремлениях, об их печальной нищете, об их возвышенном отчаянии, — все эти несчастные, голодные, отчаявшиеся, все они вскакивали с места, преображенные, как в апофеозе, и долго, бесконечно, бешено аллодировали поэту, который стал их адвокатом и панегиристом; и, расходясь по своим конурам, где скоро им предстояло умереть, они уносили в своих ослепленных глазах правдивый и великолепный образ их общей судьбы, такой мучительной, столь законченно тщетной и неудачной» (Альфред Вертье). А в эти самые часы, когда в Театр-Франсе шла премьера «Чаттертона», молодой поэт Эмиль Руйан, десять лет борющийся с нищетой своей парижской жизни, умер с голода над переводом «Луизады» Камонса. В эти же часы другой молодой поэт-романтик, сидя в партере Театр-Франсе, хотел немедленно, тут же покончить с собой, бросив своей смертью вызов обществу, столь равнодушному к поэтам. Мэгрон, рассказывающий о последнем факте, добавляет, что пьеса Виньи вызвала целую полосу самоубийств среди начинающих и еще безыменных поэтов¹⁾.

Это гибли неудачники! — утверждают французские исследователи романтической эпохи. Но как расшифровать слово «неудачник»? Тут соединяются, повидимому, такие понятия, как малая одаренность, слабоволие или неприспособленность к жизненной борьбе, стечение несчастливых обстоятельств. В слове «неудачник» есть и жалость и презрение. Трудно отрицать, что среди нищей богемы были такие «неудачники»; возможно, что здесь имелось некоторое количество просто дрянных, ни к чему неспособных лодырей (вспомните отзыв Шанфлера); нельзя, наконец, отрицать, что поэты романтической эпохи вообще любили себя оплакивать, что тогда считалось модным голодать и даже пить уксус для при-

дания лицу «рокового» оттенка мертвенно-зеленой бледности, — но все же мы не имеем никакого права называть нищую богему одним скопищем неудачников. В большинстве это были только несчастные, измученные, одаренные люди, и они голодали отнюдь не из соображений романтической моды.

Вот что пишет Вейра в своем автобиографическом романе «Плоды знания»: «Перед лицом суровых опытов жизни мои грезы, грезы поэта, исчезли. Честолобие, слава, потомство — что все это? Я писал, потому что нужно было жить. Не ломал ли я столько раз свое перо, стыдясь торговать из-за куска хлеба самыми заветными своими мыслями? Не рехался ли я столько раз лучше вытерпеть все, чем протитуровать перед глазами толпы чистые впечатления моей души? И я держал свое слово до тех пор, пока голод не начинал мне кричать: «Работай, несчастный, если ты не хочешь умереть!» Для париев, которые пищут сердцем, потому что не умеют писать иначе, для них роль писателя ужасна! Середины нет: протитуровать себя или умирать с голода... Небо свидетель, что я противился долго, сколько мог. Мне хотелось пить — я пил воду. Я был голоден и, чтобы купить хлеба, продал перстень, подарок моей матери».

Из биографии Вейра мы узнаем, что он, наконец, сдался. Политический поэт, гордо потрясавший факелом Эриний, стал писать водевили. Вместе с тем голод, нужда, крушение надежд, тоска по родине обусловили политическое и религиозное «обращение» Вейра: бывший атеист становился религиозным фанатиком, бывший республиканец и сокрушитель тронов Европы униженно молил короля Савойи о прощении, о позволении вернуться на родину. В 1838 году Вейра возвратился в Савойю, думая, что прощен, в чем ему предстояло разочароваться. Надорванный лишениями своей пятилетней парижской жизни, он умер в 1844 году. Ему было 34 года.

Такова была нищая богема. Где обычные, казалось бы, для богемы шу овские проделки, веселое прожигание жизни? Где смех, где радость? Ничего этого богема улицы Бо з'Ар как будто не знала. Мы говорим «как будто» потому, что об этой богеме известно вообще очень мало. Быть может, и здесь было какое-нибудь свое, бледное, золотушное веселье, быть может, поэты улицы Бо з'Ар искали истину в вине. Нищая богема по-своему притягивала поэтов: Лоран де Шансель не раз убегал сюда от своей молодой жены, затем возвращался к последней с покаянными слезами, чтобы снова убежать через две недели.

Любовь, занимавшая все помыслы золотой богемы, почти неизвестна у

¹⁾ История с «Чаттертоном» чрезвычайно интересна. В образе Чаттертона Виньи желал запечатлеть скорбь своего класса, дворянского класса, утонченного, культурного, вынужденного страдать в эпоху победы буржуазии. Несомненно, что этой пьесой Виньи ярко организовывал настроения своего класса. Но, оказалось, что образ Чаттертона, объективно, мог организовывать и романтических поэтов среди невзгод их реального бытия, так резко контрастирующего с высоким представлением о роли поэта. В своих «Романтических медальонах» Виктор Пави приводит любопытный отрывок из письма одного зрителя-студента, где последний отмечает, что Виньи поднял в своей пьесе насущные вопросы о резком отношении критики к начинающим поэтам и горькой необходимости поэтов зарабатывать свой хлеб не поэзией, а унизительной канцелярской службой, как это было с Дюма до успеха его первой драмы.

поэтов улицы Бо з'Ар, во всяком случае, в парижский период их жизни. В стихотворении «Перед смертью» Вейра и Берто пишут: «И оба мы спускаемся шаг за шагом в могилу, не оставляя ничего от себя на земле, ни одинокого сожаления в чьем-либо сердце, ни даже воспоминания у какой-нибудь плачущей женщины». Отсюда не значит, что они вообще не любили, но их парижская любовь ограничивалась, по видимому, краткими голодными связями, неяркими и неинтересными. «Женщины! Дочери Евы! Вы не были теми, о ком я грезил, не были ангелами, спустившимися с небес!» — восклицает Вейра в одном из стихотворений. Долгая и нежная любовь Моро кончилась печально: оклеветанный Моро должен был уехать из Прованса. Берто, в бытность свою в Лионе, находился в связи с некоей Софи Гранже, которая испытывала сильное влияние романтической литературы и носила, в подражание Жорж Занд, мужское платье. Одного этого скромного факта оказалось достаточно, чтобы Сент-Бев впоследствии жестоко заявил, что Берто быстро растратил свое дарование «среди крайностей разврата и нищеты». Правда, Сент-Бев хорошенько не знал Берто, но буржуазный критик не считал себя особенно обязанным разбираться в личности и творчестве этого «дикого республиканца».

Однако, утверждая, что поэты нищей богемы отнюдь не были в массе бездарностями, что их творчество не могло полноцветно раскрыться лишь по причине мрачных социальных и бытовых условий, не следует впадать в иконописность. Да, богема улицы Бо з'Ар нам ближе, чем богема бездельников улицы Дуайенне, но все-таки это была только богема. «Если бы я имел хоть 6.000 ливров ренты, я был бы, может быть, великим поэтом!» — воскликнул однажды Лоран де Шансель. Но, подумав, он прибавил: «Нет, я бы их проел». Каждый поэт нищей богемы мог бы подписаться под этим заявлением. Но если Шансель был известен только плагиаторам, без устали воровавшим его стихотворения (Шансель не сердился: «Воруют только бедняки» — говорил он), это во многом происходило из-за того отсутствия воли к работе, из-за той плохой усидчивости, которую он отмечал за собой, как могли бы ее отметить и прочие поэты богемы. Нельзя сомневаться, что поэты улицы Бо з'Ар были вообще весьма беззаботны. Нельзя, наконец, не говорить и о чисто-богемной неустойчивости их психики.

Мы имеем в виду, например, следующую случай. В 1833 году, странствуя по редакциям со своими политическими сатирами, Моро всюду встречал отказ и пренебрежительные ука-

зания, что надо, мол, учиться писать такие сатиры у Вейра и Берто, находившихся в то время в Лионе. Слушая эти советы, Моро кончил тем, что смертельно возненавидел обоих редакторов «Красного человека». В дальнейшем случилось, что Берто жестоко высмеял в одной из своих сатир префекта полиции Жиске. Последний, чисто романтический префект, решил ответить также бранными стихами, но, за отсутствием личных стихотворных талантов, искал поэта, который высказался бы за него. Узнав об этом, Моро, жаждавший мести, предложил свои услуги, хотя и не без горечи, писал, что «надеется стать полицейским поэтом-лауреатом». Жиске пришел в восторг от сатиры Моро и заплатил голодному поэту 300 франков — целое состояние. Это обстоятельство не помешало впоследствии Моро принять гостеприимство экс-редакторов «Красного человека», которые так никогда и не узнали, кто был подлинный автор сатиры, подписанной именем Жиске.

Конечно, можно и не обвинять чересчур Моро, который действовал главным образом под влиянием пустого желудка. То же влияние испытывал и Вейра, когда он вынужден был, переживая свое «обращение», продолжать работать в «Красных листках» («Feuilles rouges»). Бертье пишет, что необходимость заставляла его «подражать» насекомому, принимающему окраску того листка, на котором оно должно жить». Обвинять ли Вейра? Но сравните слова Шанфлери: «Мы ушли из маленького журнала, потому что были честны. Пусть не подумают, что в этом решении могло сыграть какую-нибудь роль то, что мы зарабатывали гроши. Я лично писал бесплатно всякий раз, когда мне казалось, что я говорю правду; я всегда отказывался писать против своих убеждений, хотя бы деньги и слепили мне глаза. Никаких уступок, никогда и никому!» А Шанфлери также был представитель богемы.

Богема улицы Бо з'Ар распалась после отъезда Вейра. В том же 1838 г. умер от чахотки Эжезипп Моро. Ему было 28 лет. Берто, измученный и больной, продолжал свое горемычное существование, не раз подумывая о самоубийстве. Он умер в 1844 году, как и Вейра, и тоже всего 34 лет. Но этот сын плотника умер необразованным. До последних дней его можно было видеть во всех республиканских клубах.

Стиль богемы улицы Бо з'Ар совершенно не изучен. Нам придется определять его кратко и приблизительно. В качестве первой, главной, черты следует отметить резкую социально-политическую окрашенность творчества нищей богемы. Основное здесь — преобладание страстной политической сатиры. Начав с подражаний

гремевшему в ту пору Бартеlemi, поэты-пролетарии улицы Бо з'Ар скоро вышли на собственную дорогу (Ларданше называет Берто одним из «лучших наших политических поэтов»). Их политическим сатирам свойственны «ненство, превеличение, бесполойство, благородное безумствование». К политической сатире примыкает широкий круг социальных тем: поэты воспевают бойцов, умерших на баррикадах, людей труда, бросают в лицо «счастливым мира» упрек в их равнодушии к нищете общественных низов, к вынужденной проституции и приветствуют приход социализма:

Труд теперь стоит собственности!
Лион стал той книгой, где эта новая вера,
Написанная на каждой странице, оддыхает
и пробуждается.
Лион, обширная мастерская, где выработана,
наконец,
Тот закон, дух которого упразднит голод!

Преобладание политической сатиры характерно, очевидно, лишь для первых лет совместной жизни поэтов улицы Бо з'Ар, примерно до 1835 года. В последующие же годы в их творчестве постепенно становятся все сильнее меланхолия, скорбь, тоскливые жалобы. Эти настроения восходят в своем социальном генезисе, конечно, к торжеству буржуазной реакции, разгромивший в 1834 году лионских повстанцев. Прощаясь с землей в удивительных, рыдающих строфах стихотворения «Перед смертью», Вейра и Берто не забудут проститься с Лионом, «городом-мучеником», и не забудут упомянуть о Париже, где «свобода умирает на Голгофе».

Наличие религиозных мотивов и библейских образов является третьей характерной чертой рассматриваемого стиля. Даже в самых пылких и гневных своих сатирах поэты взывают к небесам и, подобно кромвелевским пуританам, распевают свою художественную речь библейскими сравнениями. «О, братья, идем! Ханаан открыт нам! Вот Эдем, обещанный в пустыне Моисеем» — читаем мы в одной из сатир. В другой из них Вейра сравнивает борцов революции, «мучеников демократической веры», с мучениками христианства, что не помешает ему впоследствии — о, богема! — употребить то же самое стихотворение для совершенно иных целей и сравнить с мучениками раннего христианства христиан девятнадцатого века. Удивляться обилию библейского отстоя не приходится: в ту эпоху, в эпоху популярности «христианского социализма» Ламеннэ, сожительство социалистических идей с религиозными не представляло ничего исключительного.

Трудно сказать, насколько общими для стиля нищей богемы были те влияния классицизма, которые критика от-

мечает у Моро. Бодлер называет поэмы последнего «полуромантическими, полуклассическими». Но влияние классицизма не следует переводить на язык политической реакционности. Ретрограды в литературе, сторонники классицизма в большинстве были представителями либеральных воззрений.

Наконец, последнею чертой стиля нищей богемы является полное отсутствие культа формы. Торопливость, небрежность, неотделанность вещей — этот упрек можно сделать большинству романтиков, но из всех них поэты нищей богемы, поэты - пролетарии меньше всех заботились об отделке. «Осторожней, Тальма, вы растроганы!» — шепнула одна артистка знаменитому трагику, увидев, что он увлекся ролью, и может утратить самообладание художника. Поэты улицы Бо з'Ар, вечно бунтующие, вечно взбудораженные, вечно подгоняемые нуждой, всецело отдавались власти своего творческого пыла, не могли настороженно отступить на шаг от своих эмоций, прослушать и прочувствовать их, как посторонний эстетический факт, и мерно, обдуманно, скупко вычеканить их на бумаге. «Не доверяйте, друг мой, поэтическому увлечению», — советовал Беранже молодому Берто, — умеете вовремя остановиться, берегитесь этого богатства слов, граничащего с многословием. Стих — враг поэта». Но Беранже и поэты нищей богемы были представителями слишком различных социальных слоев, и психология их творчества была столь же несхожа.

IV

Консервативная богема улицы Дуайенне и богема умирающих с голода несчастливцев улицы Бо з'Ар представляли два полюса романтической богемы. В центре последней была масса тех поэтов, которые сначала назывались «Молодою Францией», а впоследствии получили прозвище «бузенго».

Газета «Фигаро», систематически высмеивавшая поэтов «Молодой Франции» («Некоторые из этих авторов уже достигли пятнадцати лет, но большинство значительно моложе... Я знал среди них таких, которые, сидя на руках кормилицы, уже читали свою пьесу в комитете чтения при Театр-Франсе»), информировала своих подписчиков 9 февраля 1832 года о том, что и кто такое бузенго:

«Бузенго — это клеенчатая шляпа.

Бузенго, или клеенчатая шляпа, существует обыкновенно в возрасте между 18 и 23 годами; у него есть еще год, чтобы закончить изучение права, вернуться в провинцию и переменить мнения. Отсутствие великолепия в его

костюме и манерах обычно возмещается буйным ростом бороды и бакенбард; весь он желт, рыж, бур и полон республиканской идеей.

В этой цитате ценны указания на отсутствие дандизма и на политическую активность бузенго, отделявшие этих поэтов от золотой богемы и приближавшие их объективно к богеме улицы Бо з'Ар. Однако, хотя «большинство бузенго были бедняками», как замечает Марсель Эрвье, биограф Филоте О'Недди, они охотней общались с золотой богемой и одно время насчитывали в своих рядах Теофиля Готье и Жерара де Нерваля. О непосредственной связи бузенго с поэтами улицы Бо з'Ар вообще нет никаких сведений; при всей невзрачности своего материального положения, бузенго, принадлежавшие к беднейшим слоям мелкой буржуазии, жаждали, однако, чего-то большего, чем простой кусок черного хлеба. Когда у Лассайль заводились деньги, он первым делом спешил купить модные перчатки и манжеты, «но не сорочку» — язвительно прибавляет Уссэй.

Если любовь, царившая в золотой богеме, мало проявилась в богеме нищеты, то бузенго склонялись в этом отношении к символу веры улицы Дуайенне. Восторженный Лассайль вписал одну из самых чистых и нежных страниц в историю романтической любви (эпизод подробно рассказан у Ларданше). Кроме того, бузенго, с их пылким протестом против буржуазной семьи и брака, столь ярко проявившемся в стихотворениях О'Недди, стремились, повидимому, до какой-то степени воплотить в жизнь учение отца Анфантена, провозгласившего себя в ту эпоху мессией «свободной любви».

В своей монографии о Петрусе Бореле Аристид Мари рассказывает, что Петрюс, вождь бузенго, решил в один прекрасный день «основать объединение (tribu) карабов». Время года благоприятствовало, стояли теплые летние ночи; клан жил в палатках; свободные от соблюдения общепринятых условий жизни, новые дикари ходили нагишом, как на заре человечества, и спали на коврах или на шкурах. Идиллические сцены и райские картины, открывавшиеся глазам соседей, были причиной того, что эксперимент продолжался недолго. В конце концов клан был выселен, но удалился с протестами и подпавив из мести домик консьержа.

Было ли это «объединение карабов» действительно попыткой воплотить учение отца Анфантена или же напротив, как думает Аристид Мари, желанием пародировать это учение, — в конце концов не важно. Безразлично, проявилась ли здесь жажда наслаждения или потребность

смеха; интересно лишь, что нищая богема обоих этих настроений почти или совсем не знала, что бузенго тянулись здесь к мироощущению золотой богемы¹⁾. Но тут им, вероятно, пришлось разочароваться. Неизвестно, как расценивал Уссэй историю с поселением карабов, но достойно внимания, что к влюбленному Лассайль он относился с такою же чуждостью и насмешкой, с какой Готье судил о монпаньярских наклонностях Петрюса Бореля.

Арсен Уссэй рассказывает, что Лассайль влюбился в некую герцогиню, но не мог представиться ей, за неимением приличного костюма. Ему послучилось найти дорогую собачку, очевидно, убежавшую из дому. Публикация в газете: 50 франков награды лицу, которое доставит собаку. Лассайль якобы пишет письмо, где сообщает, что он нашел собаку, что это чрезвычайно милая собачка, но, как дворянин в нужде, он не может уступить ее только за 50 фр. и требует пять лудиров. Просимые деньги были присланы. После этого разряженный Лассайль якобы является к своей герцогине и — о, ужас! — стелзывается у нее с владелицей собаки, при чем и собака и владелица его тотчас же узнают. «Так это вы, мосье, нашли мою собачку?» Смущение. Лассайль. И герцогиня презрительно бросает: «Прощайте, мосье!»

Вдумчивый читатель уже мог заметить, что поселение карабов, в сущности, ничего не стоило Петрюсу Борелю, — не в пример балам и маскарадам золотой богемы. Бузенго вообще стремились к недорогим развлечениям, самое главное из которых заключалось в преобразовании собственных имен: Пьер Борель превратил себя в Петрюса Бореля; Луи Бертран сделался Алоизисом Бертраном; Теофиль Дондей трансформировался в Филоте О'Недди; Огюст Маке, будущий соавтор романов Дюма, был здесь известен как Огюстос Мак-Кит, и т. д. Но если бузенго начинали проявлять какие-нибудь стремления, вступавшие в конфликт с их материальными возможностями, золотая богема приобретала здесь обильную пищу для насмешек. Уссэй уже сообщил о сорочке или, вернее, об отсутствии сорочки у Лассайль. С какою иронией рассказывает Готье об оборотной стороне жизни Петрюса Бореля! Ведь Петрюс, эта «черная звезда» романтических небес, внешность которого так поражала мечтательных романтиков, ибо у него были «блестящие и печальные глаза, глаза Абенсарага, грезящего о Гренаде», и он имел смелость носить длинную,

¹⁾ В слуде бузенго можно отметить некоторое (слабо выраженное) влечение к юмору и эротике.

раздушенную, выхолонную бороду, — ведь этот гордый ликантроп Петрюс за кулисами своей жизни существовал впроголодь. Он и его друг Жюль Вабр жили в погребе полуразрушенного дома, где их и разыскал однажды Готье. «На огне варилась похлебка двух друзей, похлебка более чем отшельническая, — картошка! — Но по воскресеньям мы кладем в нее соли, — объявил Жюль Вабр с видом гордой чувственности... Вода из помпы орошала это примитивно-простое меню».

Основным, что отталкивало золотую богему от бузенго, были, конечно, республиканские воззрения поэтов бузенго, то, что Готье вообще называл «политическими предрассудками». Марсель Эрвье указывает, что бузенго «обладали социальными идеями, и проблемы, если не текущей политики, то, по крайней мере, организации общества, не оставляли их равнодушными». Петрюс Борель воспел в своих «Рассождениях» революцию 1830 года, и к книге был приложен портрет автора, изображенного в фригийском колпаке, при чем рука его яростно сжимала нож. Чиновник Дондей, рассказывая о своей юности, о творчестве Филоте О'Недди, отмечает, что Филоте был пылким республиканцем, что в предисловии к его «Огню и Пламени» было выражено «требование социальной революции», что, наконец, «среди нас имелись приверженцы сен-симонизма и фурьеризма».

Марсель Эрвье, не понимая хорошо бузенго, слишком бестемперamentно говорит об их общественной взволнованности. Между тем нужно подчеркнуть ту страсть, тот неистовый пыл, с которыми бузенго декларировали свои социально-политические воззрения. Эта лихорадочная социальная возбужденность окончательно углубляла пропасть, отделявшую их от золотой богемы, и приближала их к богеме улицы Бо з'Ар, но не в момент политической депрессии последней, а именно в эпоху гневных сатир «Красного человека». Чтобы почувствовать ту высокую температуру, в которой перманентно пребывали бузенго, достаточно рассказать следующий случай. Когда Алоизиус Бертран бросился после 1830 года в политику, одна консервативная газета высмеяла его как зеленого юнца. Бертран заставил редактора этой газеты напечатать следующее письмо: «...Это правда, я не имею чести происходить от какого-нибудь дворянского происхождения, и я не подлежу выборам (т.е. не состою в числе лиц, платящих большие налоги). Мой отец был только патриотом 1789 года, искателем приключений, который в 18-летнем возрасте пролил свою кровь на Рейне, а в пятьдесят лет имел за собой тридцатилетнюю службу, девять походов и шесть ран.

Правда также, что я беден; мой отец оставил мне в наследство только свою честь и шпагу, которую вы, г-н редактор, не решитесь увидеть протянутой против вас!»

Это совершенно неслыханное «письмо в редакцию» позволяет сразу же почувствовать температуру стиля бузенго. Первая черта этого стиля — эксцентричность, тот «бешеный» (*frénétique*) жанр, то любопытное, забытое ныне движение «пароксистов», которое составляет как бы квинтэссенцию романтизма. Вот как характеризует «пароксистов» Анри Ларданше: «В ту пору существовала, даже среди некоторых здравомыслящих людей, умышленная склонность к экстравагантности, которая смущает нас теперь, но тогда пользовалась большой благосклонностью со стороны представителей крайней левой в литературной среде. Выделяться на традиционном, на известном, пользоваться словом, которое резюмировало бы в себе все границы ужасного и отвратительного, — казалось единственной заботой. Некоторые из членов этой группы эксцентриков или «пароксистов», если уж пользоваться их жаргоном, ставили себе задачей доводить каждую вещь до крайних пределов и, чтобы избежать банальностей, с удовольствием погружались в абсурд». Сравните замечание Готье о стиле Филоте О'Недди: «Никто не выразил лучше Филоте О'Недди эту характерную черту крайности и напряженности. Слово «пароксист», введенное впервые Нестором Рокпланом, словно и изобретено было для обозначения намерений Филоте. Все здесь отличается повышенным тоном, ярким колоритом, неистовостью, все доведено до последних границ выразительности, зазорной оригинальности, почти *guisselant d'inouïsme*, как говорил Ксавье Обрие».

Ларданше указывает, что в первых рядах пароксистов шествовал некий провинциальный буржуа, Ксавье Форнере, подписывавший свои произведения псевдонимом «Черный человек с бледным лицом». Имя Форнере совершенно неизвестно историкам французского романтизма, но об этом забавном чуде стоит вспомнить. Форнере любил изобретать совершенно головоломные положения, напр., написал новеллу о человеке, который начал жизнь самоубийством, проглотив стеклянный глаз своей любовницы. Он печатал свои книги на одной стороне листа или таким образом, что на странице было одно единственное слово, которое повторялось несколько раз все более и более крупным шрифтом и в сопровождении трагической пунктуации:

он!
ОН!!
ОН!!!

В качестве второй черты стиля бузенго отметим утрированно-мрачный колорит их творчества. Фантастический, исторический и экзотический жанры в разработке бузенго представляют собою какой-то неслыханный музей всевозможных уродств, искривлений, безумствующей свирепости, непонятных, кошмарных, эпилептических сцен, какое-то вихревое возмущение против всего на свете. Неуравновешенность и необузданность воображения бузенго расплеснулись здесь во всю ширь. Поэт не видит в мире ничего, кроме отравлений, изнасилований, утонченно-кошмарных убийств, жестоких истязательств, мрачных актов мести. Персонажи здесь—убийцы, грабители, тайные преступники, палачи, мстители, демоны, суккубы, скелеты и т. д. В изображении современности, бузенго вносили ту же мрачную ярость. Вот новелла Петрюса Бореля «Шанпавер, ликантроп». Любовница Шанпавера была вынуждена убить своего ребенка, чтобы скрыть, что она «потеряла свою честь». Шанпавер произносит громовые речи против бога, человечества, жестокого мира, общества и бешеным жестом вырывает из могилы и швыряет на дорогу разложившийся трупик своего ребенка: «Варварские законы! жестокие предрассудки! позорная честь! люди! общество! берите! берите вашу добычу!.. Я вам ее возвращаю!!!» Так же мрачно бузенго мистифицировали читателя. Алоизус Бертран уверял в предисловии к «Ночному Гаспару», что автором этой книги был выходец с того света, может быть, сам сатана. В предисловии к своим «Безнравственным рассказам» Петрюс Борель доводил до сведения читателя, что он, Петрюс Борель, назывался в действительности Шанпавером и что этот Шанпавер кончил жизнь самоубийством!

Весь этот мрачный колорит, все эти злорадные мистификации, вся эта бешеная возбужденность бузенго находили себе отзвук и в их манере письма. Эту третью черту их стиля можно назвать предельной возбужденностью речи. Брандес указывает, что новеллы Петрюса Бореля «испорчены их стилем, резким, как зубовный скрежет». Готье отмечает в стиле Филоте О'Недди «невиданные парадоксы, софистические максимы, бессвязные метафоры, раздутые гиперболы, шестистопные слова». Гневные или — реже — восторженные тирады, восклицания, междометия в изобилии насыщают беснующийся стиль бузенго и сопровождаются лавиной восклицательных знаков.

Три указанные стилистические признака находятся между собою в очевидном внутреннем родстве и генетически восходят к четвертому — к настроениям социального протеста. Эк-

сцентричность, утрированно-мрачный колорит и предельная возбужденность тона были не только средством эпатировать буржуа, но стремлением сильнее и больше ударить его, выразить свою ярость, ярость непризнанных поэтов к этому грубому существу, которое не желает покупать их книги¹). Ведь все эти поэты так жаждали добиться славы и так горько не могли ее добиться. Но если слава им не улыбалась, это происходило не потому, что они были бездарны, а потому только, что бунтарские настроения слишком резко окрашивали их творчество. Иден бузенго пахли гильотиной 1793 г. и отпугивали читателя тем больше, что, излагая их, бузенго отнюдь не стеснялись в выражениях; вспомните письмо Алоизуса Бертрана. С возбуждением и бешенством высказывали они свой социальный протест, выражавшийся то в прославлении революции и республики (персонаж романа Лассайльи «Проделки Триальфа» заявляет любимой девушке: «Мадмуазель, я люблю вас, как Республику!»), то в нападениях на монархический принцип, то в обличении биржи и юстиции (Петрюс Борель писал: «В Париже имеются два вертепа: в одном собираются жулики, в другом — убийцы; первый — это биржа, второй — здание суда»), то в походе против буржуазной морали и т. д. Не нужно доказывать, что подобная тематика не могла принести их авторам обеспеченного дохода: редакторы журналов отказывались от статей Лассайльи, заявляя, что одна его подпись компрометирует журнал.

Последняя черта стиля бузенго — пессимизм. Разумеется, это был социальный пессимизм, но бузенго не понимали его природы. Они могли называть себя сен-симонистами, фурьеристами, монтьяньерами, но они не были социологами, а богема с ее анархическими настроениями и господством эмоционального начала не могла помочь этим поэтам в выработке ясного мировоззрения. Редакторы «Красного человека», поэты-пролетарии, очень четко чувствовали своего врага и стреляли без промаха. Бузенго же, писатели мелкобуржуазные, приобщив-

1) Бузенго страстно ненавидели буржуа. Петрюс Борель, архитектор по профессии, доходил здесь до прямого оскорбления. Получив заказ на постройку доходного буржуазного дома, он начал возводить — к ужасу и негодованию своих клиентов — фантастический средневековый замок, абсолютно непригодный для жилья. Когда Филоте О'Недди издал свой первый сборник стихов, и этот сборник не имел никакого успеха, поэт, жалкий сверхштатный чиновник какого-то министерства, обязанный содержать мать и сестру, исчез из литературы. Лет тридцать спустя, Готье случайно встретил его. «— Ну, когда же второй том стихов? — Он взглянул на нас своими голубыми и смущенными глазами и ответил со вздохом: О, когда больше не будет буржуа!»

шись к учениям утопического социализма, во многом их разделяя, стремясь к политическому и социальному преобразованию общества, в то же время не верили в возможность изменить существующий порядок вещей. Подогреваемые постоянными парижскими уличными волнениями и опечаливаясь неудачным их исходом, противоречивые бузенго испытывали состояние вечной нервной возбужденности, пылких надежд и неизменного крушения их, озлобленности, бешенства и пессимизма. Не приходит сомневаться, что именно эта бессильная, хаотическая ярость породила мрачный и бунтарский стиль пароксизмов: неудовлетворенное искание новых положений и приемов, ощущение мира, как музея кошмарных, взвинченных образов, и потребность метить жестокостями своего творчества за вечное крушение надежд, за вечную нищету, за горькую свою непризнанность и за самодовольное торжество банкира Лафитта и благополучного мосье Жозефа Прудома.

V

Таковы три основные группировки литературной богемы французского романтизма. Каждая из этих группировок обнаруживает своеобразное социально-политическое лицо, своеобразный рисунок своего литературного быта, своеобразную формулу своего стиля. В большей мере это можно говорить о богеме улицы Дуайенне и популярной ей богеме улицы Бо з'Ар. Промежуточная группа бузенго, не лишенная самобытного лица, проявляла в то же время ряд черт, родственных обоим крайним флангам богемы. Наша задача заключается теперь в анализе социологических предпосылок литературной богемы 30-х годов.

Эпоха первой половины XIX века характеризуется сильнейшим развитием машинной техники, победой крупной промышленности над ремеслом и ручным трудом и периодическими промышленными кризисами, ускорявшими гибель мелкого производства. Отсюда — безмерное обогащение крупной промышленной буржуазии, активное расщепление средней и мелкой буржуазии, то спасавшейся из области производства в торговлю, то нищавшей или разоренной, и численное увеличение рабочего класса, пополнявшегося пролетаризированными крестьянами и кулаками.

Если в первую четверть XIX века удельный вес сельского хозяйства еще оставался значителен, и режим эпохи Реставрации, как указывает Н. Лукин, покоился на компромиссе между крупным землевладением и финансово-промышленной буржуазией, то в условиях дальнейшего развития

капитализма, в условиях его преобладания над сельским хозяйством указанный компромисс не мог быть долговечным. Политическая почва потихоньку уходила из-под ног землевладельческого дворянства.

Июльская революция была совершенно мелкой буржуазной и пролетариатом, руководимыми республиканской партией. Однако, ни мелкая буржуазия, ни тем более пролетариат еще не осознали своих классовых целей и не обладали законченной социально-политической программой; они не смогли воспользоваться плодами победы. Власть оказалась в руках крупной буржуазии, и последняя, не взирая на энергичные протесты республиканских клубов, возвела на престол Луи-Филиппа.

Баррикадные бои, дравшиеся за республику, оказались обманутыми. Это чувство разочарования, углубляемое продолжающейся гибелью ремесла, пауперизацией широких слоев населения и ростом безработицы, не замедлило вылиться в форму активной политической борьбы пролетариата и беднейших слоев мелкой буржуазии против режима июльской монархии, против власти финансово-промышленных воротил. Париж 30-х гг. был перенаселен тайными обществами и республиканскими клубами, в оппозиции правительству стояли бонапартисты и дворянство, атмосфера была накалена лозунгами многочисленных социальных учений, еще памятливы были бурные эпизоды Великой французской революции, еще пахли июльским порохом улицы парижских предместий. Жизнь Парижа 30-х годов, после июльской революции, после восстания лионских ткачей, насыщена уличными беспорядками, заговорами, покушениями на короля, а баррикады появляются на парижских улицах чуть ли не ежегодно.

Но реакция не дремала. Ее влияние сделалось особенно осязаемым после «сентябрьских законов» (1835), направленных особенно против печати: запрещалось нападать на особу короля и на существующий строй, восхвалять республику, возбуждать классовую борьбу и подвергать сомнению принцип собственности. Реакция зловеще усилилась к концу 30-х гг. и, благодаря многочисленным репрессиям, арестам и преследованиям, ей удалось на несколько лет задавить революционно-республиканские настроения.

Таков был социальный фон эпохи. Романтическая богема возникла примерно в начале 30-х гг. (в отношении богемы улиц Дуайенне и Бо з'Ар имеется точная дата, 1833 год, богема же «Молодой Франции», т. е. бузенго, образовалась, повидимому, около 1829—30 гг.) и прекратила свое существование примерно около 1838—39 гг. Словом,

романтическая богема растянулась почти на все 30-е годы и, естественно, отразила в себе и бурность социально-политических исканий оппозиции и давление буржуазной реакции. Но каждый из трех кружков богемы—представители зажиточных, может быть, даже аристократизирующихся слоев буржуазии, представители различных слоев пролетариата, представители беднейших слоев мелкой буржуазии—пришел в богему своими особыми путями.

Когда думаешь о беседлых прожигателях жизни из улицы Дуайенне, невольно вспоминается мысль Ф. Карко о том, что богема—это болезнь возраста. Молодые люди «хороших семейств» удирают от стеснительных условий домашней жизни в развеселую богему и тут приятно вкушают некоторые запрещенные родителями удовольствия. Родители особенно не препятствуют, ибо понимают, что молодые люди должны «перебеситься», после чего они станут благонравными буржуа и мирными отцами семейств. Богема улицы Дуайенне сближалась в своей жажде наслаждения с аристократической группой «золотой молодежи» и усваивала ее взгляды, т. е. критику справа. Эта «критика» заключалась единственно в протесте против духовного убожества июльских победителей, против их примитивно-вульгарного и карикатурного морального облика. Ведь эти победители, объята хлопотами — по лозунгу Гизо — о благоуспешном наполнении своих карманов, не успели еще позаботиться о приобретении известного культурного лоска. Кроме того, понижение избирательного ценза наделило социальными правами средние слои мелкой буржуазии, т. е. тех же малокультурных вульгарных буржуа. Приход этих «чужаков» был, конечно, неприятен представителям аристократизирующейся буржуазии, жившим в улице Дуайенне. Наконец, если учесть, что золотая богема была не чужда легитимистских или бонапартистских тенденций и несомненно влеклась к стилю жизни дворянского XVIII века, мы поймем, что «антибуржуазность» этой донсервативной богемы была критикой с позиций прошлого.

Почему в богеме оказались представители пролетариата? Но куда же могли еще держаться путь Вейра, Берто и Моро? Материально необеспеченные, эти поэты, чье творчество было насыщено резким социальным протестом, чьи пути скрестились с восстанием лионских ткачей, находили себе пристанище только в богеме, ибо романтическая богема по своему основному тону (этот основной тон во все эпохи определяется настроениями централь-

ных групп богемы, в данном случае группы бузенго) все же не была реакционной. В глазах дэнди Уссэя поэты нищей богемы были бездарностями, которые «жадно пожирают краденые соседские яблоки»; в салоне мадам Рекамье этих политических поэтов не пустили бы, как беспокойных субъектов, «не умеющих себя держать»; впрочем, они и сами вряд ли бы пошли в эти салоны. Выходцы из пролетариата, они поневоле попадали в богему.

Советский читатель должен с уважением отнестись к памяти этих измученных *enfants perdus*, истощенных голодом, изъеденных туберкулезом, умиравших в 30 лет или кончавших с собой, обкрадываемых при жизни и заклеянных после смерти презрительным именем неудачников и даже развратников. Нет, они не были неудачниками, эти несчастные юноши; они были жертвами буржуазного строя, задавившего их, первых вестников поднимавшегося и—в ту пору—тщательно удушаемого пролетариата. В своих забытых, осмеянных, замолчанных произведениях они кричали о социальной лжи буржуазного строя, храбро нападали на непоборимо-сильного противника, приветствовали грядущий социализм. Но их деятельность была преимущественно негативной. Они отрицали буржуазный строй, еще не ведая, за что должны бороться. У них еще не было социального идеала. Пролетариат, разбуженный июльской революцией, но еще одурманенный многовековым чадом церковного лада, еще полный узко-цеховых интересов, мог познавать мир лишь сквозь туманную призму утопических социальных учений. Эти учения только мешали его первым, неуверенным шагам, буржуазная реакция, разрастаясь в конце 30-х годов, в свою очередь сковывала пролетариат,—и было закономерно, что его поэты оказывались сломленными, впадшими в пессимизм, «обращенными». Так отразился в их литературной судьбе временный упадок сил их класса.

После июльской революции зажиточные и средние слои мелкой буржуазии, ранее настроенные оппозиционно, примирились с режимом июльской монархии, эгоистически отвернулись от беднейших слоев класса, прежних своих союзников и активных деятелей революции, оставшихся попрежнему в нужде и бедности. Но эти беднейшие слои мелкой буржуазии 30-х гг., при всем своем инстинктивном республиканизме, не имели, так же как и пролетариат, ясного социального *credo*. Вечная противоречивость, классово-приусная мелкой буржуазии, в сильнейшей степени была ощущаема этими слоями класса, фото-

рые тянулись к буржуазному благополучию, испытывали ту же жажду наслаждения и были отбрасываемы ходом вещей в нищету. Группа бузенго, выражавшая настроения этих слоев, приносила в богему свое социальное отчаяние, вызванное неудачным исходом июльской революции, и бешеное чувство собственного бессилия. Поэты бузенго хотели забыться в богеме, оглушить себя лихорадочным весельем, недорогими развлечениями, в роде переделки собственных имен или устройства поселения карабов, хотели забыться в эксцентричности своего творчества и, может быть, не сознавали, что пароксизм был не только средством эпатировать буржуа, но и средством саморекламы. Однако, их книги попрежнему не покупались, насмешливая критика не признавала этих ультра-романтиков, страстные мечты о славе рушились, бедность и голодовки не исчезали. Все это способствовало лишь вечной социальной возбужденности бузенго. Поэты улицы Буз'Ар тоже были только отрицатели, но их политическая сатира была по близости и прямым целям окружающей действительности; они были романтики лишь по страсти своего нападения. Молкобуржуазные бузенго в отличие от них больше тянулись к разработке

исторического, экзотического и фантастического жанров (сближаясь здесь с золотого богемой, с буржуазным и дворянским романтизмом); но, полные мрачного противоречиво-бессильного пессимизма, они хаотически буйствовали, увязая своим сегодняшним гневом в отвратительном саване скелета, в ужасной мести средневекового анатома, в дикой драке экзотических персонажей. Поэтому был непонятен и оказывался нераскрыт их социальный протест, а их «расправа» с историческим и фантастическим сюжетом отпугивала читателей. Беснующийся, вопиющий, искривленный протест бузенго, при всей его эмоциональной напряженности, оказывался социально бесполезен. На этом примере становится особенно ясно, что богема и революция—понятия несовместимые. При этом мы, конечно, не отрицаем, что богема иногда составляла отдельных баррикадных бойцов.

К концу 30-х гг. романтическая богема прекратила свое существование. В 1843 году появляется уже другая богема «потребителей воды». Больше уже не было модно пить пунш из черепов. Теперь требовалось пить воду и трезво изображать окружающую действительность. Зарождалась реалистическая школа.

2. ПОД НАДЕЖНЫМ ПРИКРЫТИЕМ 1)

И. Сергиевский

Дискуссия о Топорове началась задолго до того, как первые отрывочные и неполные сведения о его работе с читателями-крестьянами стали проникать в столичную печать. Началась она на страницах краевой газеты «Советская Сибирь» и велась примерно в таких тонах: «Барин, который не может забыть старого. Хитрый классовый враг, окончившийся и неустанно подтачивающий нашу работу. Одиночка-реакционер. Ожогся на открытой борьбе, теперь ведет ее исподтишка». Эти строки приводит Аграновский в своей статье, предпосланной сборнику топоровских бесед. Из той же статьи мы узнаем, что ныне этой дискуссии положен конец, что Топоров реабилитирован, что ему возвращено его честное имя, а головотяпы и преследователи всепародно разоблачены. Из этого, однако, менее всего следует, что о Топорове и его работе вообще больше го-

ворить не стоит. Наоборот, теперь, когда ему гарантирована как-будто бы возможность беспрепятственного продолжения его занятий, уместнее всего дать им действительно объективную оценку, со всей серьезностью и беспристрастностью обсудить смысл и ценность его немножко экстравагантно-го опыта.

С точки зрения принципиальной, предпринятая им попытка изучения эстетических навыков и пожеланий современной деревни заслуживает, конечно, отношения самого вдумчивого и внимательного.

Сейчас, когда социальный диапазон нашей эстетической культуры ширится не по дням, а по часам, когда в орбиту литературной жизни вовлекаются те многомиллионные массы, которые до Октября довольствовались в лучшем случае псевдо-народным лубком, а в худшем—вообще оставались по ту сторону литературы, вопрос о массовом читателе становится одним из важнейших и актуальнейших вопросов нашего литературного сегодня. О массовом потребителе эстетических ценностей говорят сейчас все, даже седовласые

1) А. Топоров. Крестьяне о писателях. Опыт, методика и образцы крестьянской критики современной художественной литературы. Вступ. ст. А. Аграновского и В. Гофенщера. ГИЗ. 1930. Стр. 284. Тир. 5.000. Ц. 2 р 60 к.

историки литературы венгеровского типа и юноши из бывшего союза поэтов. Острой и прямолинейной формулой, гласящей, что искусство должно быть понятно массам, пытались оправдать все: и обывательское тяготение к эстетической рутине, и тупую боязнь какого бы то ни было новаторства и... все, что угодно. Когда хотели в самое сердце поразить своего литературного противника, говорили: непонятно массам. И этот приговор считался уже не подлежащим никаким апелляциям.

Меньше всего было сделано для того, чтобы уяснить, что же в действительности представляет собою массовый читатель. Каков его культурный и эстетический профиль, фактический, а не приписываемый ему во имя тех или иных соображений кружкового порядка. Надо прямо сказать: дальше пресловутой рубакинской библиопсихологии, насковоз механистической, абсолютно чуждой диалектическому пониманию вещей, мы не сделали ни шагу. Тем примечательнее попытка Топорова, попытка, в которой основную роль играет именно реальный читатель, а не некая абстракция читателя, возникающая в результате субъективных домыслов того или иного теоретика.

Итак, принципиально работа Топорова вне каких бы то ни было подозрений. Весь вопрос в том, насколько правильно она была поставлена, насколько серьезно и вдумчиво сам Топоров осознал свою задачу и насколько верно подошел к ее разрешению. Но прежде чем говорить о работе Топорова по существу, уместно будет сказать несколько слов о самом ее содержании. Дело обстоит так: Сибирь, Барнаульский округ, коммуна «Майское Утро». В течение восьми лет крестьяне-коммунары собираются по вечерам в местной школе, слушают и обсуждают произведения мировой художественной литературы. Организатор и руководитель этих чтоток — Александр Митрофанович Топоров, учитель этой самой школы. Он намечает состав выносимых на обсуждение вещей, ведет читку, протоколирует высказывания слушателей. Круг чтения не ограничен никакими рамками. Сюда входит все: античность, западно-европейская и русская классика, современная поэзия и проза.

Вот здесь-то и начинаются первые неясности. Кто же такой Топоров. Исследователь-аналитик, стремящийся к тому, чтобы с максимальной четкостью и достоверностью уяснить себе лицо современного крестьянского читателя. Или культпросветчик-активист, ставящий своей целью планомерное и организованное воздействие на эстетическое сознание того коллектива, с которым он работает. Или, наконец, ни

то, ни другое, а просто любитель-коллекционер, питающий слабость ко всякого рода пикантным парадоксам. В Сибирской глуши — Пастернак, это, знаете ли, забавно. И если нет других способов развлекаться, почему бы не поразвлечься, декламируя барнаульским колхозникам «Спекторского».

Сама книга всех этих недоумений не решает, не отвечает на вопрос, что же такое топоровская работа: исследование, инструктаж или развлечение скачущего интеллигента. Пытается, правда, ответить на него автор, но такого рода автохарактеристики всегда носят печать известной субъективности, а поэтому требуют сугубо осторожного, чтобы не сказать подозрительного, отношения. Топорову, во всяком случае, более всего импонирует поза стороннего наблюдателя, ни во что не вменяющегося, чуждого каких-либо симпатий и антипатий и паче всего избегающего какого-либо давления на своих слушателей: «Ни я от коммунаров, ни коммунары от меня ни в какой зависимости не находимся. Никто из авторов разобранных нами произведений мне и моим слушателям — не враг и не друг. Полная объективность критики в моих записях поэтому была обеспечена». Это далеко не единственное место в книге, где автор на все лады распинается в своем полном беспристрастии.

Но нужно ли говорить о том, какое наивное впечатление производят подобного рода заявления. «Репутацию книги в деревне и в рабочих районах создает в большинстве случаев не крестьянин-массовик и не рядовой рабочий, а служилый интеллигент. Часто эта репутация делается неумным и невежественным человеком, но с воротничком и галстуком». Это обстоятельство хорошо известно Топорову. Так зачем же он наивничает, зачем притворяется Иванушкой-дурячком, не понимающим, что делать репутацию книге можно не только крича о ней на всех перекрестках, не только навязывая ее при каждом удобном и неудобном случае своим друзьям и знакомым, не только анонсируя ее открыто и явно.

Существуют другие пути, гораздо более тонкие и гораздо более верные. Определенный подбор, предлагаемый вниманию слушателей (отнодь не «рекомендуемой») литературы, особая не сразу, быть может, уловимая интонация в разговоре о прочитанном (ни в коем случае не «наведение», не «подсказывание») — все это при длительном общении с слушателем оказывает на него гораздо более глубокое воздействие, чем открытая пропаганда той или иной книги, хотя бы самая красноречивая. В особенности, если сталкиваются люди различной литературной квалификации и если возможность иных воздействий заранее исключена.

Мы не знаем, какими принципами руководился Топоров, включая в программу предстоящей читки то или иное произведение. Сам он говорит, что никакими не руководился и, судя по пестроте приводимого им перечня прочитанных и обсужденных авторов, можно думать, что действительно в этой области творился у него полный сумбур. О другом сибирском учителе Топоров рассказывает, что тот читал есенинскую похабшину на вечерах в нардоме и в избе-читальне, «млея, вой и закатывая глаза». Как читал сам Топоров, как варьировалась его дикция в зависимости от симпатичности или антипатичности читаемого произведения, — об этом мы тоже не знаем. Может быть, и никак не варьировалась. Как вел он запись высказываемых слушателями-крестьянами соображений по поводу прочитанного, были ли здесь элементы какой-либо редакционной правки, хотя бы самой незначительной, — это нам тоже неизвестно. Допустим, что не было.

Но прямо-таки удивительно, как полно совпадают мнения крестьян о том или ином произведении с его собственным топоворским мнением о нем. Топоров, например, не понимает Пастернака, злобно не понимает, с издевкой, с враждебным тюканьем. И хором вторят ему коммунары «Майского Утра»:

— Ни в какие ворота стих не лезет.

— Взыскать с автора в пользу государства все, что он получил за эти стихи.

— Конфисковать у него имущество.

Мы не хотим этим сказать, что Пастернак — массовый поэт. Но нельзя человеку, едва освоившемуся с четырьмя правилами арифметики, предлагать теорию вероятности, кроме как из явного побуждения навсегда внушить ему отвращение к высшей математике. Да еще приговаривая при этом; видите, какая непонятная и неприятная вещь.

Лютый враг и обличитель есенинского упадочничества, Топоров немножко размыкает перед образцами романсно-элегической лирики Есенина. То же самое коммунары: вообще к Есенину относятся с холодком и предубежденностью, но «Письмо к матери» приняли с «нежной грустью». После читки долго сидели на местах: «вздыхали и сочувствовали».

Эти совпадения вовсе не единичны и не случайны. Топоров вообще ярый поборник классической литературы и не менее ярый ненавистник литературы новой. Из современной литературы он, за немногими исключениями, принимает только то, что носит на себе печать классической культуры художественного слова. Совершенно такими же консерваторами в области эстетики выглядят топоворские коммунары. «Гомер,

Толстой, Шекспир, Пушкин, Шелли, Грибоедов, Лермонтов и Тургенев ближе и роднее крестьянству по языку, чем Пастернак, Сельвинский, Соболев, Антокольский, Вера Инбер, Всеволод Иванов, Пильняк, Федин, Аросев, Голодный, Обрадович, Маяковский, Бабель, Караваева и многие другие современные писатели» — свидетельствует он сам.

Можно было бы и дальше продолжить сеть этих сопоставлений, обличающих поразительное сходство эстетических вкусов и требований Топорова со вкусами и требованиями крестьян-коммунаров, но достаточно и сказанного. Достаточно для того, чтобы понять, что принята и культивируемая Топоровым поза беспристрастного исследователя, слепо фиксирующего действительность, — именно поза и ничего больше. При этом поза, удачно маскирующая желание снять с себя какую бы то ни было ответственность за содержание проводимой им работы, ее направленность и ее результаты. Такова, мол, объективная действительность, а я, Топоров, тут решительно не при чем, я только чтец и протоколист.

Что отсюда следует? Следует прежде всего то, что книга Топорова лишается какого бы то ни было значения в качестве сводки материалов, рисующих действительную физиономию современного крестьянского читателя. Коммунары «Майского Утра» в эстетическом отношении — не крестьяне-массовики. За восемь лет топоворского влияния они успели прочно усвоить воззрения своего руководителя, успели насквозь проникнуться его симпатиями и антипатиями.

Надо, впрочем, оговориться, что если бы в топоворской работе и не было элементов этого своеобразного воздействия на руководимый им коллектив, и в этом случае собранный им материал был бы не лишен целого ряда крупных дефектов. Чтобы получить правильное представление о современном крестьянском читателе, как и о читателе любой другой социальной формации, надо брать читателя, как он есть, в сыром, так сказать, виде. Изучение его в таком случае надо начинать в первую очередь с обследования состава произведений, бытующих в его литературном обиходе. Топоров поступает иначе. Он заранее выбирает ряд произведений, искусственно вводит их в обиход обследуемого коллектива, а затем наблюдает реакцию коллектива на эти произведения. Самое большее, что можно получить в результате таким образом поставленного опыта, это — уяснить общие эстетические установки, эстетические навыки и требования того коллектива, над которым такого рода опыт производится, но никак не его литературный диапазон и не степень усвоения им современной литературы.

Но это так, в порядке отступления. Не будем говорить о том, что было бы, «если бы...», а будем продолжать наши выводы о том, что есть. Выводы эти касаются не только книги Топорова, но и самой проведенной и, возможно, проводимой им работы. В этом последнем случае они даже важнее, чем те, которые касаются только книги, как известного результата работы. Почему? Потому, что, если человек берет на себя обязанности культпросветчика-инструктора, то тем самым он дает право предъявить к его работе ряд известных требований, и если этим требованиям его работа не удовлетворяет, то указать ему на всю бесплодность, а может быть, и вредность его работы.

Какие это требования? Прежде всего от культпросветчика-словесника мы в праве требовать хотя бы элементарной литературной квалификации не в смысле общей начитанности, а в смысле умения должным образом разобраться в предстоящем ему потоке авторов и произведений. Топоров такой квалификацией не располагает. Он оглушен массой усвоенных им имен и названий, задавлен ими и абсолютно бессилён привести их в какую-то систему, хотя бы самую примитивную. Единственный критерий, который проводит он строго и последовательно, это — понятность произведения, его стиливая и конструктивная привычность.

В этом отношении, как уже указывалось выше, он явный и последовательный литературный реакционер. Эстетический уют литературного прошлого, с которым сросся он органически со школьной скамьи, дорог ему так же, как дороги любому обывателю герани на окне и кенар в клетке. Он физически не в состоянии говорить о нем иначе, как тоном ссылающегося благоговения. По отношению к корифеям он не скупится на самые коленопреклонные эпитеты, наоборот, все, что отстывает от этой привычной кенаро-гераневой нормы, для него — «словесная шелуха, дребедень, вычурность». Хлебников, Сельвинский, Пастернак в его представлении самое большое — сумасшедшие чудачки, а пожалуй что и люди, пишущие «из-за хлеба насущного или из-за гонора». Все, что знаменует собою какое-то движение вперед, носит какие-то следы углубленных и сложных поэтических исканий, он заставляет руководимых им слушателей обдирать самыми грязными помоями:

«А не скажут ли за границей, что в Советской России все сумасшедшие пишут и печатают.

Неужели новейшие авторы так оторвались от масс, что разучились говорить с ними по-людски».

Полное отсутствие элементарной литературной подготовки в соединении с

обывательской реакционностью ведет к тому, что и в оценке общественной значимости отдельных вещей он впадает в самую тупую безнадежную аполитичность. Произведение хорошо, если оно «талантливо, трогательно»; остальное не важно. Этому требованию, по Топорову, в равной мере удовлетворяют басни Демьяна Бедного и басни Крылова, революционная героиня Джона Рида и социальная утопия Уэльса, Маяковский (с ба-альшими оговорками) и «романтика» Клычкова. Сознание общественной значимости литературы не совсем, правда, чуждо ему, но понимание этой общественной значимости у Топорова сугубо народническое: «Крестьянин хочет, чтобы литература учила его лучше жить и помогала разбираться во всех злободневных жизненных вопросах». И тут же выдающая его с головой оговорочка: «Кроме того, ему не чуждо и бескорыстное желание отдохнуть за книгой, облиться слезой над вымыслом поэта, получить эстетическое удовольствие. Поэтому он не изгоняет из своего обихода и так называемую «чистую поэзию». Излишне говорить, что каждый провинциальный обыватель обеими руками подписался бы под такого рода декларацией: хорошее дело литература; когда нужно — и пофилософствовать можно, когда философствовать не хочется — эстетически вздремнуть в сладкий послеобеденный час.

После всех таких заявлений начинаешь сомневаться и в том, можно ли безоговорочно принять книгу Топорова даже в том случае, если бы она представляла собою сводку фактического материала, не претендуя ни на что большее. Все-таки и для собирания материала нужно обладать каким-то минимумом четких, идеологически твердых установок. Материал, собранный обывателем в советской маске, даже как материал не может быть принят без известной, более или менее основательной фильтрации. А когда такой обыватель предпринимает попытку организованного воздействия на целый крестьянский коллектив, хочет непрямо подчинить его своим идеологическим и эстетическим нормам, — надо бить тревогу. Сказанное не следует, конечно, понимать в том смысле, что надо пересматривать выводы организаций, которые прекратили травлю Топорова, проводимую некогда на страницах «Советской Сибири». Нет никаких оснований сомневаться в том, что корни этой травли действительно оказались «в зависти, невежестве и в боязни перед учителем», что он отнюдь не «хитрый классовый враг, умело окопавшийся и неустанно подтачивающий нашу работу». Но ведь мало не быть классовым врагом, чтобы вести культурно-просветительную работу среди

крестьянства. Для этого требуется еще что-то. А этого «чего-то» у Топорова как раз и нет.

Для того, чтобы правильно вести культурную пропаганду, у него не хватает ни надлежавшей литературной квалификации, ни достаточно четких и продуманных идеологических установок. Его теоретические высказывания — декларация эстетических вкусов и требований народнического обывателя, может быть, искренне желающего стать лицом к современности, но не

умеющего в этой современности отличить подлинно современное от того, что входит в современность как продукт социально и идеологически чуждых нам культурных влияний. Он преклоняется перед искони воспеваемой народниками мужицкой мудростью, но в этой мудрости не умеет отличить естественное классовое чутье советского крестьянства наших дней от психологических пережитков мелкобуржуазного культурного уклада.

3. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ ТОЛСТОГО

К. Локс

Новое «юбилейное» издание Толстого, предпринятое Гизом, впервые раскрывает нам весь сложный и трудный творческий путь писателя, работа над которым еще только начинается. Толстой, новый и незнакомый, вырастает во всю свою громадную величину. Мы узнали, что «Детство, отрочество и юность» были написаны совершенно иначе, мы впервые познакомились с предполагавшимся окончанием «Казак», и огромная работа со всей своей елохнотью, колебаниями, успехами и поражениями ясна нам до конца. Сущность этой работы в первый период так называемой молодости сводилась к борьбе с тяжелым материалом жизни, желанием овладеть им на путях искусства. Отсюда два больших, стили, одинаково ясные как в «трилогии», так и в «Казак». Тексты, вновь опубликованные Гизом, дают ключ к этой борьбе. С благодарностью свидетельствуем, что самое издание, вновь открывшее нам Толстого как с внешней стороны, так и с чисто редакционной, выполнено образцово¹⁾.

I

Литературные вкусы Толстого в пору создания первых вещей обозначились так отчетливо, что впоследствии, уже зрелым мастером, он изменил их немного. Эти вкусы можно определить, если следовать обычным немудреным терминам, как требование естественности и правды в искусстве. «Великий Ламартин, — говорит он, — описывая свои впечатления на лодке посреди моря, когда одна доска отделяла его от смерти, говорит, чтобы описать как хороши были капли, падавшие с весел в море: «...как жемчуг, падающий в се-

ребряный таз». Прочтя эту фразу, воображение мое сейчас же перенеслось в девичью, и я представил себе горничную с засученными рукавами, которая над серебряным умывальником моет жемчужное ожерелье своей госпожи и нечаянно уронила несколько жемчужинок, а о море и о той картине, которую с помощью поэта воображение рисовало мне за минуту, я уже забыл. Ежели бы Ламартин, гениальный Ламартин, сказал мне: какого цвета были эти капли, как они падали и стекали по мокрому дереву весла, какие маленькие кружки производили они, падая в воду, воображение мое осталось бы верно ему, но намеков на серебряный таз заставил ум упорхнуть далеко... Скажите по правде, бывает ли что-нибудь подобное? Капли воды при лунном свете, падающие в море, горят лучше жемчужин, падающих в таз, и ни капли не похожи на жемчужины, ни таз — па море. Я не мешаю сравнивать с драгоценными камнями, но нужно, чтобы сравнение было верно, ценность же предмета не заставит меня вообразить сравниваемый предмет ни лучше, ни яснее. Подобным суждениям Толстой не изменял никогда, редко выступая за границы обычного применения слова, редко пользуясь тропами. Метафора и метафорический эпитет у него исключение, но тем труднее была поставленная задача, — литературная манера Толстого никоим образом не определяется поверхностным или наивным реализмом. Он глубоко, так сказать, в корне материалистичен: его основной фонд — восприятия и ощущения, но раскрывает он их или старается раскрыть со всей сложностью скрытых в самом непосредственном явлении возможностей. Вот откуда такая меткость и точность толстовской фразы. Вот откуда неуклюжее топтанье на месте, бесконечные «что» и «который». Но задача для него разрешается не в плоскости словесной, а в находке-

¹⁾ Том первый — «Детство». 350 стр. Ред. Цявловского и Грузинского. Том второй — «Отрочество, Юность». 418 стр. Ред. Цявловского. Том шестой — «Казак». 315 стр. Ред. Грузинского.

нии самих вещей и в таком приспособлении к ним наблюдателя, чтобы можно было «верно» увидеть эти вещи, вплоть до «маленьких кружков», расходящихся по воде. Отсюда особый интерес к Стерну, как экспериментатору в области познания вещей, к этому гениальному художнику нюансов и деталей, все время, в сущности, занимавшемуся историей «кружочков на воде». Правда, в отличие от Толстого, эти «кружочки» имели для него единственный смысл — отражения в человеческой душе. И занимаясь переводами из «Сентиментального Путешествия», Толстой решил для себя чрезвычайно сложную проблему — стать ему художником бытия или художником эмоции, пользуясь при этом методом изучения деталей, методом «верного» реалистического письма. Вновь опубликованные материалы к трилогии прекрасно передают эту борьбу, не только литературную, потому что для Толстого не существовало «прекрасной словесности» вне ее отношения к самым существенным проблемам жизни. Какую манеру он предпочел, почему? Где исходные корни «литературных опытов»?

II

Правда и естественность в искусстве обязывают, конечно, не только к точности и верности сравнений, они обязывают к большему — к верному изображению жизни. Это и было для Толстого почти трагической проблемой. Критика последних лет вскрыла узко-классовые и партийные пристрастия великого писателя. В отличие от других, он позволяет себе полную откровенность, не признавая, на правах феодала, петербургской бюрократии, но и с наименьшей яростью не признает «семинаристов». В одном из предисловий к «Войне и миру» о последнем говорится с полной откровенностью. Вообще в этом отношении Толстой не представляет никаких загадок. Но путь к такой откровенности был чрезвычайно сложен — в нем переплелись в высшей степени своеобразно и литературные искания, влияния и опыты, с отличающей юность идеализмом, и другие мотивы, разрешение которых лежало совсем в иной плоскости. В «Детстве» есть замечательная глава «о свете», она является как бы развитием поэтики Толстого. Отдельные мысли из этой выброшенной главы в окончательной редакции «Детства» вышли впоследствии в сильно измененном виде в упомянутом предисловии к «Войне и миру». Именно здесь Толстой подходит к имевшей для него особое значение концепции героя: «Редко герой романа, — пишет Толстой, — т.-е. лицо, которое любит автор ¹⁾, бывает из высшего

круга и еще реже, чтоб этот герой был хороший человек; большею же частью высшее общество выставляется только для того, чтобы показать, какие все дурные, подлые и злые люди живут в нем; оно служит, чтобы нагляднее выступили добродетели героев — чиновников, воспитанниц, мещан. Когда выступает на сцену князь, я вперед знаю, что он будет богатый, знатный, но гордый, невежественный, злой, будет злодеем романа... Для чего князь или граф, княгиня или графиня всегда именно те необходимые лица в романе, которые разрушают счастье и вредят добродетельным героям. Почему знатные, богатство всегда бывают атрибутами злодейства. Может быть, этот контраст нужен для паразитичности, но он, по-моему, вредит естественности ²⁾. Мне кажется, что между людьми знатыми и богатыми, напротив, меньше бывает злодеев, потому что им меньше искушений, а они больше в состоянии, чем низшие классы, получить настоящее образование, и верно судить о вещах». В том же отрывке встречается рассуждение, объясняющее зло. Оно сделано в духе Руссо, и таким образом открывает источник понимания характеров и учения о «естественности», как основе искусства. Человек по природе добр, зло — случайность, объясняющаяся социальными условиями: «Все зло, которое я испытываю, происходит от невежества, слабости, страстей людских, но никогда от желания делать зло».

Правда, в учение Руссо внесены существенные поправки: источником зла вместо «цивилизации» объявлено именно «невежество», но зато первая часть формулы остается неприкосновенной. А в изображении отца Толстой показывает, как «страсти и слабости людские» становятся если не источником зла, то во всяком случае известного морального падения, которое он, впрочем, не осуждает. Итак, первый период Толстого отмечен исканием какого-то равновесия, гармонии. Он хочет примирить страсть, эмоцию и жизнь, отвергает «злодейство». Задача могла быть решена только соответствующим «героем», который устанавливает это равновесие. Путь к этому равновесию был труден и сложен. Черновики и неопубликованные отрывки указывают на страшную борьбу, которая шла в самом разрезе «жизненного» и «литературного» отношения к себе и людям. История этой борьбы раскрывает много неясного в Толстом.

III

Быть может, одной из самых сильных сторон толстовского гения было физиологическое восприятие жизни.

¹⁾ Замечательное определение. Курсив наш

²⁾ Курсив наш.

Никто не придавал такого значения животной стороне человека и никто с таким мастерством не умел переводить физиологию в область моральную. В «Казаках» земная плотская красота стала источником утверждения бытия, но и вызвала у дворянского юнкера бурю страстей. На ряду с этим естественное следствие физиологической черезмерности — отвращение к жизни, а литературно — возможность сатиры. С этим литературным жанром у Толстого тоже были свои особые счеты: поскольку он ищет «естественности», т. е. равновесия, — ему следует избегать сатиры. Быт дворянской усадьбы и дворянского общества между тем был особенно физиологичен. Мы говорим о физиологии в самом широком смысле этого слова: здесь и патриархальные бабушки, и дети, и гувернеры, и обеды, и любовные пашни, выезды, прогулки — все то, что создавало подлинную интимную, а не идеологическую сторону жизни «дворянского гнезда». В повести вся семейная физиология в ее, так сказать, «чистом виде» сосредоточена в облике отца и истории его жинитьбы на «прекрасной фламандке». Но, кроме этого, была еще физиология, иногда мучительная, позорная, которая протекла за кулисами барского дома, в девичьих, на лестницах, в коридорах. Здесь надвигались такие возможности, которые могли разрушить всякую естественность и всякую гармонию: «Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнадцать; она была очень хороша, но боюсь описывать ее, боюсь, чтобы воображение снова не представило мне оборочительный обманчивый образ, составившийся в нем во время моей страсти. Чтоб не ошибиться, скажу только, что она была необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина, а мне было четырнадцать лет». В этой главе «Мама» и в окончательной редакции «Детства» рассказ в достаточной степени откровенен. Мальчик сообщает, как он подглядывал за своим старшим братом, «как он сидит в эту минуту под лестницей и все на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи». Но в предварительной редакции эта глава гораздо более вышукла: «С того самого дня все свободное время, которое я мог от принужденных занятий, я посвящал тому, чтобы, спрятавшись сзади на площадке лестницы, дожидаться той минуты, когда она выйдет из девичьей и пройдет мимо меня или заговорит с кем-нибудь, или примется гладить в сенях платочки и чепчики. Смотреть, слушать ее было для меня верхом наслаждения. Запах масла и волос от ее головы, когда она близко проходила мимо, заставлял меня задыхаться от волнения, когда в классной я чувствовал запах спаленного утюгом сукна, до-

казывавшего, что она гладит на лестнице, я совершенно терялся и не только не мог учиться, но даже казывать знакомые уроки. Я проводил целые часы в каком-то упойтельном восторге, глядя на нее, когда она, засучив полные белые руки, перемывала в корыте мелкое белье бабушки. Но ничто не может передать того невыразимого наслаждения и вместе тревоги, которые я испытывал, когда смотрел на нее в то время, как она, нагнувшись, мыла лестницу».

Вот когда начались знаменитые «пенки с желтым пятном вместо зеленого».

«Запах масла и волос от ее головы», Мама за стиркой белья или мытьем лестницы — весь этот утробной эротизм стерт в «чистой» редакции «Детства», как слишком чрезмерный, как выпирающий наружу из границ той искусственной и несколько манерной обработки текста, которой он подвергся в окончательной редакции. И дальше параллель между двумя редакциями трилогии можно провести последовательно по всем остальным главам. Речь в данном случае идет даже не об отдельных деталях, а о мотивах, замыслах и постановке характеров. Соответственно рассуждению о героях, которые прежде всего должны быть люди, и при этом люди скорее хорошие, чем плохие, Толстой изменяет карикатурную вначале характеристику и князя Ивана Ивановича. В первоначальной редакции — это человек «довольно высокого роста, средних лет и в военном мундире. Он был тонок, — особенно ноги, — но не строен; все тело его при всяком движении перегибалось; руки были очень длинные. Ежели бы он не имел большого апломба в приемах, наружность его напоминала бы обезьяню. Он был плешив; лоб был большой; нос загибался к губам; нижняя челюсть выдавалась вперед так, что это даже было неестественно. Привыкнув к мысли, что ум есть всегдашнее возмездие красоты, вид дурного лица всегда заставлял меня составлять самое выгодное понятие об уме. Кукурузов был дурен до невозможности, и ежели бы не уверенность, с которой он носил свою уродливость, он внушал бы отвращение». Этот портрет был изменен следующим образом: «Это был человек лет семидесяти, высокого роста, в военном мундире, с большими эполетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест, и с спокойным, открытым выражением лица. Свобода и простота его движений поразили меня. Несмотря на то, что только на затылке его оставался полукруг жидких волос и что положение верхней губы ясно доказывало недостаток зубов, лицо его еще было замечательной красоты». О сравни-

тельных художественных достоинствах портрета спорить не приходится. В окончательной редакции чувствуется эта широкая уверенная манера Толстого, которой он пользовался всякий раз, когда хотел избежать излишней сложности в раскрытии моральных качеств того или иного лица. Характерно упрощение, при этом сделанное в определенную сторону: от сложного безобразия, обзывавшего вводить в дальнейшем целый ряд оправдательных мотивов на тему «ум есть всегдашнее возмездие красоты», к условному, общепринятому в известной среде портрету военного александровской эпохи. Исчезла даже самая фамилия «Кукурюзов», столь не идущая «князю».

Но в смысле отдельных деталей, закрепляющих резкими натуралистическими чертами быт дворянской семьи, любопытнее всего изменения, внесенные в главы о портфеле отца («ключик») и гувернере Сен-Жероме. В первой главе рассказ обрывается словами:

«Я не успел прислушаться к голосу совести и принялся рассматривать то, что находилось в портфеле». О том, что находилось в портфеле, рассказано довольно подробно в черновиках:

«Тут было несколько пачек писем, разделенных по почеркам, и с надписями на каждой пачке. На одной значилось:

«Письма Лизы», на другой «Lettres de Clara», на третьей «Записки бедной Аксюты... «Oh, mon bien aimé, rien ne peut éгалer la douleur, que je sens de ne plus te voir¹⁾. Ради бога приезжай! Стыд и раскаяние» и т. д. Это я прочел в пачке писем Лизы. Письма Клары были писаны все по-французски; но с такими ошибками, что ежили бы я написал так под диктовку, то меня, верно, оставили бы без обеда... Письма же Аксюты были написаны или писарской рукой на больших листах серой бумаги, или на клочках черными кривыми каракулями». В портфеле, кроме этого, была «изогнутая колода карт», «на которой рукой папы написано было: Понтери, которыми в ночь 17 января 1814 г. выиграл более 400.000». Все эти сувениры дополняют тот образ палá, о котором можно догадываться по окончательным текстам «Детства»: в них Толстой предпочел выбросить несколько реалистических деталей (сцена в кондитерской, когда палá ждет продавщицу). В них образ не раскрыт до конца — слишком точная характеристика перевела бы его из плана душевного восприятия в план быта, а Толстой именно все время этого избе-

гает. По тем же причинам выброшено несколько глав, рисующих закулисный быт усадьбы с ее гувернерами и лакеями. Уход Карла Ивановича обработан с большой трагичностью, «бедный старик», действительно выброшенный на улицу, просто исчезает после нескольких чувствительных фраз. В черновиках эта чувствительность подчеркнута той комикой емешного и страшного (рассказ Карла Ивановича о себе), которая делает его образ еще более жалким. В главах о Сен-Жероме выпущена отвратительная сцена, когда Сен-Жером бьет по лицу Василия и затем платит ему деньги «за молчание». Равным образом выброшен разговор Василия и Маши об их женитьбе и будущей судьбе — тяжелый, неприятный, «крепостной» разговор.

Выводы таковы: первые редакции трилогии натуралистичны, раскрывают быт и персонажей подробно, исчерпывающим образом. Герой еще не выдвинут на первый план, он не объединяет всех впечатлений в той степени, как это сделано в окончательном тексте, скорее растворяется в подробностях и деталях, более осязаемых и выпуклых. Гармония и «естественность» были нарушены, быт слишком обнажился. Преодолеть его можно было по двум линиям: или оставить весь натурализм, обострив его и одновременно уничтожив сатирическими выводами, или создав совсем другую господствующую точку зрения, деформировавшую материал под углом восприятия «мальчика» особого склада, склонного к самомучительству, мечтательности, со своеобразно юмористическим отношением к виденному. Этот юмор, направленный и на себя, и на окружающих, является своеобразным разрешением трагичности семьи. Так мало-помалу создается герой, бывший всегда для Толстого наиболее трудной в чисто техническом смысле задачей. Композиционное значение героя, организующего материал, могло быть разрешено в дальнейшем или на путях идеологического оформления характера, или его чрезвычайной волевым темпераментом, овладевавшим жизнью в силу мощного участия в ней. Обе эти возможности Толстой пытался разрешить в «Казаках», работа над которыми, длившаяся десять лет (1852—62 г.), протекала одновременно с работой над автобиографической трилогией и отмечена теми же колебаниями. «Детство, отрочество и юность» закончились своеобразной победой над бытом, над натурализмом, который оказался вне рамок литературных вкусов Толстого того времени, понятых им в стиле сознательной идеализации, сознательного и сильного «оправдания» своего бытия. В итоге он предъявляет к читателю соответствующие требования, источники которых мы

¹⁾ О, мой возлюбленный, ничто не может сравниться со скорбью, которую я испытываю в разлуке с тобой.

старались раскрыть. Требования эти следующие: «Чтобы быть принятым в число моих избранных читателей, я требую очень немного: чтобы вы были чувствительны, т.-е. иногда могли пожелать от души и даже пролить несколько слез об вымышленном лице, которого вы полюбили, и от сердца порадоваться за него, и не стыдились бы этого; чтоб вы любили свои воспоминания; чтоб вы были человек религиозный; чтоб вы, читая мою повесть, искали таких мест, которые задедут вас за сердце, а не таких, которые заставят вас смеяться; ¹⁾ чтоб вы из зависти не презирали хорошего круга, ежели вы даже не принадлежите к нему, но смотрите на него спокойно и беспристрастно,—я принимаю вас в число избранных».

IV

Текст «Казаков», известный нам до последнего времени, этот чистовой и отделанный литературный монтаж, несмотря на его совершенство, бледнеет и отступает на задний план, когда знакомишься с неосуществленной второй частью повести и теми богатыми сюжетными возможностями, которые скрываются в черновых набросках. Самый сюжет представляет собой, как справедливо отмечено А. Грузинским, разительное сходство с «Цыганами» Пушкина. Общий контраст первобытного человека и цивилизованного дан в двух парах: Лукашки (Кирки) — Оленина, Марьяны и того же Оленина. По окончательному замыслу Оленин сходится с Марьяной, ее муж казак (он носит разные имена) бежит к горцам, затем возвращается через несколько лет. Происходит столкновение, конец которого неясен. По некоторым вариантам, казак казнен, офицер ранен, по другим, Марьяна убивает Оленина. Сам Оленин то бегущий от цивилизации к опрощению московский «молодой человек», то блестящий светский офицер, поддерживавший связь с кн. Воронцовой, впоследствии изображенной в «Хаджи-Мурате». Сюжет, таким образом, до конца драматизован, т.-е. приводит в действие те скрытые пружины, которые только чувствуются в первой известной нам части повести. Быть может, Толстой отказался от такого окончания, не желая повторять Пушкина, быть может, не решался разрушить ту идеологическую концепцию героя, которая в конце концов так отчетливо удалась ему. Во всяком случае, об этом можно только пожалеть. По богатству и красочности материала, по сильной и плотной ткани изображения неоконченные «Казаки» воспринимаются как большое достижение. Но твор-

ческая непосредственность была не нужна в данное время Толстому. Он решает проблему, с самых ранних лет занимающую его: проблему победы над жизнью, преодоления ее трагической двойственности. Выход был наметчен в искании «естественности» и гармонии, но когда к концу работы над трилогией идеализм стал принимать все более отвлеченные формы, Толстой решил найти «естественность» резким разрывом с неестественностью. Оленин, подобно герою Руссо, на русский лад, конечно, бежит от светского общества, от своего «избранного» круга. Теперь он уже в силах «смеяться» над ним, мысль о женитьбе на казачке, о слиянии с этой простой, сильной жизнью кажется ему «естественной»: «Теперь,—сообщает он другу,—не буду тебе писать ничего про «то», как все случилось, скажу только, что я счастлив, спокоен и чувствую себя сильным, как никогда не был в жизни. Жизнь моя теперь ясна для меня, я уж не один и знаю свое место и знаю свою цель.—Жена моя—Марьяна, дом мой—Новомлинская станица, цеть моя—я счастлив, вот моя цель. Кто счастлив, тот прав. Каких еще целей, желаний, какой еще правды, когда чувствуешь себя на своем месте во всем божьем мире, когда ничего больше не хочешь?»

«Повторяю опять, что я полезен и прав, потому что я счастлив: и не могу ошибаться, потому что счастье есть высшая очевидность». Проблема таким образом разрешена; все трудности и сложности, связанные с принадлежностями к высшему кругу, отпали, нужно было только выйти из него, и нет больше Сен-Жерома, бьющего по лицу Василия, нет портфеля папа и нет потребности так или иначе скрывать и замалчивать теневую сторону жизни. Точно также незачем бояться «натуры»: чем реальнее — тем вернее. И Толстой в полной мере чувствует себя в «Казаках» реалистом. Словарь обрастает диалектизмами, все подробности — и запахи Епипки, и Марьяна, лепящая о заборы коровий помет — кажутся «естественными» и милыми. Слиянность с жизнью,—так хотел Толстой. Для него это была одновременно и узко личная, почти биологическая, проблема и литературная. «Казаки» и представляют ряд опытов решения проблемы, вдруг—по мере работы над ними—снова оказавшейся чрезвычайно сложной и запутанной.

VII

Ей, Марьяна, брось работу.
Слышишь, палат за горой;
Верно напи из походу
Казаки идут домой.
Нужно выйти на мосточек
С хлебом-солью их встречать
Теперь будет твой побочин

¹⁾ Курочь наш.

Круглу ночь с тобой гулять,
Красной шелковой сорочкой
Косу русую свяжи,
Вздень чуваки с оторочкой
И со стрелками чулки,
Вздень на шейку лебедицу
Ожерелку из монет
И обновочку любиму —
Канаусовый бешмет.

Так начал в 1853 году Толстой один из первых набросков к «Казакам». Образ Марьяны и был тем, обо что разбилось хрупкое «счастье» юнкера. По последним вариантам, она стреляет в него, мстя за повешенного «урвана». Но к этому образу Толстой возвращается все с большей настойчивостью. В нем сосредоточена вся сила животного бытия в его высшем проявлении — красоте, при этом красоте такой же спокойной, уверенной и оправданной, как красота природы. Характерно, что в вариантах Толстой особенно любит останавливаться на образе Марьяны-матери, работницы. В неприкрашенном виде она, как и Мама, мывшая лестницу, еще дороже ему: «Марьяна вошла к себе в хату, расстегнула широкую грудь, сняла канаусовый бешмет, разула синие чулки и сняла с белых ног черевки; она подпернула выше рубаху, взяла жердь и пошла загонять и доить скотину. Когда она убрала скотину, налепила кизяки на заборы и нарубила дров на подтопки, она надела старый бешмет...» Все эти подробности особенно привлекают Толстого, — чем сильнее «натура», тем лучше, тем полнее слияние с ней. Но и биологическая жизнь человека не так проста, как это кажется. В ней не только величие и спокойствие гор, в ней нечто неведомое природе и свойственное только человеку. Это те «страсти роковые», от которых, по слову поэта, «защиты нет». Здесь Толстой остановился и оборвал «Казак», оставив в черновиках весь этот мир скрытых безумств и упоений, который влек его самого в годы молодости к цыганскому табору, на войну, на тот же Кавказ. Проблема не могла быть разрешена в таком разрезе: запах крови, ревность, месть, — это ли слияние с жизнью? Нет, лучше оставить Оленина издали влюбленным в казачку, которой ближе и милей «урван» Лукашка, а Оленин? — пусть он пофилософствует о Марьяне в стиле

Руссо: «Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы; но я не имею своей воли, а через меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир божий, вся природа вдавливает любовь эту в мою душу и говорит: «любви». Жизнь, ее радость вместе с этими рассуждениями ускользнула куда-то, и повесть механически была окончена переводом роты Оленина в другую станицу. Что же случилось? Снова, как и в трилогии, герой берет на себя функцию преодоления быта, оказавшегося таким сложным. Он остался, в конце концов, идеологом, а нужен был человек действия, не рассуждающий о философском оправдании бытия. Соответственно этому «чистой» текст «Казак» написан с точки зрения Оленина, а Марьяна, и Лукашка, и весь быт казачьей станицы даны в его оформлении. В предполагавшемся окончании «Казак» — наоборот. Там Оленин отступает на задний план, на первом — Марьяна, краски, переливы, узор прихотливо и свободно развивающихся событий. Но в эту пору для Толстого важнее всего индивидуальность героя. Он эгоцентричен и решает проблемы для себя, для своего личного благополучия, и снова «жизнь» с ее поучительной моральной действительностью «хорошего» и «плохого» превращается для него в неразвязанный узел. Иными словами — мы все еще в царстве лирики, достаточно философской и рассуждающей. Только к эпохе создания «Войны и мира» Толстой нашел способы разрубить эти узлы и поместить своих рассуждающих героев в самую сердцевину «жизни», принять бытие как историю. Тогда и натурализм, и сатира на светское общество «избранного» круга стали доступны ему. Герой занял подобающее ему место, он подчиняется всем случайностям и страстям катящейся жизни, за ним только оставлено право рассуждать, сомневаться, морализировать. Так намечается путь Толстого. Литературные опыты для него не имели ценности сами по себе — они всегда были в то же время опытами решения проблем, встававших по мере жизненного роста.

Книжное обозрение

1. ДАНИЛЫЧ-КОЧИН «Пласт». Н. Виленской. — 2. М. ПЛАТОШКИН «Отец». Н. Седова. — 3. ПЕТР СКОСЫРЕВ «Взрыв». Арк. Глаголева. — 4. ЯН СТРАУЯН «Скитания». Виктора Гольцева. — 5. СТИВЕН КРЭН «Алый знак доблести». Я. Фрида. — 6. «Армянские сказки». Р. Рош.

Данилыч-Кочин. — «Пласт». Роман. Изд. «Федерация». 1930 г. Стр. 282. Ц. 2 р. 70 к.

Автор продуманно и умело использовал в увлекательном романе знаковый героический сюжет, — восстановление производства в условиях гражданской войны.

Шахта «Борьба» гибнет. Истощенные недра, отсутствие инвентаря, голод, падение настроения среди рабочих ставят на карту вопрос о ее существовании. И тут главным инженером рудоуправления открываются тщательно запрятанные вредителем шпайгером планы и чертежи нового пласта, «скрывающего в себе многомиллионные пуды угля». Устроив взрыв, шпайгер успевает скрыться в лагерь эс-лов, наступающих на шахту.

Вокруг этого, вплетая побочные эпизоды и завязывая сложные отношения между персонажами, развертывает автор свой роман. В нем нет героев. Вернее, их целый ряд: старый инженер, бескорыстно преданный делу; «идейный» карьерист, вредитель шпайгер. Рабочие — молодые и старые, партийные и беспартийные, колеблющиеся и устойчивые, энтузиасты и рационалисты. Участвуют в романе и крестьяне: хозяйственник Крутых, бедняк Губарев. Есть еще спекулянт-лесничий, предатель, начальник станции. Все эти образы выношены, логически оправданы, проведены в романе от начала до конца. Большинству из них предпослано нечто в роде предварительного жизнеописания. Особенно удачны «озорники», отчаянные герои гражданской войны: Сенька Булат, Яшка Огнев. Правдиво передана жизнь крестьянской девушки Фиски, ставшей сознательной пролетаркой.

Автор не увлекается ненужными деталями, умеет вовремя опускать завесу, пресекая действия своих героев, чтобы затем показать их в новом положении. Наконец, следует отметить его культурность и блестящую техническую осведомленность.

Это все большие плюсы. Крупный недостаток — отсутствие общей проблемы, которой были бы подчинены

все элементы произведения. Теперь, когда события гражданской войны рисуются в исторической перспективе, мы в праве требовать от автора такого романа не только удачных зарисовок, передачи революционного настроения, но и глубоких обобщений.

Данилыч-Кочин еще писатель «без имени». «Пласт» обнаруживает его несомненную зрелость и даровитость. Это дает нам право ждать в дальнейшем от автора больших достижений.

Н. Виленская

М. Платошкин. — «Отец». Рассказы. Изд. «Молодая Гвардия». М. 1930. стр. 220 Ц. 1 р. 60 к.

Если произведение М. Платошкина «В дороге» нашло для себя законное место в пролетарской литературе, то совершенно трогательные и целомудреннее по своей неопытности ранние упражнения того же автора никак не просились в отдельное издание. «Молодая Гвардия» вместе с автором рассказала, однако, иначе и выпустила книжку под названием «Отец».

Сказать, что для М. Платошкина пять писательских лет прошли бесследно, будет большой неправдой. Например, рассказ, помеченный 1929 годом, куда более зрелый, чем рассказ, датированный 1924 г. По всем своим статьям он вполне заслуживает названия именно рассказа, достаточно убедительно повествующего о борьбе в пожилом рабочем старых привычек с новыми, о вступлении героя в шеренгу убежденных строителей социализма. В остальных же автор ни на йоту творчески не поднялся выше своих излюбленных героев — фабричных подростков, расположенных им, кстати, обязательно попарно и не раз повторенных. Если (сделаем такое предположение) эти рассказы для юношества, — то известно, что хорошо и жизненно пишут для юношества как раз люди, перешагнувшие эту счастливую пору жизни. М. Платошкин же весь, без остатка, в кругу своих героев; он — играющий, а не организатор игр. И поэтому-то играющие ему не подчиняются, не видят в нем руководителя.

Труден путь пролетария, взявшегося за перо. Яркий пример тому — Платошкин. Но к настоящему времени ряды пролетарских прозаиков настолько выросли и уплотнились, что среди них рецензируемая книжка кажется только «робким зигзагом». Только в пору самого первоначального собрания пролетарской прозы выпуск «Отца» был бы совершенно необходим.

Н. Седов

Петр Скосырев. — «Взрыв». Роман. Изд. «Молодая Гвардия». 1930 г. Стр. 311. Ц. 2 р. 25 коп.

Красная армия наших дней, эпохи социалистического строительства, несмотря на ряд отдельных неплохих недавно появившихся произведений, еще ждет писателя. Эта огромная общественно важности тема еще ждет своей детальной художественной разработки. Естественно поэтому, что всякое литературное произведение, посвященное жизни Красной армии на новом этапе ее развития, не может пройти мимо нашего внимания.

К сожалению, роман Петра Скосырева «Взрыв» нельзя признать удовлетворяющим тем требованиям, которые налагает на писателя эта ответственнойшая тема.

Чрезвычайно плохо, когда писатель начинает отворачиваться от «злободневности», но не менее плохо, когда он подходит к современности поверхностно, небрежно, забывая о том, что эта поверхностность объективно может быть воспринята лишь только как другая, оборотная сторона одной и той же «медали» — внутреннего равнодушия художника к современности.

Даже издательское предисловие и послесловие, всячески стремящиеся оправдать выпуск книги Скосырева, вынуждены признать, что «задача показа красноармейских будней нашего времени не разрешена автором, а только намечена», что роман «выдвигает на первый план события, развертывающиеся вне Красной армии», что «ряд существенных моментов» не показан читателю и т. д., и т. п. Словом, несмотря на свой хвалебный тон, издательские примечания к роману по существу совершенно «убивают» его.

В основу своего повествования Скосырев положил, как выражается автор предисловия, «воссоздание куска реальной действительности», — взрыв в ленинградском Деловом клубе, учиненный года три назад белогвардейцами. «Кусок» этот весьма небольшой, а «роман» у Скосырева получился весьма пухлый. Достигнуто это (разбухание романа) очень простым способом. Фотография «куска» обильно «разбавляется», выражаясь словами того же предисло-

вия, «всеми острыми элементами авантюрного романа», т. е., проще говоря, всеми штампами «приключенческой» литературы.

Скосырев как будто бы стремится к максимальной идеологической выдержанности, его главный герой, комполка Стожаров, как будто бы «примерный работник», идеальный общественник, как будто бы идеологически безукоризненный образ. Но все это обстоит так только на первый поверхностный взгляд. Присматриваясь к роману Скосырева внимательнее, ясно улавливаем совершенно определенный мешанско-обывательский «душок». Скосырев с великим удовольствием смакует «тему» стожаровской «тяги к женщине», наполняя свое повествование «течением самой деятельной и живой» пошлости, приобретающей достаточно яркую «выразительность», например, хотя бы в сцене встречи Стожарова с некоей «золотокосой Юленькой». Все соответствующие стилистические «перлы» тут присутствуют налицо. Тут и «девичья, волнующая походка», и «тугое волнение, зажигающее кровь», и готовность «обнять золотоволосую девушку страстно и нежно, целовать ее, сжимать» и, разумеется, совершенно «необходимые» многоточия... Скосырев вообще с удовольствием заставляет своих персонажей «философствовать» на «темы» в роде того, что «у каждого бывают такие минуты, когда ему хочется любую женщину, кроме только той, какая с ним сейчас». Словом, обывателя в книжке Скосырева есть что почитать.

Художественная культура автора «Взрыва» (если только о ней вообще можно говорить в применении к данной книжке) крайне низка. Стилистика Скосырева местами представляет собой бессмысленный набор пустых слов, например: «Из бездонных глубин беспмятства... она постепенно перешла в глубины, более мелкие...» и т. п.

«Обстоятельно», «со вкусом» живописуя интимно-сердечный мир Стожарова, автор о подлинном красноармейском быте, о подлинной жизни Красной армии говорит крайне сухо, схематично, конспективно.

Художественный показ Красной армии, как могучей социальной школы, как огромной социальной фабрики, выковывающей сознание нового человека — активного участника социалистического наступления, в романе Скосырева отсутствует.

Издательству «Молодая Гвардия» не мешало бы обратить более серьезное, чем доселе, внимание на художественное качество выпускаемой им беллетристической продукции.

Арка Глаголе в

Ян Страуян. — «Скитания». Повести. Рассказы. Очерки. «ЗИФ», М. — Л. 1930. Стр. 117. Ц. 1 р. 20 к.

Большинство очерков, вошедших в рецензируемую книгу, носит полубеллетристический, полумемуарный характер. Они принадлежат к тому своеобразному промежуточному литературному жанру, который получил у нас широкое распространение и имеет несомненный успех. К этому ряду литературы относятся прежде всего воспоминания Яна Страуяна, объединенные в небольшой цикл «Про пятый год». Автор, который был в 1905 г. сначала активным участником революционной борьбы в Латвии, а затем — членом подпольной военной организации большевиков в Москве, в живой и занимательной форме повествует о пережитом.

К этому же жанру примыкает цикл очерков «Скитания», в которых Страуян описывает свои заграничные впечатления. Францию он вновь посетил много лет спустя после того, как он жил в Париже в числе других эмигрантов-революционеров, работая под руководством В. И. Ленина. Очерк «Живые камни» специально посвящен воспоминаниям и о парижских встречах с Лениным. В других очерках этого цикла автор дает ряд беглых, но удачных зарисовок уличной жизни за границей. Перед читателем мелькают посетители всемирно известных парижских кафе, сытые и прядиримчивые провинциаль-буржуа, немецкие бюргеры, участники революционных демонстраций в Вене.

Повесть об итальянском беспорядке — «Преступление Пеппино» — и небольшие «Китайские рассказы», в которых изображена ужасающая жизнь трудящихся, угнетенных милитаристами, следует отнести к сюжетной прозе. В этих рассказах мы находим больше образности и напряженности, чем в очерках мемуарного характера, о которых мы говорили выше. Среди них выделяются «Гроб», «Же-Лень» и «Ли-Чанг», исполненные настоящего драматизма.

Виктор Гольцев

Стивен Крэн. — «Алый знак доблести». Перев. с англ. А. В. Кривцовой и Евг. Ланна. Вступит. статья Евг. Ланна. Предисл. Дж. Конрада. «Земля и Фабрика». М. — Л. 1930. Стр. 231. Ц. 1 р. 40 к.

Стивен Крэн умер в 1900 г. 29 лет. Повесть «Алый знак доблести» была написана им в 1895 г.; новеллы из книги «Маленький полк», включенные в рецензируемое издание, датированы 1897 годом. Мы узнаем этого американского писателя с запозданием на 35 лет. Но его вещи во многом выдержали испытание временем; перед нами — крупный художник.

Просто не верится, что он мог, не читав Стендаля, так свободно и уверенно, играя передним и дальним планами и деталями, распоряжаться батальным материалом. Прав автор вступительной статьи Евгений Ланн, утверждая, что Крэн задолго до возникновения унанимизма пользовался унанимистическим методом работы. Искусство, с каким этот писатель-импрессионист изображает психологию солдатского коллектива, несомненно, позволяет считать его предшественником Ж. Ромэна. Скупость, полное владение тонкими изобразительными средствами, эмоциональность, суровое и свободное развитие повествования придают особую законченность, цельность «Алому знаку доблести».

Крэн стремится дать в обобщенном виде психологию армии, психологию людей, находящихся на передовых позициях. Его особенно интересует психология необстрелянных солдат, новичков, процесс превращения таких новичков, в смелых воляк, совершающих героические поступки. Отдельные места в этом отношении чрезвычайно удались ему. Но обобщая, Крэн сводит всю войну (и вообще всякую войну, так как обстановка гражданской войны в Соединенных Штатах явно условна), к переживаниям одного или нескольких растерянных, действующих вслепую солдат, как бы дает «стандарт» всех войн, всех воюющих сторон, всех вооруженных, сражающихся людей. Такой «общечеловеческий» подход наивен, упрощен и неправилен; и хотя ему книга Крэна отчасти обязана стройностью и обобщенностью, — он снижает ее ценность.

Но нужно помнить, что перед нами не современник; суждение о вещах Крэна нужно выносить, учитывая временную дистанцию, отдаляющую писателя от нас. Издательство поступило правильно, познакомив нас с этим интересным художником.

Переведена книга в высшей степени заботливо, литературно. Вступительная статья знакомит с биографией С. Крэна и с его творчеством.

Я. Фрид

Армянские сказки. Перевод и примечания Я. Хачатрянца. Введение М. Шагинян. Изд. «Academia». 1930 г. (Сокровища мировой литературы). Стр. 296. Ц. 2 р 40к.

Этот небольшой прекрасно изданный сборник представляет огромный интерес и для специалиста-фольклориста, занимающегося сравнительным изучением сказок, и для литературоведа, интересующегося устной художественной продукцией народов советского Востока, и для широкого круга читателей, еще не утративших живой любознательности к простодушным хитроиспле-

тениям сказочной сюжетики. А если прибавить к этому в высокой степени содержательную вводную статью Мар. Шагинян и подлинно изумительные рисунки Сарьяна, каждый из которых заменяет длинный этнографический комментарий, то нельзя не признать, что новое издание «Сокровищ мировой литературы» действительно вносит богатый и ценный материал в сокровищницу литературного обмена народов Советского Союза, восполняя имевшийся в ней в достаточной мере досадный пробел.

Собранные Я. Хачатрянцем сказки извлечены из мало известных у нас армянских сборников. Так справедливо указывает предисловие. И, однако, даже читатель не специалист сразу же узнает ряд хорошо знакомых ему — хотя бы по сказкам Афанасьевского собрания — сюжетов и мотивов: тут и жар-птица («Соловей-Хазаран», «Птица пари»), и загадочный «Ох» («Невеста родника», «Охик»), и ученик колдуна-оборотня («Охик»), и Василиса Прекрасная («Царь, заглядывавшийся на свою невестку») и т. д. и т. д. Для специалиста в области сказки круг знакомых сюжетов расширяется еще больше: на ряду с совершенно очевидными реминисценциями из «Тысячи и одной ночи» («Ведьма») и «Панчатантры» («Трое безбородых», «Змея и рыба») «Армянские сказки» дают ряд интересных параллелей к сказкам Гримм («Сказка о красной корове», «Джико», «Аровахат» и др.), к средневековым побасенкам и фабло («Женщина, давшая себя поцеловать», «Невеста родника»), в том числе и к одной из самых древних латинских ритмических сказок о лжеде («Лгун»). В этом отношении нельзя не пожалеть, что издатели «Армянских сказок» не последовали примеру немецкой серии «Сказок мировой литературы», снабжающей каждую сказку отсылками на соответствующие номера «Указателя сказочных типов» А. Аарне, облегчающего их каталогизацию.

Международная тематика эта получает, однако, в армянских сказках — как и в сказках других народов — специфическое оформление, отражающее психоидеологию социальной среды. В этом отношении следовало бы — на ряду с отражением типичных черт современной среды (малоземельного кустарничающего крестьянства) — выявить в армянской сказке наслония других общественных групп, делавших сказку зеркалом, а порой и активным орудием своей идеологии: странствующего с товаром купца (Хромой, безбородый и кривой) и в особенности стремящегося овладеть крестьянством духовенства; именно последнему обязана армянская сказка обилием культовых и христианско-мифических реминисценций (напр., в сказках «Соловей-Хазаран», «Царь, заглядывавшийся на свою невестку» и др.) и неожиданной дидактически-легендарной концовкой явно антиклерикального сюжета («Женщина, давшая себя поцеловать»). Замалчивание этих черт армянской сказки так же как и неправильное отрицание безусловно кое-где проскальзывающих черт национального шовинизма (ср. напр., стр. 104) несколько уменьшают объективность интересной статьи М. М. Шагинян. Спорным представляется нам включение в сборник двух фантастических рассказов армянского поэта Агаянца, несмотря на широкое использование им сказочных мотивов: оба эти произведения — в особенности первое, аллегория на народническую тему — отображают совершенно другой этап в развитии литературных форм, чем устная, бытующая среди крестьянства сказка.

Перевод — с принципами переводчика согласится, однако, не всякий — читается легко; на стр. 138 следует исправить опечатку: «хер сойламаз» — не «персидское» (как сказано в примечании), а турецкое выражение.

Р. РОШ

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ

«ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА».

Леонов, Леонид. — Повести и рассказы (Собрание сочинений. Том IV). Стр. 287. Ц. 2 р. 75 к.

Уэллс, Г. Дж. — Человеческий эволюционизм. Пер. с англ. (полн. собр. фантастических романов. Том IV). Стр. 190. Ц. 95 к.

Уэллс, Г. Дж. — Пища богов. Пер. с англ. (Полное собрание фантастических романов. Том VIII). Стр. 270 Ц. 1 р. 30 к.

Геслов, Герольд. — У врат

будущего. Авторизованный перевод с англ. (Роман). Стр. 339. Ц. 1 р. 70 к.

Подъячев, С. — Моя жизнь. Книга первая. Стр. 232. Ц. 1 р. 50 к.

Исбах, Александр. Порода. Рассказы. Стр. 96. Ц. 80 к.

Касаткин, Ив. Силачьево детство. (Тюли-Люли). Стр. 76. Ц. 12 к.

Финн, Константин. Колхоз «Заря». Сборник рассказов. Стр. 92. Ц. 15 к.

Нечаев, Егор. — Мученики гуты. Стр. 109. Ц. 15 к.

Молчанов, Иван. — Военная молодость. Стихи. Стр. 210. 1 р. 25 к. пер. 45 к.

ИЗД-ВО ЦК МОПР.

Ланцунский, Станислав. Повесть о вторых днях (из дневника автор. пер. с польской рукописи М. Живова. Стр. 96. Ц. 35 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».

Шпанов, Ник. — Край земли. (Выб-ка экспедиций и путешествий). О рис. худ. В. Веляева и фотографиями. Стр. 336. Ц. 2 р. 25 к.

Издатель «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

Редакция:

А. В. Луначарский.
А. Г. Малышкин.
В. П. Полонский.
М. А. Савельев.
В. И. Соловьев.